

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ВОПРОСЫ
СЛАВЯНСКОГО
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВЫПУСК

2



ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р
И Н С Т И Т У Т С Л А В Я Н О В Е Д Е Н И Я

В О П Р О С Ы
С Л А В Я Н С К О Г О
Я З Ы К О З Н А Н И Я

В Ы П У С К
2



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
Москва — 1957

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
проф. С. Б. БЕРНШТЕЙН

В. В. ИВАНОВ

**О ЗНАЧЕНИИ ХЕТТСКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ**

Исследование клинописного хеттского языка открывает новые перспективы для сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков. Данные хеттского языка могут быть использованы как для установления особенностей развития общиндоевропейского языка, так и для освещения древнейшего периода истории отдельных групп индоевропейских языков. Для исследователей, работающих в области сравнительно-исторической грамматики славянских языков, особый интерес представляют те факты хеттского языка, которые могут быть привлечены при изучении истории общеславянского языка. Рассмотрение этого вопроса в специальной статье представляется целесообразным потому, что в большинстве трудов по славистике до недавнего времени данные хеттского языка не учитывались; исключения составляют лишь работы В. Махека¹, Т. Милевского², А. Вайана³, касающиеся частных вопросов и не всегда уделяющие при этом должное внимание относительной хронологии изучаемых явлений.

Особое значение клинописного хеттского языка для исследования как славянских языков, так и других индоевропейских языков определяется прежде всего тем, что письменные памятники хеттского языка древнее письменных памятников всех других индоевропейских языков. Надпись царя Аннитаса, которую в настоящее время большинство хеттологов считает древнейшим памятником хеттского языка⁴, датируется XX—XIX вв. до н. э.; более поздние памятники древнехеттского периода относятся к XVII—XVI вв. до н. э., новохеттские тексты охватывают период XIV—XIII вв. до н. э. Древнехеттские тексты XIX—XVI вв. до н. э. принадлежат к более раннему времени, чем памятники других индоевропейских языков Малой Азии, близко родственного клинописному хеттскому (иероглифического хеттского, лувийского, палайского); вместе с тем, эти хеттские тексты составлены раньше, чем древнейшие памятники других групп индоевропейских языков (крито-микенские надписи линейного письма В на древнегреческом языке⁵ и гимны „Ригведы“,

¹ V. Machek. Hittito-slavica. „Archiv Orientální“, Praha, 1949, XVII, p. 2, str. 131—141.

² T. Milewski. Paralele hetycko-słowiańskie w ewolucji kategorii rodzaju. „Rocznik sławistyczny“, Kraków, 1948, XVI, cz. 1, str. 14—24.

³ A. Vaillant. Le problème des intonations balto-slaves. „Bull. de la Soc. de linguistique de Paris“, 1936, pp. 109—115; A. Vaillant. Grammaire comparée des langues slaves. Paris, 1950, I, § 98, pp. 241—246.

⁴ Cp. O. Gurney. The Hittites, 2 ed. London, 1954, p. XV.

⁵ M. Ventris and J. Chadwick. Evidence for Greek dialect in the Mycenaen archives. „J. of Hellenic Studies“, London, 1953, LXXVIII, pp. 84—103. Гипотеза о том, что и более ранние (XVIII—XV вв. до н. э.) надписи линейного письма А написаны на греческом языке (см. В. Георгиев. Нынешнее состояние толкования крито-микен-

дата составления которых в настоящее время определяется на основании сравнения ведийского языка с более архаичными заимствованными индоиранскими словами, встречающимися в хеттских и хурритских текстах¹).

Благодаря древности письменных памятников хеттского языка в нем можно обнаружить такие явления, которые в других родственных языках в письменный период их развития либо полностью исчезли, либо сохранились лишь в качестве пережитков. Именно поэтому изучение хеттского языка особенно существенно для сравнительно-исторического языковедения. То, что памятники хеттского языка отделены от древнейших памятников других родственных языков очень большим периодом времени (и значительным географическим пространством), требует тщательного рассмотрения вопросов хронологии при сравнении этих языков. Сравнение явления хеттского языка, на котором говорили во II тысячелетии до н. э., с данными славянских языков, памятники которых начинаются с конца I тысячелетия н. э., следует иметь в виду, что эти языки прошли длительный путь развития после выделения отдельных диалектов из индоевропейской общности. Разделение носителей диалекта общеиндоевропейского языка, развившегося позднее в индоевропейские языки хетто-лувийской („анатолийской“) группы, и носителей других диалектов, в том числе того диалекта, к которому в конечном счете восходит общеславянский язык, должно было предшествовать приходу носителей хетто-лувийских языков в Малую Азию. Как показывает исследование малоазиатских (анатолийских) собственных имен, засвидетельствованных в ассирийских текстах конца III—начала II тысячелетия до н. э., уже в это время носители индоевропейских языков хетто-лувийской группы находились в Малой Азии². Следовательно, приход носителей этих языков в Малую Азию должен быть отнесен к III тысячелетию до н. э.; их отделение от носителей других диалектов общеиндоевропейского языка могло относиться и к еще более раннему времени. Таким образом, более чем три тысячи лет отделяют поздний этап существования общеславянского языка от эпохи, когда диалекты общеиндоевропейского языка, к которым восходят соответственно хеттский и общеславянский языки, могли быть распространены на смежной территории³.

ских надписей. София, 1954, стр. 49—51) еще не является общепризнанной. Ср. обзор новейших работ в этой области в статье: P. Meriggi. I testi micenei in trascrizione. „Athenaeum“, Pavia, 1955, v. 33, fasc. I—II.

¹ W. Brandenstein. Die alten Inder in Vorderasien und die Chronologie des Rigweda. „Frühgeschichte und Sprachwissenschaft“, hrsg. von W. Brandenstein. Wien, 1948, S. 134—145.

² E. Laroche. Recueil d'onomastique hittite. A. Goetze. The theophorous elements of the Anatolian proper names from Cappadocia. „Language“, Baltimore, 1953, v. 29, № 3; A. Goetze. The linguistic continuity of Anatolia as shown by its proper names. „J. of Cuneiform Studies“, 1954, VIII, № 2, pp. 74—81; A. Goetze. Some groups of ancient Anatolian proper names. „Language“, 1954, v. 30, № 3, pp. 349—359.

³ Вопрос о том, где могла находиться эта территория, остается открытым. Но следует отметить, что выдвинутые в последнее время доводы, основанные на хеттских источниках, в пользу мнения о восточном (кавказском) пути переселения в Малую Азию племен, говоривших на хетто-лувийских языках (см. F. Sommer. Hethiter und Hethitisch. Stuttgart, 1947, S. 1—11), могут быть согласованы с новейшими гипотезами, по которым область распространения общеиндоевропейского языка находилась в юго-восточной Европе или в Азии (см. V. Gordon Childe. Prehistoric migrations in Europe. Oslo, 1950, pp. 146—151. Ср. Jan Filip. Indoeuroská otázka a lid se šňirovou keramikou. „Archeologické rozhledy“, Praha, 1952, r. IV, seš. 1, str. 53—55). В то же время аргументы, приводимые в пользу гипотезы о центральноевропейской области распространения общеиндоевропейского языка, в значительной мере обесцениваются тем, что сторонники этой гипотезы оставляют в стороне проблемы, связанные с хеттами (см. в особенности кн.: Paul Thieme. Die Urheimat der indogermanischen Gemeinsprache. Wiesbaden, 1954).

Из этого можно сделать два вывода. Во-первых, те явления славянских языков, которые можно признать генетически тождественными соответствующим фактам хеттского языка, относятся к числу наиболее архаичных явлений, сохранившихся в течение нескольких тысячелетий. Во-вторых, реконструируя какое-либо архаичное явление на основании данных хеттского языка и предполагая наличие этого явления в том диалекте общеиндоевропейского языка, к которому восходит общеславянский язык, необходимо избегать смешения различных эпох истории этого диалекта. Явления, существовавшие в древний период, могли исчезнуть в более позднюю эпоху; поэтому при привлечении данных хеттского языка для объяснения истории славянских языков следует постоянно учитывать относительную хронологию развития общеславянского языка (или общепалтийско-славянского, в случае, если принимается гипотеза о балтийско-славянском единстве).

Указанное обстоятельство имеет особое значение при рассмотрении вопросов фонетики, в частности проблем, связанных с ларингальной гипотезой. Данные хеттского языка и других родственных ему языков Малой Азии, а также факты древнеармянского языка позволяют предположить наличие в общеиндоевропейском языке так называемого ларингального (или „ларингальных“) ¹, исчезнувшего в большинстве индоевропейских языков в дописьменный период их развития. Поэтому древнейший звуковой облик целого ряда общеиндоевропейских основ в настоящее время следует представлять иначе, чем это делалось в большинстве сравнительно-исторических работ начала нашего века. Многие основы, которые в более поздний период в общеславянском языке имели начальный гласный или сонант, согласно ларингальной гипотезе, утратили ларингальный в начальном положении. О существовании этого начального согласного в том индоевропейском корне, к которому восходит общеславянское название орла (ст.-сл. *orlъ*, рус. *орел*), свидетельствует родственное хет. *haraš* (род. п. *haraṇaš*) „орел“. Аналогичное соответствие общеславянского **o* < **ō* и сочетания „ларингального“ с гласным **ō* > *a* в древних индоевропейских языках Малой Азии можно установить при сравнении ст.-сл. *okъca*, рус. *овца* (ср. ст.-сл. *okъnъ* „баран“) с иероглифическим хет. *haṣas* „овца“ ²; отражение начального „ларингального“ в данном случае (как и в некоторых других) можно установить и в армянском языке: *hoviv* „пастух“ (из **hovi-pā* „овечий пастух“) ³. Те ученые, которые объясняют возникновение краткого **ō* воздействием на корневое **ē* предшествующего ларингального, предполагают в словах, подобных названиям овцы и орла, начальное сочетание ларингального и **e*. Однако данные древних индоевропейских языков Малой Азии и армянского не доказывают этой теории, поскольку в указанных словах этих языков засвидетельствовано сочетание начального ларингального и **o* (развившегося в *a* в хетто-лувийских языках). Следовательно,

¹ Об аргументах, говорящих в пользу принятия только одного ларингального, см. L. Zgusta. La théorie laryngale. „Archiv Orientalni“, 1951, XIX, № 3—4, pp. 428—472. Термин „ларингальный“ является условным, так как факты анатолийских языков позволяют предположить, что данный звук был заднеязычным.

² Значение установлено с абсолютной точностью благодаря билингве из Каратеpe. См. H. T. Bossert. Die phönizisch-hethitischen Bilinguen vom Karatepe. „Jahrbuch für kleinasiatische Forschung“, Heidelberg, 1953, II, H. 3, S. 316. См. об этимологии в кн.: В. Георгиев. Проблемы минойского языка. София, 1953, стр. 9.

³ См. об этимологии арм. *hoviv* в кн.: A. Meillet. Esquisse d'une grammaire comparée de l'arménien classique, 2 ed. Vienne, 1936, p. 31; в работе В. Георгиева „Проблемы минойского языка“ данное армянское соответствие не отмечалось. См. о других случаях отражения ларингального в армянском: E. Polomé. Reflexes des laryngales en arménien. „Ann. de l'Inst. de philologie et d'histoire orientales et slaves de l'Univ. libre de Bruxelles“, X, 1950.

хетто-лувийские языки не отличаются от других индоевропейских языков в отношении огласовки корней этого типа. Поэтому подобные факты, имеющие значение для определения древнего состава согласных индоевропейских корней, не вносят существенных изменений в реконструируемую систему кратких гласных общеиндоевропейского языка в поздний период его развития. В тех случаях, когда наблюдается расхождение в огласовке корня между хеттскими словами с начальным *h* и соответствующими им основами других индоевропейских языков, это расхождение может быть объяснено морфологическими факторами. Огласовка *o* в общеславянском **ojes-* „дышло“ (чеш. *oj*; словин. *ojé*, род. п. *ojésa* и т. п.), соответствующая огласовке гомеровского οἴηζ „кольца на ярме, в которые продевают вожжи“, при ступени редукции в родственном хет. *hišša* „дышло“¹ и др.-инд. *iṣā* „дышло“ (где долгота *i* связана, возможно, с исчезновением предшествующего ларингального) может объясняться тем, что в славянских языках засвидетельствована первичная производная основа на *-*es-*, тогда как в хеттском и древнеиндийском выступает вторичное производное от этой основы (ср. закономерную нулевую ступень огласовки в древнеиндийских и хеттских вторичных производных типа **k^htur-yo* > др.-инд. *turiya* „четвертый“², хет. *du(r)ia* „четвертый“³).

Если в хет. *hišša* ларингальный (который развился в хет. *h*) выступает в положении перед сонантом *i*, то в ряде других хеттских слов, имеющих соответствия в славянских языках, тот же начальный согласный засвидетельствован в положении перед сонантом *u*, ср. хет. *hulana* „шерсть“⁴ и ст.-сл. *вълна* „шерсть“, хет. *huṣant* „ветер“ (лат. *ventus*) и ст.-сл. *вѣтъгъ*, *вѣтъръ* (производное от того же корня с другим суффиксом), хет. *huhḥa* „дед“ (иероглифическое хет. *huḥa*, арм. *haw*, лат. *avus*) и ст.-сл. *сѹти* „брат матери“ (лат. *avunculus*)⁵.

Вышеприведенные факты имеют существенное значение для реконструкции начальных согласных фонем тех основ общеиндоевропейского языка, к которым восходят общеславянские названия орла, овцы, дышла, шерсти и т. п., но эти факты не требуют пересмотра существовавших ранее гипотез о вокализме соответствующих слов. В этом отношении более радикальные изменения в традиционные концепции вносятся благодаря изучению таких слов, где хет. *h* находится не в начальном положении, а в положении после гласного. Соответствие хеттского *ah* долгому *ā* других индоевропейских языков в таких словах, как хет. *raḥš-* „хранить, беречь“, общеславянское **rās-* (рус. *пасту*, *пасу*), согласно ларингальной гипотезе, истолковывается как доказательство вторичного происхождения долгого *ā*; аналогичным образом интерпретируется сопоставление хет. *meḥ-* в *meḥur* (род. п. *meḥunas*) „время“ и **mē-* в других индоевропейских языках (гот. *mēl* „время“, ст.-сл. *мѣрд*, ср. лит. *matuoti*

¹ См. об этимологии данного слова в статьях: F. Sommer. Altindisch *dhur*. „Die Sprache“, I. Wien, 1949, S. 161; E. Laroche. Hittitica. „Revue de philologie“, Paris, 1949, № 1, p. 37—38.

² См. об огласовке этого слова в кн.: А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М., 1938, стр. 287.

³ F. Sommer. Hethitisch *lu dujanalli*. „Indogermanische Forschungen“, Berlin—Leipzig, 1948, LIX, H. 2, S. 205—207.

⁴ См. о значении этого слова в кн.: E. Laroche. Recueil d'onomastique hittite, pp. 21, 74, 112; E. Laroche. La bibliothèque de Hattusa. „Archiv Orientalní“, 1949, XVII, p. 2, str. 13 (примеч. 18).

⁵ О связи значений индоевропейских названий родства, образованных от данной основы, см. в статье: А. В. Исаченко. Индоевропейская и славянская терминология родства в свете марксистского языковедения. „Slavia“, Praha, 1953, r. XXII, seš. 1, str. 62—63. Ср. также отчет о докладе Бенвениста, помещенный в „Bull. de la Soc. de linguistique de Paris“, 1950, t. 46, f. 1, № 132, p. XXI.

„измерять“; *mētas-* „время“¹). Точно так же вторичным результатом исчезновения ларингального признается долгота сонанта **ū* в индоевропейском корне, к которому возводится рус. *сырой*, сопоставляемое с древнеисландским *súrr* „кислый“ и *saurr* „semen virile“, ср. хет. *šehur* „моча“, ср. также рефлекс долгого **ū* в рус. диалектн. *пырей* „горячий пепел“, чеш. *pýř*, сопоставляемое с общеиндоевропейским названием огня, где, как и в первом случае, долгий звук мог возникнуть в результате стяжения после исчезновения ларингального (ср. хет. *pahhur* „огонь“).

Для исследования славянских языков вопросы истории индоевропейских долгих гласных и сонантов представляют особый интерес потому, что балтийско-славянские интонации генетически связаны с древними количественными отношениями. Однако использование ларингальной гипотезы для объяснения происхождения балтийско-славянских интонаций возможно только в случае, если предположить, что возникновение этих интонаций относится к эпохе, когда ларингальный еще не исчез. На такой точке зрения стоит А. Вайан, считающий, что акутовая интонация развилась из интонации типа датского „толчка“ или латышской прерывистой интонации, которая, в свою очередь, была обусловлена наличием ларингального². Но в работах Ю. Р. Куриловича было показано, что возникновение балтийско-славянских интонаций может быть объяснено относительно поздними процессами (в частности, передвижением ударения), имевшими место в балтийско-славянских диалектах в период их самостоятельного развития. Ларингальный же в общепольско-славянском или же в общеславянском языке к этому времени уже мог исчезнуть. Если исчезновение ларингальных, по предположению многих современных лингвистов, осуществлялось самостоятельно в отдельных индоевропейских диалектах, то все же в балтийско-славянском отсутствуют такие явные следы наличия ларингальных, которые обнаруживаются, например, в древнеиндийском³. В этой связи следует обратить внимание на различие между отражением так называемого индоевропейского **ə* primum во втором слоге слова, с одной стороны, в славянских и в некоторых других индоевропейских языках, с другой стороны, в тех языках, в которых обнаруживаются следы существования ларингальных в середине слова в дописьменный период (древнеиндийском, древнегреческом), ср. ст.-сл. дъци „дочь“ и др.-инд. *duhitā* „дочь“. Развитие гласного **ə* > *i* в *duhitā* в настоящее время связывается с наличием ларингального в словах этого типа⁴; поэтому отсутствие **ə* в ст.-сл. дъци, лит.

¹ К тому же корню возводится название месяца (ст.-сл. мѣсѧцъ), что объясняется индоевропейским счетом времени по лунным месяцам (ср. об этом R. L. Pearce. The Lithuanian month names. „Studi baltici“ a cura di G. Devoto, № S. I (IX). Firenze, 1952, p. 124).

² A. Vaillant. Le problème des intonations balto-slaves, pp. 109—115; A. Vaillant. Grammaire comparée des langues slaves, I, § 98, pp. 241—246. Аналогичные взгляды высказывали Т. Милевский (T. Milewski. L'indo-hittite. Kraków, 1936, p. 6) и Э. Сэпир (E. Sapir. Glottalized continuants in Navaho, Nootka and Kwakiutl. „Language“, 1938, примеч. 13 на стр. 269). Ср. критические замечания о теории А. Вайана в рецензии: П. С. Кузнецов. ИАН, ОЛЯ, 1951, X, № 4, стр. 401; ср. также П. С. Кузнецов. Вопросы сравнительно-исторического изучения славянских языков. „Вопросы языкознания“, 1952, № 5, стр. 46.

³ См., например, F. B. Kuiper. Traces of laryngeals in Vedic Sanskrit. „India antiqua“. Leyden, 1947, pp. 198—212.

⁴ Ученые, считающие ларингальный шумным согласным, предполагают эвфоническое происхождение гласного **ə* (др.-инд. *i*), развивавшегося в словах типа *duhitā*, потому что таким образом устранялось сочетание шумных согласных. См. Collinge. Laryngeals in indo-european Ablaut and problems of zero grade. „Archivum linguisticum“. Glasgow, 1953, 5, fasc. 2, pp. 75—78. Лингвисты, связывающие *i* в древнеиндийских словах этого типа с вокализацией слогового ларингального, видят в соответствующих славянских словах результат развития форм с неслоговым ларингальным.

duktě и других словах может свидетельствовать о раннем исчезновении ларингальных в середине слова в тех индоевропейских диалектах, к которым восходят балтийские и славянские языки¹. Во всяком случае, представляется несомненным, что исчезновение ларингальных произошло еще в тот ранний период развития общеславянского языка, который предшествовал превращению этого языка в язык с открытыми слогами. Именно это делает особенно затруднительным обнаружение следов ларингальных в общеславянском языке, так как многочисленные последующие фонетические и морфологические изменения затрудняют реконструкцию древнейшей фонологической системы общеславянского языка.

Таким образом, данные хеттского языка вносят существенные коррективы в реконструкции древнейшего облика тех слов, которые содержали ларингальный в общеиндоевропейском языке, но изменение фонетической структуры этих слов, повидимому, относится к ранней эпохе развития индоевропейского диалекта, легшего в основу общеславянского языка. Сходный вывод можно сделать по отношению к словам, где ранее предполагалось наличие общеиндоевропейского **ǵ* (по Бругману), в частности по отношению к общеиндоевропейскому названию земли. Сравнение клинописного хет. *tekan* „земля“ (род. п. *tagnaš* „земли“, дат. п. *tagan* „к земле“), иероглифического хет. *dakam*² и карашарского (тохарского А) *tkam* „земля“ свидетельствует о правильности восстановления общеиндоевропейского **d*^h(*e*)*ǵ*^hom „земля“³. Сочетание переднеязычного и заднеязычного шумного согласного, образовавшееся вследствие редукции гласного корня, сохранилось только в хет. *t(a)gan* и карашарском *tkam*. В других индоевропейских языках это сочетание, противоречившее произносительным нормам, было устранено либо благодаря метатезе (греч. *χθών* „земля“), либо благодаря упрощению группы согласных (греч. *χαμαί* „на земле“)⁴, причем этот процесс по-разному протекал в различных диалектах (ср., например, ирландское *dú, don* „земля“ с сохранением переднеязычного и т. п.). В славянских и балтийских языках наблюдается упрощение группы **d*^h*ǵ*^h > **ǵ*^h (рус. *земля*, лит. *žėmė*), обнаруживающееся и в ряде других индоевропейских диалектов. Кучанское (тохарское В) *ket* „земля“ при карашарском (тохарском А) *tkam* показывает, что данный процесс протекал независимо в различных родственных языках, причем он мог дать одинаковые результаты (ср. кучанское *ket* и ст.-сл. *земь*).

Возможность параллельного самостоятельного фонетического развития родственных диалектов имеет особое значение при рассмотрении явлений, на основании которых индоевропейские языки делятся на языки *centum* и *satem*. Факты древних индоевропейских языков Малой Азии представляют исключительный интерес для исследования этого вопроса, так как в двух близко родственных языках — клинописном хеттском и иероглифическом хеттском — обнаруживаются различные отражения индоевропейских заднеязычных. В ряде слов иероглифического хеттского

¹ Из этого нельзя, однако, делать никаких выводов относительно даты исчезновения ларингального в начале слова, так как армянский язык, разделяющий эту особенность балтийского и славянского, в то же время отражает ларингальный в начале слова (и в середине слова после *s*).

² См. об этом слове в иероглифическом хеттском Н. Т. Bossert. Zu drei hieroglyphen-hethitischen Inschriften. „Jb. f. kleinasiatische Forschung“, 1950, I, Н. 2, S. 224; J. Friedrich. Hethitisches Wörterbuch. Heidelberg, 1954, 4. Lief. S. 224.

³ Впервые установлено Кречмером. См. P. Kretschmer. „Glotta“, Wien, 1931, XX, S. 65—67 (данные иероглифического хеттского языка Кречмеру не были известны).

⁴ W. Brandenstein. Streifzüge. I. Die idg. Spiranten *ǵ* und *d*. „Glotta“, 1936, XXV, S. 27—30. О возможности распространения данного объяснения на другие случаи, где предполагалось **ǵ* и **d* Бругмана, свидетельствует хет. *hartaggaš* (по Зоммеру, „медведь“) при греч. „*αρκτος*“. Ср. упрощение группы согласных в приведенной выше форме **k^wtur-yo-* > др.-инд. *turīya*, хет. *duja* „четвертый“.

языка (обычно в положении перед *и*) индоевропейский задненебный отражается как *ś* (по типу языков *satəm*)¹, тогда как клинописный хеттский язык принадлежит к языкам *centum*². Однако сохранение звука „палатального ряда“ в виде заднеязычного наблюдается в других случаях и в иероглифическом хеттском (*dakam* „земля“), что подтверждает предположение о вторичном происхождении данного расхождения между иероглифическим хеттским и клинописным хеттским. Факты этих двух языков можно сопоставить с материалом других родственных языков, в частности балтийских и славянских, где часто обнаруживаются колебания между отражением задненебных по типу языков *satəm* и отражением, обычным для языков *centum*. В особенности показательно следующее соотношение производных от общеиндоевропейского корня **ker*³:

Язык	Производная именная основа с суффиксом * <i>-en-</i>	Производная именная основа с суффиксом * <i>-eu-</i>
Клинописный хеттский		<i>karauar</i> „рог“ (тип <i>centum</i>)
Иероглифический хеттский	<i>śurana</i> „рог“ (тип <i>satəm</i>)	
Славянские	ст.-сл. <i>сърна</i> рус. <i>серна</i> чеш. <i>srna</i> (тип <i>satəm</i>)	ст. сл. <i>крава</i> рус. <i>корова</i> чеш. <i>krava</i> (тип <i>centum</i>)
Балтийские	лит. <i>stirna</i> „серна“ латыш. <i>stirna</i> старолатыш. <i>sirna</i> (тип <i>satəm</i>)	лит. <i>kārvė</i> „корова“ прус. <i>kurwis</i> „бык“ (тип <i>centum</i>) прус. <i>siwis</i> „серна“ (тип <i>satəm</i>)
Другие индоевропейские языки	лат. <i>cornu</i> „рог“ гот. <i>haurn</i> (тип <i>centum</i>) др.-инд. <i>śṛṅgam</i> (тип <i>satəm</i>)	лат. <i>ceruus</i> „олень“ греч. <i>κέραφος</i> „рогатый“ (тип <i>centum</i>) догреч. <i>σεργοί-ἔλαφοι</i> (Гесихий) авест. <i>srvara</i> „рогатый“ (тип <i>satəm</i>)

Различное отражение задненебных в приведенных словах одного и того же корня в близко родственных языках или даже в одном и том же языке (прус. *kurwis* и *sirwis*), очевидно, было связано с определенными фонетическими условиями (огласовкой корня), вызвавшими параллельное фонетическое развитие данных именных основ в анатолийских (хеттолувийских), балтийских и славянских языках. Подобные факты свидетельствуют о схематичности прямолинейного деления индоевропейских языков на две группы по признаку отражения в них „гуттуральных“⁴.

¹ Доказательство чтения соответствующего знака с начальным *ś* см. в статьях: S. Gelb. The contribution of the new cilician bilinguals to the decipherment of hieroglyphic Hittite. „Bibliotheca orientalis“, Leiden, 1950, VII, 5; P. Meriggi. I nuovi frammenti e la storia di Kargamis. „Athenaeum“, Roma, 1952, 30, fasc. III—IV, p. 175.

² Гипотеза А. Гетце (см. „Language“, 1954, 30, № 3, p. 404) о том, что и в клинописном хеттском языке в определенных условиях (перед *и*) осуществлялась развитие *k > s*, еще не может считаться доказанной.

³ Ср. В. В. Иванов. Рецензия на кн.: W. Merlingen. Das „Vorgriechische“ und die sprachwissenschaftlich-vorhistorischen Grundlagen. „Вопросы языкознания“, 1955, № 6, стр. 126—127.

⁴ Ср. характеристику балтийских и славянских языков, как языков, находившихся на стыке группы *centum* и группы *satəm*, в статье: M. Mayrhofer. Das Gutturalproblem und das indogermanische Wort für „Hase“. „Studien zur indogermanischen Grundsprache“, hrsg. von W. Brandenstein. Wien, 1952, S. 27—32, 71.

Одной из существенных фонетических черт, по которым славянские языки объединяются с балтийскими и некоторыми другими индоевропейскими языками, является совпадение в этих языках кратких **ō* и **ǣ*. В этом отношении хеттский язык и другие древние индоевропейские языки Малой Азии можно отнести к той же группе индоевропейских диалектов, что и балтийско-славянские языки. Первоначальные **ō* и **ǣ* совпали в хеттском *a*. Однако и в данном случае нельзя считать исключенной возможность параллельного самостоятельного развития родственных языков¹, т. е. данное явление не обязательно должно быть истолковано в качестве изоглоссы, объединяющей эти языки.

Как показывает анализ фонетических явлений, факты хеттского языка представляют существенный интерес для освещения древнейшего периода истории того индоевропейского диалекта, к которому восходит общеславянский. Но особенно ценными в этом отношении являются данные хеттской морфологии. Хеттское именное склонение характеризуется отсутствием целого ряда падежных форм, имевшихся в других индоевропейских языках. В хеттском отсутствуют формы косвенных падежей множественного числа, которые в славянских, балтийских и германских языках имели показатель **-m-*, а в других языках показатель **-bh-*. Отсутствие этих форм в хеттском, невозможность сведения к одному источнику форм этого типа в других индоевропейских языках, а также акцентологические особенности этих „средних падежей“, свидетельствующие об их позднем происхождении, позволяют установить, что в общеиндоевропейском языке падежных форм на **-bh-* и на **-m-* не было; они возникли, по всей вероятности, в процессе развития отдельных диалектов из сочетаний наречного типа². С помощью окончаний на **-m-* в славянском образовывались творительный падеж единственного числа, дательный и творительный падежи множественного числа и дательный-творительный падеж двойственного числа. Поскольку ни одна из этих форм не может быть признана общеиндоевропейской, необходимо установить характер более древних форм, выступавших в той же функции. Для решения этого вопроса особое значение имеют факты хеттского языка, отражающие более древнее состояние. На основании новейших исследований о формах на **-bh-* и на **-m-* можно предположить, что в функции дательного-творительного падежа двойственного числа в общеиндоевропейском языке выступала та же форма, что и в функции именительного падежа³. Это предположение согласуется с наблюдением Бругмана, что дательный падеж двойственного числа в ряде древних языков был образован (посредством окончания на **-bh-*) от формы им.-вин. п. дв. ч.⁴, например, лат. *duōbus* от *duō*, др.-инд. *dvā-bhyam* от *dvā* и т. п. Хеттский язык подтверждает данную гипотезу, так как в нем сохранилась архаичная форма *šakuća* „глаза“ (родственно

¹ Ср. отнесение перехода *a > o* к последнему периоду общеславянской эпохи в статье: Н. Ван-Вейк. К истории фонологической системы в общеславянском языке позднего периода. „Slavia“, 1950, r. XIX, seš. 3—4, str. 296—298.

² J. Kuryłowicz. Études indoeuropéennes, I. Kraków, 1935, p. 165—168; Н. Pedersen. Hittitisch und die anderen indoeuropäischen Sprachen. København, 1938, S. 30—32.

³ И. М. Тронский. К семантике множественного числа в греческом и латинском языках. „Уч. зап. ЛГУ. Серия филол. наук“, 1946, вып. 10, стр. 66—67. Данные хеттского языка подтверждают реконструированную систему древнейших именных форм. В частности, положение об отсутствии особых форм множественного числа у имен среднего рода согласуется с тем, что формы единственного числа архаичных хеттских имен существительных среднего рода гетероклитического типа (например, *paḥḥur* „огонь“) могут выступать и в функции форм множественного числа.

⁴ К. Brugmann. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Strassburg, 1909, 2. 2. Teil, 1. Lief. § 206, S. 204.

гот. *saihan* „видеть“; ср. хет. *šakuṣa-* „видеть“), которая может выступать и в функции им.-вин. п. в сочетании *šakuṣa-ššet* „глаза его“, и в функции дат. п. в сочетании *šakuṣa-šma*¹ „(перед) глазами их“, буквально „глазам их“ (в одном из древнейших хеттских текстов — „Сборнике рассказов из жизни древнехеттского царства“). Эта форма, очевидно, является архаичной формой двойственного числа, переосмысленной после его исчезновения в хеттском как форма со значением множественного числа². Поэтому ее употребление в функции им.-вин.-дат. п. может отражать древние особенности индоевропейских форм двойственного числа.

Сравнение системы хеттского склонения с именным склонением в других индоевропейских языках доказывает правильность высказываемого в ряде новейших исследований положения о том, что в общеиндоевропейском языке некоторые падежи еще не были парадигматическими формами и носили характер сочетаний имен существительных с частицами или послелогами³. В общеславянском языке архаичными формами, отражающими древний неразвитый характер индоевропейского склонения, признаются формы местного падежа с нулевым окончанием⁴. Аналогичные формы местного падежа, где выступает чистая основа, обнаруживаются и в других древних индоевропейских языках. Помимо фактов, собранных в специальном исследовании Бенвениста⁵, в настоящее время можно указать на употребление таких форм в древнейших хеттских текстах: *pir* „в доме“ — в архаичных по языку хеттских законах, § 9⁶; *kir* „в сердце“, *šiyatt* „днем“ — в древней надписи царя Аниттаса, строка 60; ср. также наречия, восходящие к формам местного падежа с нулевым окончанием: *karuṣariṣar* „рано“ (ср. др.-инд. *śarvaré*), *mehhur* „во время“ и *tagan* „вниз, на землю“, имеющее точное соответствие в карашарском *tkam*, употребляющемся и в значении именительного падежа, и в значении местного падежа⁷. Формы местного падежа с нулевым окончанием в хеттском языке образуются только от основ на согласный; при этом они являются редкими архаичными формами, встречающимися либо в древнейших текстах, либо в качестве изолированных форм наречного типа. Архаичный характер форм местного падежа с нулевым окончанием доказывается не только данными хеттского языка,

¹ E. Forrer. Die Boghazköi-Texte in Umschrift. Leipzig, 1926, Bd. 2, текст 12 A I, 18. Форма притяжательного местоимения является вариантом более употребительного *-šmi*, ср. аналогичные варианты *-ma* и *-mi* „моему“ и т. п.

² T. Milewski. Parallele hettycko-słowińskie w ewolucji kategorii rodzaju. „Roznik sawistyczny“, 1948, XVII, cz. 1, str. 23. Т. Милевский не обратил внимания на морфологические особенности данной формы.

³ О. Гуйер. Введение в историю чешского языка. М., 1953, стр. 27—28 (ср. предисловие к этой книге П. С. Кузнецова, стр. 5); см. примечания П. С. Кузнецова к кн.: А. Мейе. Общеславянский язык. М., 1951 (стр. 464); П. С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка. Изд. МГУ. 1953, стр. 60—61.

⁴ См. об этих формах в кн.: П. С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка, стр. 60; А. Мейе. Общеславянский язык, § 453, стр. 312; А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, стр. 304.

⁵ E. Benveniste. Origines de la formation des noms en indo-européen. Paris, 1935, pp. 87—99. (Э. Бенвенист. Индоевропейское именное словообразование. М., 1955, стр. 116—128).

⁶ На то, что эту форму следует понимать как дат.-мест. п. ед. ч., указывает следующее за ней притяжательное местоимение *-ši-* (в форме дат.-мест. п.). Изложение вопроса о местном падеже с нулевым окончанием в книге И. Фридриха „Краткая грамматика хеттского языка“ (М., 1952, § 64, стр. 58) не соответствует современному уровню знаний. См. F. Sommer u. A. Falkenstein. Die hethitisch-akkadische Bilingue des Hattusili. München, 1938, S. 96; H. Pedersen. Hittitisch und die anderen indoeuropäischen Sprachen, S. 27.

⁷ Об употреблении *tkam* в значении „к земле“ см. в статье: W. Couvreur. „Bibliotheca orientalis“, 1947, IV, 5, S. 125.

но и фактами других древних индоевропейских языков (в частности, греческого), где эти формы выступают как редкие архаизмы. Сохранению этого типа образования местного падежа в общеславянском языке способствовало присоединение к данным падежным формам послелога **en* > *e*. В общеславянском языке сохраняются формы местного падежа с нулевым окончанием от основ на *-i-* и *-u-*; в хеттском языке такие формы были утрачены. Сравнение этих фактов хеттского и общеславянского языков показывает, что в общеславянском языке хорошо сохранились некоторые очень архаичные черты морфологии имени.

С наибольшей отчетливостью значение данных хеттского языка для сравнительно-исторической грамматики славянских языков обнаруживается при исследовании именного словообразования. Прежде всего необходимо отметить, что сохранение в хеттском языке некоторых архаичных корневых имен и глаголов позволяет углубить морфологический анализ именных основ, образованных от них. В ряде работ А. Мейе указывалось, что ст.-сл. кода является „распространением старого нетематического корневого имени“¹, но эта гипотеза оставалась недоказанной, так как такое корневое имя не было известно. В двух местах „Ригведы“ (395,12 и 707,7) встречается форма тв. п. ед. ч. *udā* от существительного ж. р. *ud-* „вода, волна“², но эта древнеиндийская основа, стоявшая изолированно, обычно не учитывалась в работах по сравнительной грамматике. Поэтому исключительный интерес представляет то, что в хеттском языке наряду с употребительным именем существительным *qatar* (род. п. *qetenaš* „вода“) засвидетельствовано корневое имя *qed* „вода“³, встречающееся (как и вед. *ud-*) только в застывших формах косвенных падежей (возможно, приобретших наречный характер): дат.-мест. п. ед. ч. *qiti* „в воде“, отлож. п. ед. ч. *qitaz* „из воды“. Генетически тождественная основа представлена в лувийской форме *qid-anza*⁴ „воды“, где *-anza* является лувийским окончанием вин. п. несреднего рода⁵ (ср. ж. р. вед. *ud-*). Таким образом, в „Ригведе“ и в текстах древних индоевропейских языках Малой Азии оказывается отраженным корневое имя существительное (несреднего рода), от которого было образовано общеславянское название воды.

Сравнение корневых имен, представленных в хеттском языке, с родственными словами славянских языков свидетельствует о значительном изменении в славянских языках именных основ архаичного типа. В этом отношении лучше сохраняют древние явления балтийские языки, в особенности прусский. В словаре Эльбинга (около XIV в. н. э.) приводится прусское слово *seyr* „сердце“; это написание, по предположению Ф. де Соссюра⁶ и Я. М. Эндзелина⁷, отражало произношение **sēr*, ср. генетически тождественное греч. *κῆρ* „сердце“. Морфологические особенности прусских производных от названия сердца, отражающих древ-

¹ А. Мейе. Общеславянский язык, стр. 278; ср. А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, стр. 169—170.

² См. Н. Grassmann. Wörterbuch zum Rig-Veda. Leipzig, 1873, S. 252.

³ Впервые отмечено Фридрихом (J. Friedrich. Zum hettitischen Lexikon. „J. of Cuneiform Studies“, 1947, I, № 4 (примеч. 66 на стр. 292), не сделавшим, однако, никаких выводов из своего открытия.

⁴ „Keilschrifturkunden aus Boghazköi“. Berlin, 1953, H. XXXV, текст № 45, передняя сторона, II 6.

⁵ См. об этом лувийском окончании в кн.: Н. Otten. Zur grammatikalischen und lexikalischen Bestimmung des Luvischen. Berlin, 1953, S. 120.

⁶ F. de Saussure. A propos de l'accentuation lituanienne. „Recueil des publications scientifiques“. Heidelberg, 1922, p. 505.

⁷ J. Endzelins. Filologu biedribas raksti. Rīgā, XII, l. 148; J. Endzelīns. Baltu valodu skaņas un formas. Rīgā, 1948, l. 139.

ную основу без конечного $*-d^{-1}$, и греч. $\chi\tilde{\eta}\rho$, по отношению к которому предположение об отпадении конечного $*-d$ противоречит долготе гласного (так как $*\tilde{k}\tilde{e}rd$ должно было бы измениться в $*\tilde{k}\tilde{e}r$), позволили Ф. де Соссюру еще в 1892 г. предположить, что основа $*\tilde{k}er$ была общеиндоевропейской. Эта гипотеза подтверждается благодаря обнаружению в хеттском языке формы *kir* „сердце“, выступающей в функции им.-вин. п. ед. ч. и (в одном тексте) как мест. п. с нулевым окончанием². Наряду со словом среднего рода *kir* „сердце“ в хеттском языке отражена основа несреднего рода на $*-d(i)-$: хет. *karat-*, *kardi-* „сердце, внутренности, чрево“. Поэтому можно думать, что существование двух параллельных названий сердца — с аффиксом $*-d(i)-$ ³ и без этого аффикса — в балтийских и греческом языках отражает общеиндоевропейское состояние, ср. прус. *seyr*, *siran*, греч. $\chi\tilde{\eta}\rho$, хет. *kir*, с одной стороны, и лит. *širdis*, греч. $\chi\alpha\rho\delta\acute{\iota}\varsigma$, хет. *kardi-*, с другой.

В славянских языках эти древние соотношения не сохранены, так как уже в древнейших текстах выступают только вторичные производные от основы на $*-d-$ (ст.-сл. *сръдцѣ*, *сръдцѣ*).

Важнейшим из архаичных типов именных основ, представленных в хеттском языке, является тип, в котором основа именительного-винительного падежа на $-r$ чередуется с основой косвенных падежей на $-n$. До недавнего времени в научной литературе можно было встретить утверждение о том, что в славянских языках „не осталось ничего“ от этого типа⁴. Однако это положение нуждается в уточнении. При изучении данного вопроса следует учитывать то, что ни в одном из индоевропейских языков тип склонения с чередованием $-r/-n$ не сохранился полностью. В древнеиндийском и древнегреческом языках лишь немногочисленные группы архаичных существительных сохраняют гетероклитический характер склонения; еще менее заметны следы этого типа в латинском языке⁵. В хеттском языке склонение на $-r/-n$ сохранилось лучше, чем во всех остальных родственных языках, но и в этом языке наблюдается начало разрушения этого типа, например, в отглагольных именах на $-uar$, где чередование $-uar$ и $-un$ сохранилось только в одном слове (*ašši(u)uar* „благодарность“, тв. п. *ašši(ia)unit*, ср. более поздний тип склонения *uekuuar* „требование“, отлож. п. *uekuuarraz*).

В отдельных случаях в хеттском языке в дописьменный период его истории можно установить существование имени существительного гетероклитического типа, архаичная парадигма которого оказывается разрушенной уже в древнехеттский период.

Сравнивая родственные между собой хеттские слова *ḥappin-ant-* „богатый“, *ḥappin-ahh-* „быть богатым“, *ḥappin-eš* „становиться богатым“, можно выделить в них основу на $*-en$ — *ḥappin-* (< *ḥappen-*), родственную др.-инд. *ap-naḥ* „богатство, имущество“⁶, где аффикс $-n$

¹ F. de Saussure. Vieux prussien *siran* „le coeur“. „Recueil des publications scientifiques“, p. 443; R. Trautmann. Die altpreussischen Sprachdenkmäler. Göttingen, 1909, S. 424, 427.

² F. Sommer u. A. Falkenstein. Die hethitisch-akkadische Bilingue des Hattušili, S. 95—96; A. Goetze. The Hittite Ritual of Tunnawi. New Haven, 1938, p. 71.

³ Ср. об аффиксальном характере $*-d-$ в $*\tilde{k}erd$ в кн.: E. Benveniste. Origines de la formation des noms en indoeuropéen, p. 180. (Э. Бенвенист. Индоевропейское именное словообразование, стр. 210).

⁴ А. Мейер. Общеславянский язык, стр. 399; ср. Л. П. Якубинский. История древнерусского языка. М. 1953, стр. 170.

⁵ См. блестящую работу: A. Ernout. Aspects du vocabulaire latin. Paris, 1954.

⁶ Ср. об этой этимологии статьи: E. Laroche. „Revue hittite et asianique“, 11, p. 41; A. Goetze. „Language“, 1954, v. 30, № 3, p. 403.

выделяется благодаря сравнению с латинским корневым словом *ops* (мн. ч. *opes* „средства, имущество“). От того же корня образовано хеттское существительное *ḥappar* „цена, торговля“, ср. производный глагол *ḥappariša*, *ḥapparai-*, *ḥappirai-* „продавать“. В этих словах выделяется суффикс *-*er-*-, как и в родственном *ḥappira-* „поселение, община“¹, позволяющем предположить для слов данного корня архаичное значение „общинное имущество“ (ср. сочетание терминов *ḥappar* и *ḥappira-* в § 146 хеттских законов). В данном случае чередование *-*r-/-n-* наблюдается уже не внутри парадигмы одного слова, а в различных родственных словах, восходящих к разным основам (на -*r-* и на -*n-*) древнего существительного гетероклитического типа². Такое отражение чередования -*r-/-n-*, в хеттском языке встречающееся лишь в отдельных случаях, в других индоевропейских языках, засвидетельствованных более поздними памятниками, является закономерным, ср., например, хет. *paḥḥur* „огонь“, род. п. *paḥḥuenaš* и древнескандинавские параллельные основы *furr* „огонь“ и *funi* „огонь“, хет. *uatar* „вода“, род. п. *ueta-naš* и древнескандинавские *vatr* (в древнейших текстах) и *vatn* „вода“. Подобные факты свидетельствуют о том, что вследствие исчезновения гетероклитического склонения, происшедшего во всех известных индоевропейских языках в очень ранний период их самостоятельного развития, следы древнего чередования -*r-/-n-* можно обнаружить обычно только при сравнении различных производных от одного и того же корня. В этом отношении славянские языки не отличаются существенно от других индоевропейских языков, известных по памятникам конца I тысячелетия н. э. В славянских языках можно установить наличие параллельных именных основ, образованных от одного и того же корня посредством суффиксов *-*r-* и *-*n-* типа ст.-сл. *дръз* и *данъ*³, ср. родственные слова в других индоевропейских языках, свидетельствующие об архаичности данных образований: греч. *δῶρον* и арм. *tur* (основа на -*r-*), лат. *donum* (основа на -*n-*, ср. также лит. *duonis* и латыш. *dāna*, по отношению к которым, однако, предполагается позднейшее заимствование из славянских языков в балтийские⁴). Сравнение всех этих слов позволяет предположить существование в дописьменный период истории данных диалектов (в том числе общеславянского) гетероклитических имен на -*r-/-n-*.

В архаичных производных типа *дръз* за *-*r-* обычно следуют *-*o-*(-*ā*), *-*u-*, *-*i-*. Сравнение слов этого типа в славянских языках с аналогичными фактами в других родственных языках позволяет установить, что чередование аффиксов *-*ro-*(-*rā-*), *-*ru-*, *-*ri-* в архаичных именах,

¹ О значении *ḥappira* (= идеограмме URU) см. „Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства“. Пер. и коммент. под. ред. И. М. Дьяконова. „Вестник древней истории“, 1952, № 4, примеч. 1 на стр. 286.

² По-видимому, аналогичное явление можно установить и по отношению к хет. *ḥaršan* „голова“, наряду с которым засвидетельствовано существительное *ḥaršar* (см. об этом в статье: Н. Оттен. Ein Beitrag zu den Boğazköy Tafeln im Archäologischen Museum zu Ankara. „Bibliotheca orientalis“, 1951, VIII, № 6, примеч. 13 на стр. 226), ср. чередование -*r-/-n-* в др.-инд. *çiršan* „голова“ и в лат. *cerebrum* (где -*br-* < *-*sr-*), сопоставляемых с хет. *ḥaršan* (на основании предположения о том, что *h* в данном случае выходит к задненебному смычному).

³ См. об этом явлении в славянских языках в статье: А. Мátl. Abstraktní význam u nejstarších vrstev slovanských substantiv (kmenů souhlaskových). „Studie a práce lingvistické. I. K šedesátým narozeninám akad. Bohuslava Havránka“. Praha, 1954, str. 139.

⁴ К. Мül en b a c h. Latviešu valodas vārdnīca. I Sējums, Rīga, 1923—1925, l. 447; К. Буга. „Русский филологический вестник“, XVII, стр. 235. Ф. Славский, напротив, видит в лит. *duonis* точное соответствие („dokładny odpowiednik“) славянскому **danъ* (см. F. Sł a w s k i. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1953, zes. 2, str. 137).

восходящих к существительным гетероклитического типа, является очень древним явлением. В хеттском языке в качестве таких вторичных производных от основ на *-r-/-n-* обычно выступают имена существительные на *-ri-* и на *-ru-*, соответствующие основам на *-ru-* и на *-ro-(rā-)* в других индоевропейских языках; ср. хет. *etri* < **ed-ri-* „еда“ (производный от этого имени глагол *etrija-* „кормить скот“ имеет соответствие в лувийск. *adri-*¹) и лит. *ed-rū-(s)* „прожорливый, всеядный“, *ed-rā-* „корм для скота“, гомеровск. $\epsilon\acute{\iota}\delta\alpha\rho$ < * $\acute{\iota}\delta\alpha\rho$ ² „еда, корм“, род. п. $\epsilon\acute{\iota}\delta\alpha\tau\omicron\varsigma$; хет. *ešḫaḫru* „слезы, поток слез“ (арм. *ašxar-*) и др.-инд. *asra* „слеза, кровь“ (родственно хет. *ešḫar* „кровь“, род. п. *ešḫanaš*, др.-инд. *asr-k* „кровь“, род. п. *asnāḥ*) и т. п.

Особый интерес представляют производные этого типа от общеиндоевропейского названия воды (хет. *ṽatar*, род. п. *ṽetenaš*), засвидетельствованные и в хеттском языке (хет. *ṽataru-* „источник“³, основа на *-ru-* типа *ešḫaḫru*), и в славянских (ст.-сл. вѣдѣра и вѣдрѣ). Производные на **-ro-(rā-)* и **-ri-* от этого корня со значением „выдра, водное (речное) животное“ имеются и во многих других индоевропейских языках (лит. *ūdra*, др.-верхненем. *ottar* и т. п.), в том числе в языках, где имелось другое название воды (например, в латинском). Наличие в славянских языках, наряду с производным типа ст.-сл. вѣдѣра , также и производного типа ст.-сл. вѣдрѣ позволяет предположить, что основа на **-r-*, от которой образованы эти слова, сохранялась в общеславянском языке вплоть до позднего периода его развития. Основа на *-n-*, чередующаяся с этой основой на *-r-*, возможно, отражена в старочеш. *vodně* „вода, волна“⁴.

Таким образом, сравнение различных производных от общеиндоевропейского названия воды позволяет предположить наличие в общеславянском языке, наряду с архаичным корневым атематическим именем, от которого образовано ст.-сл. вѣдѣра , имени существительного гетероклитического склонения, родственного хеттскому *ṽatar*, род. п. *ṽetenaš*. В этом отношении сравнение славянских языков с хеттским языком оказывается особенно ценным, так как в хеттском сохранилось и корневое атематическое имя (см. выше), и существительное гетероклитического типа.

Распад гетероклитической парадигмы архаичного существительного в некоторых случаях предшествует созданию древнейших памятников отдельных языков. Ни в одном из индоевропейских языков не сохранился древний тип склонения общеиндоевропейского названия сна, который восстанавливается на основании сравнения хеттского отыменного глагола *šurpariija-* „спать“ (производный на *-iia-* от именной основы на *-r-*, исчезновение которой можно связать с заимствованием в хеттский язык из языка хатти существительного *tešḫa-* „сон“), гомеровск. ὑπάρ , лат.

¹ H. Otten. Zur grammatikalischen und lexikalischen Bestimmung des Luvischen, S. 58. Об *etri* ср. E. Laroche. „Revue hittite et asianique“, 1955, XII, fasc. 57.

² J. Schmidt. Die Pluralbildungen der indogermanischen Neutra. Weimar, 1889, S. 177. Некоторые лингвисты предполагали исчезновение *F в этом слове, но для этого нет достаточных оснований.

³ См. об этом слове в статье: E. Laroche. Hattic deities and their epithets. „J. of Cuneiform Studies“, 1947, I, p. 208. О древности этой основы свидетельствует наличие уже в кашпадокийских таблицах (начало II тысячелетия до н. э.) хеттского собственного имени *Uruṽa-ašu* (см. E. Laroche. Recueil d'onomastique hittite, p. 107, ср. там же о других именах на *-ašu*), по значению близкого к хеттскому имени *Šurpi-luli-uma* (*šurpi* „чистый“, *luli* „источник“). Ср. микенское (греческое) *u-do-ro*. К тому же типу основ принадлежит др.-инд. *patāru* „летучий“, греч. πτερό-υ-γ- , родственное хет. *pattar* „крыло“, род. п. *pattanaš*.

⁴ J. Holub — F. Kopečný. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1952, str. 420.

sopor „глубокий сон“¹, с одной стороны, и основ на *-n-* типа ὕπνος „сон“, с другой стороны. Если в греческом и латинском языках в данном случае сохранились как следы основы на *-r-*, так и основа на *-n-*, то в других родственных языках, в том числе в славянских, сохраняется только основа на **-no-*. Поэтому в свете новых данных подлежит уточнению часто встречающееся в этимологических словарях и сравнительно-исторических работах сравнение ст.-сл. ꙗзънъ с греч. ὕπνος и др.-инд. *svápnas*. Остается в силе вывод о том, что во всех этих языках (и в ряде других) засвидетельствована основа на **-no-*, но эту основу нельзя считать наиболее архаичной, так как сама она является результатом вторичного развития в отдельных диалектах имени существительного с чередованием *-r-/-n-*.

Обобщение во всех падежах древней основы косвенных падежей на *-n-* существительных гетероклитического склонения наблюдается в общеславянском языке в именных основах, которые исторически связаны с существительными на **-ser/-sen-*; *-ter/-ten-*; *-mer/-men-*. Для исследования этих трех типов существительных данные хеттского языка имеют особое значение, так как в хеттском сохранился древний характер склонения этих имен, ср. чередование *-eššar/-ešnaš* в хеттских отвлеченных существительных типа *haneššar* „судебное дело“, род. п. *hanešnaš*, чередование *-(a)/tar-/-*-tn- > -nn-* в хеттских отвлеченных существительных типа *papratar* „ритуальная нечистота“, род. п. *paprannaš*; аналогичное чередование *-mar-/-*mn- > -mm-*, возможно имеет место в редко встречающихся в хеттском языке существительных типа *arnumar* (отвлеченное существительное от глагола *arnu-* „доставлять“), род. п. *arnummaš*. Все эти три типа образования абстрактных (отглагольных) именных основ представлены в общеславянском языке, причем в славянских языках во всех этих сложных суффиксах гетероклитического типа было обобщено *-n-*. Хеттским именам на *-tar-/-*tn-* типа *itar* „хождение“ (лат. *iter, itineris* „путь“) в славянских языках соответствуют именные основы со сложным суффиксом **-t-(i)n* типа ст.-сл. приѣтънъ, где еще сохраняется первоначальный сложный характер суффикса (ср. приѣтъ, соотносимое с приѣтънъ). Отглагольные прилагательные того же типа на *-tin-*, *-ten-* широко распространены в литовском и старолатышском (XVII в.)², причем их герундивное значение может быть сопоставлено со значением герундива у родственных хеттских именных основ³.

Общими для балтийских и славянских языков являются также именные основы на *-sn-*, соответствующие хеттским именам на *-sn-* (чередующееся в хеттском с *-šar*), ср. ст.-сл. ꙗкънъ, прус. *biāsnan* „страх“ (вин. п.), лит. *degsnis* „горение“ и т. п. В хеттском языке суффикс *-eššar-/-ešn-* синонимичен суффиксу *-attar-/-ann- < *-atn-* отвлеченных существительных; поэтому для сравнения с фактами хеттского языка значительный интерес представляет параллелизм родственных форм (с суффиксами *-s-* и *-t-*) в балтийских языках⁴. Близость древней системы образования именных основ в славянских, балтийских и хеттском языках обнаруживается и при сравнении роли в этих языках суффиксов **-ser-/-sen-* и **-ter-/-ten-*, с одной стороны, и суффикса **-mer-/-men-*, с другой. В отличие от первых двух суффиксов, суффикс **-mer-/-men-*

¹ О происхождении двух последних слов от основы на *-r-* имени существительного гетероклитического типа см. в статье: M. Mayrhofer. Indogermanische Wortforschung seit Kriegsende. „Studien zur indogermanischen Grundsprache“. Wien, 1952, S. 42—43.

² J. Endzelīns. Baltu valodu skaņas un formas, l. 83; J. Endzelīns. Latviešu valodas gramatika, 1951, § 150, l. 310—311.

³ H. Pedersen. Указ. соч., S. 150.

⁴ J. Endzelīns. Latviešu valodas gramatika, 1951, l. 297.

ни в одной из трех названных групп индоевропейских языков не был продуктивным; он встречается обычно в архаичных изолированных существительных, которые утрачивали гетероклитический характер как в хеттском языке (ср. хет. *kalmara* „гора“¹, где суффикс **-mer* чередуется с **-men* в лат. *columen*), так и в балтийских и славянских языках. В некоторых случаях основа на **-men* обобщена и в хеттском, и в других индоевропейских языках, в том числе в балтийских и славянских, ср. хет. *laman* „имя“ (где $l < *n$), ст.сл.-имл., прус. *emmens*.

С суффиксом **(e)n-*, выделяемым в архаичных хеттских именных основах рассмотренных выше типов, по происхождению связан суффикс **-ent-*, ср., например, хет. *ħaraš*, род. п. *ħaranaš* „орел“ (суффикс **-en-* гетероклитического склонения, чередующийся с суффиксом **-el-* в общеславянском названии орла) и лувийск. *harant* „орел“² (суффикс **-ent-*). Факты славянских языков³ и связанные с ними данные балтийских языков⁴ свидетельствуют о тесной связи этих двух суффиксов в балтийских и славянских языках. Аналогичные факты имеются и в других индоевропейских языках, причем древнеиндийский и древнегреческий языки ясно указывают на то, что *-t-*, выделяемое в *-ent-*, участвовало в морфологических чередованиях гетероклитического типа, ср. основы на *-r-t-n-* в древнеиндийском и основы на *-r-ɬ- < *-nt-* в древнегреческом. Поэтому существование в общеславянском языке значительной группы основ на *-ɛt- < *-ent-*, тесно связанных с основами на *-en-*, может считаться (наряду с другими рассмотренными выше фактами) одним из свидетельств того, что в древнейший период развития общеславянского языка в этом языке существовало чередование суффиксов *-r/-n(-t)-* в именах гетероклитического типа. В древних индоевропейских языках именные основы на **-ent-* выступали как в функции имен существительных, так и в функции прилагательных, в том числе отглагольных прилагательных (позднее причастий). Не во всех индоевропейских языках суффикс **-ent-* одновременно выступает в этих различных функциях. Поэтому следует особо отметить то, что и в хеттском, и в общеславянском языках суффикс **-ent-* выступает: 1) в именах существительных⁵ (славянские имена на *-ɛt-*); 2) в прилагательных, в которых суффикс *-ant-* в хеттском и **-ot-* в славянском мог иметь усилительное значение⁶; 3) в причастиях. Сходство в употреблении этого суффикса в данных языках представляет существенный интерес потому, что производные на **-ent-* по типу образования связаны с наиболее архаичными именными основами (с суффиксами *-r/-n-*).

¹ См. об этимологии этого слова в статье: P. Meriggi. I. miti di Kumarpī, il Kronos currico. „Athenaeum“, Nova Series. Pavia, 1953, XXXI, p. 114.

² E. Laroche. Recueil d'onomastique hittite, p. 119. Форма *ka-ra-an-ta* встречается также в лувийском тексте 513/i (строка 6), напечатанном в издании: H. Otten. Luvische Texte in Umschrift. Berlin, 1953, S. 108. Ср. славянские названия (молодых) животных на *-ɛt-*.

³ А. Мейе. Общеславянский язык, стр. 294—295 (ср. критические замечания П. С. Кузнецова — там же, стр. 460, — которые касаются, однако, лишь части доводов, приводимых Мейе); J. M. Kořinek. Od indoeuropského prajazyka k praslovancine. Bratislava, 1948, str. 73. Ср. также: V. Machek. Origines des thèmes nominaux en *-ɛt du slave*. „Lingua poznaniensis“, Poznań, 1949, I, pp. 87—98; R. Aitzetmüller. Zur slawischen *-nt-* Deklination. „Zschr. f. vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen“, Göttingen, 1953, H. 1, 2, S. 65—73.

⁴ Ср. J. Otrebski. Origines de la formation des noms en indo-européen. «Lingua poznaniensis», 1949, I, p. 338. (Рецензия на книгу Э. Бенвениста).

⁵ О суффиксе *-ant-* в хеттских именах существительных см. отчет о докладе Э. Лароша, опубликованный в „Cahiers Ferdinand de Saussure“. 11, Genève, 1953, pp. 5—6.

⁶ V. Machek. Hittito-slavica. „Archiv Orientální“, 1949, XVII, pp. 2, pp. 138—140. Следует отметить, что приводимое там же (стр. 140) авестийское прилагательное того же типа — *maṛnənta* — имеет точное соответствие в хеттском *nekumant* „голый, нагой“, что В. Махеком не было указано.

Как предположил еще И. Шмидт и вслед за ним Э. Лиден, индоевропейский суффикс **-es-* входил в ту же систему чередований, что и суффиксы **-er-/*-en-*¹; архаичность ряда именных основ с этим суффиксом не подлежит сомнению. Некоторые основы на **-es-* являются общими для многих индоевропейских языков, в том числе для хеттского и славянских, ср. хет. *nepiš*, ст.-сл. нево, неветсе, греч. νέφος и др.-инд. *nabhas*². В хеттском языке морфологический тип этой основы, ставшей непроемкой, постепенно изменялся, как об этом свидетельствует встречающаяся в новохеттских текстах, наряду с формой им.-вин. п. ед. ч. ср. р. *nepiš*, форма вин. п. общего рода *nepišan*³. Переход в тип основ общего рода на *-a-* характерен и для родственного иероглифического хеттского *tapasa-(s)* „небо“⁴, что свидетельствует о начавшемся разрушении типа именных основ на **-es-* в древних индоевропейских языках Малой Азии; ср. аналогичный процесс в балтийских языках, где данная основа перешла в тип склонения на *-i-* (лит. *debesis*). В общеславянском языке именные основы на **-es-*, так же как и в хеттском, уже не принадлежали к числу продуктивных. Но все же некоторые основы на **-es-* в общеславянском языке сохранились лучше, чем в древних индоевропейских языках Малой Азии. Выше отмечалось, что в общеславянском языке сохранялась основа на **-es-* — **ojes-* „дышло“, — в хеттском языке представленная вторичным производным *hišša*. К той же лексико-семантической группе принадлежало производное на **-es-* от общиндоевропейского названия ярма (хет. *iugan*, ст.-сл. иго). В хеттском эта основа встречается только в архаичных по языку законах (§ 72): прилагательное *iugaššaš* „годовалый“ (о значении хеттских производных от *iuga* — ср. ниже); в более поздних хеттских текстах эта основа, о древности которой свидетельствует сравнение с греч. ζεύγος и лат. *iugerum*, не употребляется. В отличие от хеттского языка, в славянских языках древний тип на **-es-* во взаимосвязанных названиях ярма и дышла сохранился очень хорошо: ср. словинское *igō*, род. *ižęsa* „иго“ и *oję*, род. п. *ojęsa* „дышло в воловьей упряжи“⁵. Эти факты показывают, что в отношении сохранения некоторых основ на **-es-* славянские языки оказываются более архаичными, чем хеттский.

Для старославянского языка было очень характерно использование суффикса **-es-* в названиях частей тела, ср. ст.-сл. тв. п. мн. ч. оушєгы, род. п. ед. ч. оуєє, тчлєє, личєє, ср. дв. ч. итєєк („бедро, бока“). В хеттском языке единственной основой этого типа является редко встречающийся специальный термин ^L*hištašša-* „человек, занятый совершением обрядов в доме костей (*hešta-*)“, но в лувийском языке именные основы этого типа (обычно прилагательные) широко употребительны, ср. лувийск. *pat-ašši* „ножной“ от *pata-* „нога“, *harmah-ašši-* „головной“⁶. Такие производные на *-ašši* лувийского типа встре-

¹ E. Liden. Studien zur altindischen und vergleichenden Sprachgeschichte. Uppsala, 1897, S. 65. В недавнее время эту точку зрения высказывали Я. Отрембский и М. Майрхофер.

² По гипотезе В. Пордига, основа **nebhos* „небо“ является характерной для восточной группы индоевропейских языков (в том числе хеттского и славянского) в отличие от западных индоевропейских языков. См. W. Porzig. Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets. Heidelberg, 1954, S. 59, 189—190.

³ H. Otten. Mythen vom Gotte Kumarbi. Neue Fragmente. Berlin, 1950, S. 34.

⁴ См. об этом слове в иероглифическом хеттском в статье: S. Gelb. The contribution of the new cilician bilinguals to the decipherment of hieroglyphic hittite. „Bibliotheca orientalis“, 1950, VII, № 5, p. 140.

⁵ М. М. Хостник. Грамматика словинского языка. Горица, 1900, стр. 65; М. М. Хостник. Словинско-русский словарь. Горица, 1901, стр. 171.

⁶ Ср. H. Otten. Zur grammatikalischen und lexikalischen Bestimmung des Luvischen, S. 77—78. Для сравнения с данными славянских языков представляет интерес также лувийск. *tarušša* „изображение из дерева“, которое Оттен (там же, стр. 103)

чаются в архаичных хеттских текстах религиозного содержания как имена богов: *Ḫantašša-* „божество лба“ (от хет. *ḫant-* „лоб“), *ištama-našša-* „божество слуха“ (от хет. *ištamana-* „ухо“), *Šakuqašša* „божество зрения“ (от хет.-лувийск. *šakuqa* „глаза“). Сравнение этих данных хеттских и лувийских текстов позволяет установить, что в более ранний период развития хетто-лувийских языков тип образования именных основ на **-es-* от названий частей тела был продуктивным; сходство этого употребления суффикса **-es-* в хетто-лувийских и славянских языках не подлежит сомнению.

Сходство между хеттским и славянским языками обнаруживается не только при изучении основ с суффиксом **-es-*, но и при исследовании именных основ со сложными суффиксами, образовавшимися благодаря слиянию **-es-* с другими аффиксами: *-ešsar/-ešn-* (см. выше) и *-asti-*. В научной литературе многократно отмечалось полное тождество хеттского аффикса *-ašti-* и славянского **-ostb-*, а также тождество содержащих эти аффиксы основ: славянск. **dъlgostь* > польск. *dlugość* и хет. *dalugašti* „длина“, которое, по словам И. Фридриха, „выглядит совсем по-праславянски“¹. Необходимо подчеркнуть, что налицо тождество производных с суффиксом вторичного происхождения; таким образом, этот факт свидетельствует о наличии в хеттском и славянских языках одинаковых новообразований, что особенно существенно для установления диалектной близости родственных языков. В этой связи следует отметить, что близкий к **-os-ti-* суффикс **-es-ti-* имеется в балтийских языках, близких к славянским, и в армянском, в котором многие ученые находят ряд черт, общих только с хеттским.

Факты хеттского языка имеют существенное значение также для выделения в некоторых архаичных именных основах „детерминативов“, сросшихся с корнем. Суффиксальный характер *-t-* в названии ночи (ст.-сл. *нощѣ*), предполагавшийся задолго до открытия фактов хеттского языка, в настоящее время может считаться доказанным благодаря сравнению с хет. *nekut* „вечер“, произведенным от глагола *neku-* „смеркаться, темнеть“ (< **nek^u-*). Огласовка *e* в этом древнем производном на *-t-* имеется не только в хеттском, но и в кучанском (тохарском В) *nekciye* „вечером“². Поэтому в настоящее время уже нельзя согласиться с А. Мейе, считавшим загадочной огласовку *e* в общеславянском **nekt-*, сохраненном в архаичном слове **nekto-pirь* (рус. *непопырь*). Огласовка *e* в данном производном на *-t-* является характерной чертой, общей для хеттского, „тохарского“ и общеславянского языков, в отличие от всех остальных родственных языков.

Общие для хеттского и славянских языков явления обнаруживаются и при рассмотрении суффиксов, являющихся результатом слияния **-t-* с другими аффиксами. Славянские имена деятеля на **-tel-* находят точное соответствие в продуктивных хеттских именах деятеля на *-talla-*³; в этом отношении хеттский и славянские языки противостоят другим родственным языкам, имеющим суффикс имен деятеля **-ter-*. Сохранение суффикса **-ter-* в двух хеттских архаичных словах на *-tara* (хет.

сопоставляет с хет. *taru* „дерево“; ср. основу *дрѣвѣс-* в старославянском (см. А. Вайаи. Руководство по старославянскому языку. М., 1952, стр. 134; К. Horálek. *Evangeliiäe a čtveroevangelia*. Praha, 1954, str. 47).

¹ См. J. Friedrich. *Die hethitischen Bruchstücke des Gilgames-Epos*. „Zschr. f. Assyriologie. Neue Folge“, 1929, V, H. 1—3, S. 35, примеч. 5.

² См. W. Couvreur. В-Тоcharische Etymologien. „Archiv Orientalni“, 1950, XVIII, pp. 1—2, str. 127.

³ Ср. также суффикс орудия действия *-kla-* в хет. *akukla* „сосуд с водой“ (от *eku-*, *aku-* „пить“, ср. родственное лат. *pisculum* от *pō-*); особенности хеттской графики не позволяют, однако, установить, восходит ли суффикс *kla-* к **tlo-* или к *dhlo-*.

ekutara от *eku-* „пить“, *ueš-tara* „пастух“, ср. авест. *vāstar-*) может быть сопоставлено с сохранением суффикса **-tro-* в общеславянском языке только в единичных случаях (ст.-сл. *ѣтръ*). Чередованию суффиксов **-ter-/*-tel-* может быть дано двоякое объяснение: либо морфологическое, либо чисто фонетическое. В этом последнем случае предполагается, что *r* и *l* могли быть вариантами одной фонемы; в пользу этой гипотезы можно привести данные, свидетельствующие о позиционном ограничении *r*, в частности, об отсутствии начального *r* в ряде индоевропейских языков, в том числе в хеттском¹; ср. также чередование *r/l* в таких хеттских словах, как *šijattarija-* и *šijattalija-* „запечатывать“. Об отражении в хеттском языке древних особенностей индоевропейского *r* и морфем, содержащих этот плавный, свидетельствует наличие в хеттском вариантов основ с конечным **-t(e)r* без этого **-r* типа хет. *papratar* „ритуальная нечистота“ и *paprata*; ср. предполагающиеся для общиндоевропейского языка варианты основ на *-r-* и без *-r* (греч. *μῆτιρ* и ст.-сл. *мѣти*), ср. также хет. *hatreššar-* и *hatrešša-* „послание“, хет. *happeššar-* „часть тела“ и лувийск. *happiša-*. Для истории славянских (и балтийских) языков эти хеттские (и лувийские) формы особенно ценны, так как для славянских языков характерно отражение именных основ этого типа без конечного *-r*.

Рассмотренные выше факты показывают, что в системе имени в хеттском и общеславянском языках имелось много общих черт.

Из местоименных форм для сравнения со славянскими языками наибольший интерес представляет энклитическая форма дат. п. мн. ч. *šmaš* „им“. Согласно гипотезе Ф. Зоммера², эта форма образована от местоименного корня *š-* (ср. энклитическое местоимение дат. п. ед. ч. *ši* „ему, ей“). Окончание *-maš* в этой форме Зоммер сопоставляет с окончанием дат. п. мн. ч. **-mos* в славянских и балтийских языках. Но если в славянских и балтийских языках **-mos* (**-mus*) является характерным окончанием для имени, то в хеттском оно встречается только в данной местоименной форме; падежи именного склонения на **-m-* хеттскому языку были неизвестны (см. выше). Вместе с тем, функции **-m-* в хеттском и славянском местоименном склонении различны: в хеттском **-m-* характеризует местоименные формы множественного числа, в отличие от форм единственного числа³, тогда как в славянских языках *-m-* встречается в формах единственного числа типа дат. п. *тому*, где *-m-* сравнивается с *-m-* в др.-инд. дат. п. *tas-m-ci*⁴ и т. п. Поэтому тождество хет. *-m-* в *šmaš* и славянского **-m-* в формах косвенных падежей имен и местоимений не может еще считаться доказанным.

Для интерпретации различия между формой личного местоимения первого лица множественного числа с начальным *m* в славянских (ст.-сл. *мы*), балтийских и армянском языках и формой с начальным **u* в других языках (хет. *ueš* „мы“) существенный интерес представляют чередования глагольных окончаний на *-m-* и на *-u-* в первом лице множественного числа хеттских глаголов (*-ueni/-meni*, *-uen/-men*). Эти факты позволяют предположить, что чередование **u-/*-m* в первом лице

¹ Ср. W. P. Lehmann. The distribution of Proto-Indo-European [r]. „Language“, 1951, v. 27, January—March, № 1.

² F. Sommer. Hethiter und Hethitisch. Stuttgart, 1947, S. 50; J. Friedrich. Hethitisches Wörterbuch, 3. Lief. Heidelberg, 1953, S. 195 (ср. там же о других объяснениях формы *šmaš*).

³ E. Benveniste. La flexion pronominale en hittite. „Language“, 1953, 29. № 3, July—September, pp. 261—262.

⁴ О возможных соответствиях ст.-сл. *тому* в хеттском языке ср. также гипотезу, изложенную в статье: O. Szemerényi. Hittite pronominal inflexion and the development of syllabic liquids and nasals. „Zschr. f. vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen“, 1955, 73, H. 1—2, S. 70.

множественного числа личных местоимений и глаголов носило общеиндоевропейский характер¹.

Наиболее существенные изменения в традиционное понимание грамматической системы общеиндоевропейского языка должно внести исследование хеттского глагола. Данные хеттского языка показывают, что древнеиндийская и древнегреческая глагольные системы, на основании которых обычно реконструировалась система индоевропейского глагола, являются, в действительности, результатом параллельных новообразований, имевших место в греческом и древнеиндийском². Система форм, соответствующая хеттскому спряжению на *-mi* (с противопоставлением первичных окончаний в настоящем времени и вторичных окончаний в прошедшем времени), хорошо сохранилась в других индоевропейских языках, в том числе в славянских. Но формы, соответствующие формам хеттского спряжения на *-hi* и медиопассива³, подверглись изменению во всех других языках, что отчасти могло быть связано с факторами фонетического характера (исчезновением „ларингалных“, выступающих в хеттских окончаниях спряжения на *-hi* и медиопассива).

В настоящее время остается в силе вывод, отчетливо сформулированный Мейе, согласно которому общеиндоевропейский глагол характеризовался наличием ряда самостоятельных глагольных основ, образованных от одного корня⁴. По своему значению эти основы, по-видимому, характеризовались различиями видового характера; возникновение системы перфекта и аориста, противопоставленных в древнегреческом и древнеиндийском языках системе настоящего времени, явилось, очевидно, результатом развития в отдельных диалектах этой древней системы самостоятельных глагольных основ⁵. Поскольку это развитие осуществлялось по-разному в различных диалектах, следует избегать недостаточно обоснованного возведения всех явлений славянской и балтйской глагольной системы к формам, характерным для греческого и санскрита, так как некоторые из этих форм могли отсутствовать в славянских и балтийских языках на всем протяжении их развития. Общим для всех индоевропейских языков является лишь исходный пункт этого развития: период, когда от каждого корня образовывался ряд независимых основ. В хеттском языке отражены следующие важнейшие типы глагольных основ, имеющие соответствия в других родственных языках, в том числе в славянских: 1) редуцированные основы с интенсивным и

¹ Ср. о других случаях чередования **u-/*m-* в книгах: Н. Pedersen. *Hittitisch und die anderen indoeuropäischen Sprachen*, S. 197; E. H. Sturtevant. *The Indo-Hittite laryngeals*. Baltimore, 1942, p. 26. Ср. также чередование **m* в лит. *pirmas* „первый“ и **u* в ст.-сл. *пръкъи*.

² См. об этом в рецензии: В. Rosenkranz. „Orientalistische Literaturzeitung“, Berlin, 1953, № 3—4, S. 146 (со ссылкой на диссертацию R. Birwé).

³ См. о возможности генетической связи спряжения на *-hi* и медиопассива в статье: В. Rosenkranz. *Die hethitische hi-Konjugation*. „Jb. f. kleinasiatische Forschung“, 1953, II, H. 3, Januar. Из других новейших исследований, посвященных дискуссионной проблеме соответствий спряжению на *-hi* в других индоевропейских языках, следует отметить статьи: J. Knobloch. *La voyelle thématique -e-/o- serait-elle un indice d'objet indo-européen*, „Lingua“, 1953, III, № 4, August, pp. 407—420; R. Wernier. „Orientalistische Literaturzeitung“, 1953, № 5—6, S. 242. Ср. также: A. Kommenhuber. *Studien zum hethitischen Infinitivsystem*. „Mitt. des Inst. f. Orientsforschung“. Berlin, 1954, II, S. 69.

⁴ А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, стр. 428; ср. характеристику индоевропейских языков в статье Э. Бенвениста и Ж. Вандриеса („Les langues du monde“, 2 ed. Paris, 1952, p. 11). См. также: J. A. Kerns, B. Schwartz. *Multiple stem conjugation: an indo-hittite isogloss?* „Language“, 1946, 22, № 2.

⁵ См. о древнейшей системе индоевропейского глагола в рецензии: W. P. Lehmann. „Language“, 1954, 30, № 4, October—December, pp. 465—466.

итеративным значением¹ (например, *цѣцак-* „неоднократно требовать“); 2) итеративные глаголы на *-sk-*; 3) глаголы на *-s-*, синонимичные глаголам на *-sk-*; 4) каузативные глаголы с носовым инфиксом (хет. *ni(n)-*), с которыми по происхождению связаны каузативные глаголы на *-nu- < *n-eu-*²; 5) глаголы с суффиксом **-iō-* хет. *-ija-*. Факты хеттского языка представляют особую ценность для изучения класса глаголов на *-s-*, тесно связанных с глаголами на *-sk-*.

Глаголы на **-s(o)- > -šša-* в хеттском языке синонимичны итеративным глаголам на *-sk-*, ср., например, синонимичные итеративные глаголы *ḫalzešša-* и *ḫalzešk-* (от *ḫalzai-* „звать“). Эта особенность хеттских глаголов на *-s-* является очень древней, как об этом свидетельствует сравнение с родственными языками. В лувийском языке хеттскому суффиксу *-ss-* соответствует суффикс *-šš-* имеющий то же значение, что и хеттский суффикс *-sk-*³. Аналогичное соотношение суффиксов *-s-* и *-sk-* обнаруживается в „тохарских“ языках, где глаголы на *-s-* выступают в том же (каузативном) значении, что глаголы на *-sk-*⁴. Это подтверждает уже давно высказывавшуюся в сравнительно-историческом языкознании гипотезу в том, что в общеиндоевропейском языке существовал глагольный суффикс **-s-* (**-es-* и **-so-*), связанный с суффиксом *-sk-*⁵. Поэтому можно выделить древний суффикс **-s-* в таких основах, как хет. *paḥ-š-* „беречь, хранить“, общеславянск. **pā-s-* (рус. *пасу*), лат. *pā-s-tum*, *pā-s-tor*, тохарское А *pās-* „хранить, пасти“, ср. родственную основу на *-sk-*, представленную в лат. *pāscō* „пасу“ (ср. перфект *pā-vī*, где выступает непроизводная основа *pa-*) и тохарском В *pu-sk-*⁶. Хет. *paḥ-š-* не является единственным хеттским глаголом на *-s-*, имеющим точное соответствие в общеславянском. В хетто-лувийских языках засвидетельствовано производное на *-s-* от корня **-ed-* „есть“: хет. *ez-*, *az-* (иногда пишется *azza-*), лувийск. *az(zas-)*. Эта производная основа, восходящая к общехетто-лувийскому периоду, связана с итеративным производным, образованным от того же корня посредством суффикса *-sk-*: хет. *azzik-[at-sk]*, который встречается уже в древнейших памятниках хеттского языка (например, в хеттско-аккадской билингве Хаттусилиса I, XVII в. до н. э.). Существование параллельных производных на *-s-* и на *-sk-* от корня **-ed-* можно предположить и для балтийских и славянских языков. От основы **ed-s-* образовано общеславянское **ed-s-l-* „ясли“ (ст.-сл. *ѣсли*), которое по типу образования близко к латыш. *esli(s) < *ed-s-li-* „тот, кто постоянно жует; обжора“⁷, ср. также латыш. *ēsmā < *ed-s-mo-* „еда, приманка“,

¹ См. о видовом значении хеттских редуцированных основ в статье: Н. Оттен. Ein Beitrag zu den Boğazköy-Tafeln im Archäologischen Museum zu Ankara, примеч. 27 на стр. 227.

² Для изучения этих двух типов основ значительный интерес представляет предположенная Э. Бенвенистом этимология хет. глагола *ninink-* (с носовым инфиксом), сопоставленного Бенвенистом с рус. *никнуть* и лит. *ninku-*, см. E. Benveniste. Études hittites et indo-européennes. „Bull. de la Soc. de linguistique de Paris“, 1954, L, fasc. 1, pp. 40—41.

³ В. Rosenkranz. Der gegenwärtige Stand der Erforschung der luvischen Sprache. „Bibliotheca orientalis“, 1952, IX, № 5—6, S. 163; H. G. Güterbock. Notes on Luwian studies, „Orientalia“, 1956, vol. 25, fasc. 2, p. 120. Ср. о суффиксе *-s-* в лувийском языке в кн.: Н. Pedersen. Lykisch und Hittitisch. 1945, S. 26—27, 31.

⁴ См. о глаголах на *-s-* в тохарском в кн.: W. Krause. Westtocharische Grammatik., I. Das Verbum. Heidelberg, 1952, S. 76—77.

⁵ K. Brugmann. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, 3. Teil, S. 336—350; P. Persson. Beiträge zur indogermanischen Wortforschung, 2. Teil, Uppsala—Leipzig, 1912, S. 555—556, 581—583.

⁶ Подробно история глаголов, родственных рус. *пасу* (в связи с проблемой глаголов на *-s-*), рассматривается автором в специальной статье.

⁷ K. Müllenhach. Latviešu valodas vārdnīca“, I, S. 577. Ср. также о славянском **ed-s-*: E. Berneker. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908—1913, S. 273 (где приводятся сербо-хорватские слова, возводимые к этой основе).

латышск. *ēdesis* „корм для свиней“, лит. *edesys, ēdesis* < **ed-es-i-s* „корм, еда, приманка“. Старославянский аорист *ѣлъ (ѣлъ)* обычно считается формой позднего происхождения, так как он образован от корня с длительным (неаористическим) значением. Но учитывая то, что многие формы сигматического аориста связаны по происхождению с глаголами на *-s*¹, можно предположить отражение в *ѣлъ* древней основы на *-s*, переосмысленной как основа аориста после распада класса глаголов на *-s* в общеславянском. Связанная с общей для балтийского и славянского основой **ed-(e)-s* основа **ed-sk-* (ср. выше о хет. *azzik-*) отражена в лит. *ėškà* < **ed-sko-* „аппетит“, латыш. *ēška-* „обжора“², *ēškuot-* „часто есть“ (ср. значение хеттского итеративного глагола *azzik-* „многократно есть“); древний характер этой основы подтверждается и сравнением с лат. *vescor* < *ve-escor* „питаюсь“. Эти факты показывают, что в славянских и балтийских языках сохранялись архаичные глагольные основы с суффиксами **-s-* и **-sk-*, имевшимися также и в хеттском. Разложение типа глаголов на *-s* в славянских языках относится к периоду, предшествующему созданию письменных памятников, но все же сохранилось некоторое количество глаголов типа рус. *махать*, *кусать*, где общеславянский глагольный суффикс **-s-* может быть выделен благодаря сравнению фактов славянских языков, причем для него можно предположить интенсифицированное значение, близкое к значению хеттского итеративного *-šša-*³.

В балтийских языках в функции *-s-* и *-sk-* чаще всего выступает глагольный суффикс *-st-*⁴, ср. частое сочетание носового инфикса с суффиксом *-st-* в балтийских языках и частое сочетание носового аффикса с суффиксами *-s-* и *-sk-* в других родственных языках (хеттские суффиксы *-nu-šk-*, *-ne-šk-*, лувийск. *-nešš-*, ср. классы глаголов на *-nās-* и *-nāsk-* в тохарском). Следует обратить внимание на то, что единственная глагольная основа, в которой А. Мейе предполагает суффикс **-st-* в общеславянском языке — **or-ste-*⁵ (ст.-сл. *рѣгѣхъ*), может быть сопоставлена с производными от корня **or-*, образованными посредством суффиксов **-s-* и **-sk-* в хеттском и индо-иранских языках: хет. *aršk* „достигать“ (др.-инд. *rccha-*), хет. *aršija-* (лувийск. *aršija*) „течь“ (др.-инд. *arṣ*), ср. также сигматические формы аориста и будущего времени, образованные от того же корня в древнегреческом (*ῥρσγ* и *ῥρσουα*). Такие факты могут свидетельствовать об общендоевропейском характере некоторых основ на *-s-*, сохранившихся в общеславянском языке.

Для установления общих диалектных черт в системе хеттского и общеславянского глагола значительный интерес представляет исследование причастий на *-l-*. Употребление отглагольных прилагательных

¹ К. Brugmann. Указ. соч., S. 336—337. Связь сигматических древнеиндийских форм с хеттскими и „тохарскими“ формами на *-s-* показана в исследовании: T. Burrow. The Sanskrit Precative. „Asiatica, Festschrift Friedrich Weller“, Leipzig, 1954, pp. 35—42.

² J. Endzelīns. Latviešu valodas gramatika, I. 356. J. Endzelīns. Baltu valodu skaņas un formas, § 142, I. 95.

³ Ср. А. Мейе. Общеславянский язык, стр. 30, 172—173, 193; см. V. Machek. Les verbes slaves en-cheti, „Lingua poznaniensis“, 1953, 4, p. 129 след.

⁴ Chr. S. Stang. Das slavische und baltische Verbum. Oslo, S. 136—137. В этой связи значительный интерес представляет гипотеза Х. Т. Боссерта (см. „Jb. f. kleinasiatische Forschung“, 1953, II, Н. 3, S. 310) о том, что клинописному хет. *-šša-* и *-šk-* в иероглифическом хеттском соответствует суффикс *-st-*; ср. клинописные хеттские итеративные глаголы *eš a-* и *eš z-* (от *iia* „делать“) и иероглифическое хет. *aiast-* (от *aia* „делать“, родственного клинописному хет. *iia*).

⁵ А. Мейе. Общеславянский язык, стр. 172 (эта этимология не является общепринятой).

на *-l-* в функции причастий обнаружено только в славянских, тохарских и армянском языках¹; аналогичные факты имеются и в древних индоевропейских языках Малой Азии. Наряду с формами *dalugnula* (от глагола *dalugnu-* „делать длинным“) и *barganula-* (от *barganu-* „делать высоким“), встречающимися только в одном тексте², к этому типу принадлежит чаще встречающееся причастие *arnuḡala*³ (от *arnu-* „доставлять“, каузативный глагол на *-nu-* того же типа, что и *dalugnu-*, *barganu-*). В тексте Во 3125 + Во 4428⁴ (строка 12) встречается форма этого типа с „глоссовым клином“, который обычно ставится перед лувийскими формами или формами других языков Малой Азии, близких к хеттскому, — *a-ú-ua-al-la-as*. Эта форма образована от глагола *aḡ* (*a-*) „видеть“, общего для хеттского и лувийского языков. Форма с глоссовым клином *aḡalla-* показывает, что образование причастий на *-l-* было характерно не только для хеттского языка, но и для других близко родственных ему языков (вероятно, для лувийского).

Близость способов образования причастий в славянских языках и древних индоевропейских языках Малой Азии обнаруживается и при изучении соответствий общеславянским причастиям на **-mo-*. Причастия этого типа встречаются в славянских, балтийских и армянском языках; в хеттском языке сохранились только изолированные следы этого типа⁵, но в лувийском и иероглифическом хеттском языках медиопассивные причастия, как правило, образуются посредством суффикса **-mo-* > *-ma-*⁶. Использование причастий на *-l-* и на **-mo-* характерно только для некоторых индоевропейских диалектов, поэтому сходство в этом отношении между древними индоевропейскими языками Малой Азии и славянскими языками обращает на себя особое внимание.

Характерной чертой индоевропейского глагола являлось его употребление в сочетании с наречиями-приставками, которые в хеттском языке часто выступают также и в функции послелогов. В хеттском языке можно выделить две группы приставок:

1. Наречия-послелого, которые в древнехеттском языке могут функционировать еще в качестве форм существительных и поэтому должны быть отнесены к числу слов, превратившихся в служебные слова лишь на позднем этапе развития хеттского языка.

2. Приставки, обычно не выступающие в качестве самостоятельных наречий-послелогов и в некоторых производных глаголах уже сросшиеся с корнем.

Приставки обеих групп имеют соответствия в родственных языках. При этом наречия-послелого более позднего происхождения находят соответствие в греческом и латинском языках, ср. хет. *hanti* „отдельно“ (древняя форма дат. п. ед. ч. существительного *hant-* „передняя сторона, лоб“), греч. *ἀντί*, ср. лат. *ante* и др.-инд. *anti*; хет. *katta(n)* „под, у“ (в древнехеттских текстах функционирует в сочетаниях с притяжа-

¹ W. Thomas. Die tocharische Verbaladjektive auf *-l-*. Berlin, 1952. Ср. В. В. Иванов, „Вопросы языкознания“, 1956, № 2, стр. 17. Следует отметить, что тохарские языки сходятся со славянскими и в образовании инфинитивов на **-ti*.

² H. Pedersen. „Hittite *dalugnula* and *barganula*“. „J. of Cuneiform Studies“, 1, № 1, pp. 61—64. Ср. A. D. N. H. n. Subjunctive and Optative. Baltimore, 1953.

³ См. о слове *arnuḡala-* в статье: S. Alp. Die soziale Klasse der NAMRA-Leute. „Jb. f. kleinasiatische Forschung“, I, 1950.

⁴ Напечатано в кн.: H. Otten. Zur grammatikalischen und lexikalischen Bestimmung des Luvischen, S. 79, примеч. 92. Ср. о причастиях на *-la* в лувийском: В. Рокенкранц. Beiträge zur Erforschung des Luvischen, Wiesbaden, 1952, S. 82 и след.

⁵ N. Pedersen. Hittisch und die anderen indoeuropäischen Sprachen, S. 148.

⁶ См. о лувийском в книгах: F. Sommer. Hethiter und Hethitisch, S. 66; H. Otten. Zur grammatikalischen und lexikalischen Bestimmung des Luvischen, S. 44, 88. Об иероглифическом хеттском см. в статье: A. Goetze. Contributions to Hittite Lexicography. „J. of Cuneiform Studies“, 1951, 5, № 2, pp. 72—73.

тельными местоимениями в качестве существительного „нижняя сторона, близость“) и греч. $\chi\eta\tau\acute{\alpha}$ „под“. Приставки, в хеттском языке уже утратившие самостоятельный характер и относящиеся, следовательно, к числу самых древних служебных слов, имеют наиболее точные соответствия в славянских и балтийских языках. К этой древней группе приставок принадлежат в хеттском языке две приставки, соотносительные по своему значению: *u-* (*ue-*) и *pe-*, *pa-*¹, ср., например, архаичные формы, производные от корня **ei-/i-* „идти“: *uizzi* „он приходит“ и *paizzi* „он пойдет“. Эти две приставки находят точное соответствие в славянском *ou-* и *ps-*, *pa-* (ср. префикс *au-*, продуктивный в прусском языке, и *pa-* < **po-*², играющий важную роль в качестве предлога и приставки в балтийских языках). Мейе считал параллелизм в употреблении данных двух префиксов особенно существенным для установления близких черт в развитии балтийских и славянских языков³; в этой связи особый интерес представляют факты хеттского языка, свидетельствующие об архаичности данных служебных слов, рано превращающихся в приставки.

Рассмотрение этих слов подводит к постановке вопроса об общих чертах в лексике хеттского и славянских языков. Многие слова и корни, общие для этих языков, имеются и в других индоевропейских языках и не могут поэтому свидетельствовать об особой диалектной близости хеттского и славянских языков. Но в ряде случаев можно обнаружить наличие в хеттском и славянских языках таких родственных производных от общеиндоевропейских корней, которые имеют значительное сходство по характеру образования или по значению (некоторые из подобных фактов указывались выше при анализе явлений именного и глагольного словообразования). В хеттском и в славянском языках имеется глагол со значением „говорить“, родственный глаголу **dhē-* „ставить“, ср. хет. *te-* „класть“, *te-* „говорить“ и ст.-сл. дѣти „деть, положить“, дѣши „говоришь“⁴ и т. п. С этими фактами можно сопоставить то, что производные от корня **men-* выступают в качестве *verba dicendi* в хеттском, балтийских и славянских языках, ср. хет. *meta-*, *metma-* „говорить“ (где *-m(m)-* < **mn-*, ср. лувийск. *tammana-* „говорить“⁵), др.-рус. мѣнити „говорить“, латыш. *minet* „упоминать, называть“, лит. *minti* „мнить, звать, именовать“. В хеттском (и тохарских) языках имеется глагол, по типу образования точно соответствующий основе **iā-*, которая отражена в ст.-сл. илѣати: ср. хет. *iā-* „идти, ходить, шагать, идти походом“, тохарское *yā-* „приезжать, вести“⁶. др.-инд. *yā-* „идти, ходить, ехать“. В свете этих фактов нуждается в пересмотре утверждение А. Мейе, считавшего, что этот глагол „встречается на территории, ограниченной индо-иранскими, славянскими и балтийскими

¹ И. Фридрих. Краткая грамматика хеттского языка. М., 1952, § 157, стр. 84, Н. Pedersen. Lykisch und Hittitisch. Kjøbenhavn, 1949 (2. Aufl.), § 40, S. 24.

² См. о древнейшем фонетическом облике этого префикса в балтийских языках в кн.: J. Eндzelīns. Baltu valodu skaņas un formas, § 445, l. 241.

³ А. Мейе. Общеславянский язык, стр. 403—404.

⁴ Педерсен высказал предположение, что „говорить“ было одним из древних значений данного корня, см. Н. Götze u. Н. Pedersen. Mursilis Sprachlehre. Kjøbenhavn, 1934, S. 68. О сходстве хеттских и славянских производных от этого корня ср. указанную выше статью: V. Machek. Hittito-slavica, pp. 135—138; W. Porzig. Указ. соч., S. 189.

⁵ См. об этом лувийском глаголе в кн.: E. Laroche. Recueil d'onomastique hittite, p. 115 и примеч. 15 на стр. 117. О написании *metma-* с двойным *-mm-* см. в статье: Н. Otten. Ein kanaänischer Mythos aus Bogazköy. „Mitt. des Inst. f. Orientforschung“, Berlin, 1953, I, H. 1, S. 130. Переход **mn* > *mm* наблюдается в хеттском языке и в других случаях.

⁶ W. Krause. Westtocharische Grammatik, I. Heidelberg, 1952, S. 223.

языками¹; в область распространения этого глагола в настоящее время следует включить также хеттский и тохарские языки.

Ввиду того, что этимология ст.-сл. плещѣ „лопатка, плечо“ (рус. плечо) является дискуссионной², значительный интерес представляет обнаружение в хеттском языке названия плеча, лопатки — *paltana-*, которое может быть сопоставлено с рус. плечо. В хет. *paltana-* выделяется аффикс *-ana-*, характерный для хеттских названий частей тела (ср., например, *istam-ana-* „ухо“ от *istam-as-* „слышать“ и т. п.), и корень *palt-*, который может быть возведен к **pelt(h)-* на основании сравнения с ирландским *leithe* „плечо“ и греч. *ὄμο-πλάτη* „лопатка“. Наличие в хеттском, ирландском и древнегреческом названия плеча, лопатки, образованного от этого корня, делает очень вероятной связь с тем же корнем ст.-сл. плещѣ, давно уже предполагавшуюся Мейе и некоторыми другими лингвистами.

Значительный интерес представляет полное семантическое тождество производных от корня **mold-* в хеттском и славянских языках. Родство хеттского глагола *malda-* „молить“ и общеславянского **mold-* > *modl-* уже отмечалось в научной литературе³, но более полному обоснованию этой этимологии ранее препятствовала недостаточная изученность значений этого слова в хеттском. Как установил в одной из своих последних статей Э. Ларош, хет. *malda(i)-*, в отличие от других синонимичных хеттских глаголов, означало „обещание принести жертву, обращенное к божеству для того, чтобы вымолить у него благодеяния“⁴. Таким образом, значение этого глагола в хеттском языке точно соответствует значению „просить, умолять приношением жертвы“⁵, которое было установлено для общеславянского **modliti* на основании сравнения с такими словами, как рус. диалектн. *молить* „резать, колоть животных по известному обряду“⁶. Это показывает, что данные хеттского языка могут быть привлечены для этимологического анализа некоторых архаичных общеславянских терминов. В этой связи представляет интерес гипотеза В. Махека о родстве хет. *kušata* „цена за невесту“, *kuš-* „платить“ и слав. **kuna-* „цена за невесту“⁷ (ср. рус. *кунные деньги* „подарок за невесту“). Представляется существенным то, что соотношение славянского **kuna-* и хет. *kuš-* „платить“, предполагаемое В. Махеком, аналогично соотношению общеслав. **vno-* „вено, приданое“ и хет. *цеš-* „покупать“. В обоих случаях в хеттском языке могут быть представлены древние глаголы на **-s-*⁸ (ср. выше об этом типе глаголов), тогда как в славянском суффиксальное *-s-* может отсутствовать.

¹ А. Мейе. Общеславянский язык, § 577, стр. 405.

² Важнейшие точки зрения указаны уже А. Преображенским. (См. „Этимологический словарь русского языка“, вып. 10. М., 1914, стр. 74).

³ E. Benveniste. Une racine indo-européenne. „Bull. de la Soc. de linguistique de Paris“, 1932, 33, f. 2 (99), pp. 133—135; А. Мейе. Общеславянский язык, стр. 402.

⁴ E. Laroche. Le voeu de Puduhepa. „Revue d'assyriologie et archéologie orientale“, Paris, v. 43, № 1—2, p. 67.

⁵ А. Преображенский. Этимологический словарь русского языка, вып. 1. М., 1910—1914, стр. 549. О связи значений этого корня со значением „жертва“ ср. в кн.: E. Berneker. Slavisches etymologisches Wörterbuch, 2. Lief., S. 66. Ср. о *modla* в кн.: L. Niederle. Rukovět slovanských starožitností. Praha, 1953, str. 308.

⁶ Ср., помимо литературы, указанной А. Преображенским, „Дополнение к опыту областного великорусского словаря“. СПб., 1858, стр. 115 (со ссылкой на вятские говоры).

⁷ V. Machek. Hittito-slavica, pp. 33—35; ср. J. Holub—F. Kopečný. Etymologický slovník jazyka českého, str. 194. О соответствиях хет. *kuš-* в германских языках см. в рецензии на словарь хеттского языка Фридриха: A. Goetze. „Language“, 1954, № 3, p. 403.

⁸ В. Краузе предполагает суффиксальный характер *-s-* в **ues-* „покупать“ на основании сравнения с тохарским *ωi-s-* „давать“ (W. Krause. Westtocharische Grammatik, S. 185—186). Бенвенист, возражая против гипотезы Краузе (в рецензии, напеча-

Сравнение славянских языков с хеттским, древнеиндийским и древнегреческим языками показывает, что славянские языки хорошо сохранили архаичные общеевропейские названия ярма (ст.-сл. иго, хет. *iugan*) и дышла (словинск. *oje*, хет. *hišša-*, см. выше об отражении суффиксального *-s-* в этом слове в славянских языках). При этом следует отметить, что название дышла сохраняется только в языках, засвидетельствованных наиболее древними письменными памятниками, и в славянских языках (ср. также лит. *iena* „дышло“, образованное от того же корня посредством другого суффикса), тогда как название ярма засвидетельствовано во многих языках. Как показывает др.-инд. *yuj-*, корень, от которого образовано название ярма, имел значение „связывать, располагать в определенной последовательности“, ср. значение причастия *yuktá* „следующий (друг за другом) в определенном порядке“. Этим объясняется временное значение др.-инд. *yugám* „поколение; время жизни поколения; период из пяти лет; один из четырех циклов (периодов жизни мира)“, ср. также *yugaṃśaka* „год“. С этим употреблением древнеиндийского *yuga(m)-* следует связать использование в архаичных по языку хеттских законах (§§ 67, 68) родственной основы *iuga-* в значении „годовалый“ — о скоте (ср. выше о суффиксе *-ass-* в производном *iugašša-* „годовалый“). В тех же параграфах хеттских законов встречается сложное слово *ta-iuga-* „двухлетний“ (о скоте): *ta-* „два“ + *iuga-* „год(овалый)“. В хеттском языке сложные слова встречаются крайне редко и всегда носят характер изолированных архаизмов; поэтому сложное слово *ta-iuga-*, выступающее в качестве специального скотоводческого термина в древнем тексте, должно восходить к дописьменной эпохе развития хеттского языка. Об архаичности такого рода сложных слов с вторым компонентом **i(e)ugo-* во временном значении свидетельствует и сравнение с однотипным *tri-yuga-* „время, охватывающее три периода жизни“ в „Ригведе“ (923, 1). В сложных словах этого типа в отдельных языках могли происходить разного рода упрощения групп сонантов и гласных, ср. варианты *taḷugas* и *taugas* в § 58 хеттских законов; такого рода упрощение в латинском сложном слове, соответствующем хеттскому *ta-iuga*, привело к устранению *-u-*: лат. *bīgae* „парная запряжка“ < **dui-iug*. Поэтому может быть принято (несмотря на известные трудности при объяснении литовского слова) предложенное Х. Педерсеном сравнение хет. *ta-iuga-* „двухлетний“ (о скоте) и лит. *dveigys* „двугодовалое домашнее животное“¹. Семантическое тождество данного хеттского и литовского слов является неоспоримым; о правильности возведения лит. *dveigys* к очень древней эпохе развития балтийских языков свидетельствует его родство с сербохорват. *двизак* „двухлетний баран“, ср. также лит. *treigys* „трехлетнее домашнее животное“, ст.-сл. тризъ и др.-инд. *tri-yuga-* (в „Ригведе“, см. выше). На основании этих фактов, в случае, если данная этимология будет окончательно доказана с фонетической стороны, можно будет предположить, что специальные скотоводческие термины типа древнехет. *ta-iuga-* „двухлетний“ сохранялись в балтийских и славянских языках (ср. выше о сохранении архаичного названия дышла в этих языках), причем в результате исчезновения в этих языках временного значения у основы **i(e)ugo-* древняя структура этих сложных слов могла преобразоваться, что было связано с фонетическими процессами, аналогичными тем, которые наблюдаются в лат. *bīgae*.

В последней работе Э. Бенвениста даны две новые этимологии, показывающие, что число балтийско-славяно-хеттских изоглосс в области

танной в „J. asiatique“, 1953, № 4, p. 520), не учитывает того, что хет. *ceš-* может быть глаголом на **-s-*.

¹ A. Götze u. H. Pedersen. Mursilis Sprachlähmung. København, 1934, S. 68.

лексики может быть умножено: Э. Бенвенист сопоставляет с рус. *никнуть* и лит. *pinkti* хеттский глагол с носовым инфиксом *pinink-*¹. Общее для балтийских и славянских языков название осени находит соответствие в хеттской основе *zepa-* „осень“ (где хеттское *z* восходит к общеиндоевропейскому **s*)².

Рассмотренные выше факты позволяют сделать следующие выводы:

1. Ряд явлений в словообразовании (в особенности именном), а также некоторые лексические данные свидетельствуют о наличии черт, общих только для хеттского и славянских языков.

2. Факты хеттского языка позволяют проникнуть в глубь истории фонетического и морфологического развития общеславянского языка и избежать традиционного антиисторического отождествления общеиндоевропейской грамматической системы с грамматическим строем древнеиндийского и древнегреческого языков, что в особенности важно для исследования истории склонения и спряжения в общеславянском языке.

¹ См. примеч. 2 на стр. 22.

² E. Benveniste. Etudes hittites et indoeuropéennes. „Bull. de la Soc. de linguistique de Paris“, 1954, 50, fasc. 1, pp. 34—35.

О. Н. ТРУБАЧЕВ
СЛАВЯНСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ 1—7

1. ЗИМА

Название зимы является общим во всех славянских языках и прослеживается всюду без каких-либо отклонений в значении¹. Общеславянское **zima*, получаемое в результате сравнения всех славянских названий, восходит к индоевропейскому **ǵhei-m*², любопытному во многих отношениях. Исследователи отмечают, что из всех индоевропейских названий времен года это название наиболее распространено³. Индоевропейское **ǵhei-m* не обнаруживает больших колебаний в значении в различных языках (так, ср. греч. *χειμῶν*, *χειμῶν* „зима, буря“)⁴. Основным же значением индоевропейского **ǵhei-m* является „зима, зимнее время“⁵. Поскольку индоевропейскому названию зимы родственно название снега, ср. арм. *jiun*, греч. *χιών*, объединяемое с вышеназванной основой как одна из ее разновидностей⁶, считают, что значение „снег“ является в известной степени исходным в образовании значения индоевропейского термина „зима, зимний сезон“. Как с формальной, так и со смысловой стороны подобное сопоставление представляется оправданным: снег, действительно, непрменный атрибут зимы для всего умеренного климатического пояса. Правда, рассуждая так, мы забываем о возможных значительных переменах климатических условий, а также (и это более реально) о несомненных крупных передвижениях древних индоевропейцев из одних климатических районов в другие. Конечно, одни лишь общие доводы не в состоянии поколебать смысловую пару „снег — зима“.

Однако в упомянутых сопоставлениях фигурирует, по-видимому, не весь имеющийся сюда отношение сравнительный материал. Дополни-

¹ F. Miklosich. *Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen*. Wien, 1886, S. 403; А. Г. Преображенский. *Этимологический словарь русского языка*, т. 1, М., 1910—1914, стр. 251; А. Brückner. *Słownik etymologiczny języka polskiego*. Kraków, 1927, str. 654; С. Младенов. *Этимологически и правописен речник на българския книжовен език*. София, 1941, стр. 192; J. Holub, — F. Kopečný. *Etymologický slovník jazyka českého*. Praha, 1952, str. 436; M. Vasmer. *Russisches etymologisches Wörterbuch*, 6. Lief. Heidelberg, 1952, S. 455—456, там же перечень основной литературы.

² A. Walde, J. Pokorný. *Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen*, I Bd., Berlin—Leipzig, 1930, S. 546—548; J. Pokorný. *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*, 5. Lief. Bern, 1951, S. 425—426.

³ O. Schrader. *Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde*, 2. Aufl., hrsg. von A. Nehring, II. Bd., Berlin—Leipzig, 1929, S. 661.

⁴ E. Boisacq. *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, 2 éd. Heidelberg—Paris, p. 1053.

⁵ A. Walde, J. Pokorný. *Указ. соч.*, там же; J. Pokorný. *Указ. соч.*, там же; A. Ernout, A. Meillet. *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, troisième éd., t. I. Paris, 1951, pp. 523—524.

⁶ Ср. J. Pokorný. *Указ. соч.*, S. 425—426.

тельный материал дает хеттский язык. Помимо индоевропейского названия зимы в хеттском *gimmanza*¹, хеттскому языку известно также и другое слово, которое, как нам кажется, поможет несколько продолжить историю индоевропейского названия зимы. Это хет. *he(i)u-* „дождь“: им. п. ед. ч. *heuš*, род. п. *heuāš*, *heiaūš*; глагол *heūi*, *heiaūai* „идти (о дожде)“². Это хет. *he(i)u-* не лишено индоевропейских соответствий: греч. $\chi\acute{\epsilon}\omega$ „лить, сыпать“, лат. *fundo* < **ǵheu-n-d-* то же, санскр. *juhōti*, латыш. *žaut*. Значение этих слов, в пределах известных колебаний, всюду примерно одно: „лить“. В этом контексте среди большинства обобщенных значений — „лить (сыпать)“ — особенно интересно конкретное значение хет. *he(i)u-* „дождь“. Его конкретность (литься не вообще, а именно о дожде) представляется весьма древней особенностью, позволяющей, очевидно, трактовать это значение как исходное для всех развившихся позднее. В данном случае, как и в некоторых других, сказалась замечательная архаическая особенность хеттского словаря: наряду с соответствиями известным производным общиндоевропейским именам хеттский подчас обнаруживает и неприводную древнюю основу (глагольную), так, при и.-е. **nok^{nt}-* „ночь“ имеем уникальное хет. *neku-* „смеркаться“. В нашем случае при и.-е. **ǵheim-*: **ǵhim-* „зима“ имеем хет. *he(i)u-* „дождь“, которое помогает нам понять развитие значения индоевропейского названия зимы.

Трудность представляют, во-первых, отношения хет. *gimmanza*: *heju-*, но надо думать, что это трудность преодолимая, поскольку каждое из этих слов в отдельности соответствует формам с *ǵh* палатальным. Так, ср. хет. *gimmanza*: греч. $\chi\acute{\epsilon}\iota\mu\alpha$, $\chi\acute{\epsilon}\iota\mu\acute{\omega}\nu$, санскр. *hémant-*, лит. *žiemà*, слав. *zima*; хет. *heju-*: греч. $\chi\acute{\epsilon}\omega$, $\chi\acute{\epsilon}\iota\upsilon\mu\alpha$, фригийск. $\zeta\acute{\epsilon}\upsilon\mu\alpha$ ³, латыш. *žaut*. Во-вторых, известную трудность представляет различие конца сравниваемых основ. Их отношения хорошо видны в греческом, где достаточно представлены обе основы:

$$\chi\acute{\epsilon}\iota\mu\alpha, \chi\acute{\epsilon}\iota\mu\acute{\omega}\nu, \chi\acute{\iota}\omega\nu < \hat{g}hei-: \hat{g}hi- \\ \chi\acute{\epsilon}\omega, \chi\acute{\epsilon}\upsilon\mu\alpha, \chi\acute{\upsilon}\tau\tau\alpha \text{ „горшок“} < \hat{g}heu-: \hat{g}hu-$$

т. е., в конечном счете, *i:u*, что является возможным чередованием в конце основы. Э. Бенвенист⁴ говорит, кстати, о возможности расширения корня, в том числе глагольного, звуками *-y-* и *-w-* (*-i-*, *-u-* — *O.T.*). О том, что эти звуки могут находиться в отношении чередования, говорит соотношение в слав. *ni-tь* (**snei-*): *snou-ati* (**sneū-*).

Помимо этого довольно убедительного соответствия, массу примеров чередования *i:u* собрал в свое время Я. Отрембский, специально занимавшийся вопросом⁵. Говоря о следах чередования *i:u* в хеттском, Отрембский сопоставляет, между прочим, хет. *aiš* „рот“: др.-прусск. *austo*, ст.-слав. *обста*, т. е. *ai:au*, что совершенно аналогично *ǵhei-: ǵheu-*.

¹ J. Pokorny. Там же. (Словарь Вальде—Покорного еще не отражает соответствующего хеттского материала, см. стр. 546—548).

² J. Friedrich. Hethitisches Wörterbuch, 1. Lief. Heidelberg, 1952, S. 68.

³ Фригийск. $\zeta\acute{\epsilon}\upsilon\mu\alpha$ (см. F. Solmsen. Zum Phrygischen. „Kuhn's Zeitschrift“, 34. Bd., 1895, S. 62) еще раз указывает на наличие *ǵh* в **ǵheu-* „дождь, литься“ (фригийский — язык *satəm*). Значение дает глосса Гесихия $\zeta\acute{\epsilon}\upsilon\mu\alpha\upsilon\tau\eta\nu\ \pi\eta\gamma\eta\nu$, т. е. „источник“ \simeq „вода“, греч. $\zeta\acute{\epsilon}\upsilon\mu\alpha$ (см. F. Solmsen. Указ. соч.).

⁴ E. Benveniste. Origines de la formation des noms en indo-européen. Paris, 1935, p. 86, 153.

⁵ Ср. его статью „Les traces de l'alternance indo-européenne *i:u* en hittite“ в журнале „Archiv Orientalni“, t. XVIII, 1950, p. 366 и след., со ссылкой на его прежнее исследование („Studia Indoeuropeistica“, Wilno, 1939, str. 1 и след.), а также на исследование Ф. Шнехта „Der Ursprung der indogermanischen Deklination“ (Göttingen, 1944).

Наше толкование индоевропейского названия зимы от древнего глагола **ghei-* „лить (о дожде)“ находит себе подтверждение и в отглагольном характере образования с суффиксом *-men-*, *-m̃n-*, которым было это название: греч. $\chi\epsilon\tilde{\iota}\text{-}\mu\alpha$ < **ghei-m̃n*¹, ср. аналогичное $\zeta\epsilon\tilde{\iota}\text{-}\mu\alpha$ „поток“ < $\acute{\epsilon}\omega$ „течь, струиться“.

Таким образом, индоевропейское **ghei-m-*, давшее слав. *zima*, получает вполне определенное значение „пора дождей“, что интересно во многих отношениях².

2. ЖЕЛЕЗО

Название железа — общее у всех славянских языков³. Отличия названий в восточнославянских языках, ср. русск. диалектн. *зелéзо*, *зялéзо*⁴, укр. *залізо*, можно, по-видимому, объяснить как поздние местные фонетические явления (ассимиляция согласных)⁵. В остальном все названия правильно соответствуют общеславянскому *želězo*.

Для существа дела важно прежде всего отметить, что названия металлов, в том числе одного из древнейших металлов — железа, в отличие от названий ряда других природных реалий (рельефа земной поверхности, водоемов и рек, растительности, некоторых животных), не могут считаться исконными уже потому, что сами металлы стали известны человеку сравнительно недавно. Казалось бы, что это общеизвестный факт, но тем не менее многие исследователи надлежащим образом с ним не считаются. Это сказалося на характере этимологических исследований нашего названия.

Круг ближайших соответствий славянского *želězo* за пределами славянских языков установлен давно. Из балтийских это лит. *geležis*, *gelžis*, латыш. *dzēlzs*, др.-прус. *gelso* „железо“, далее греч. $\chi\alpha\lambda\kappa\acute{\iota}\varsigma$ „медь, бронза“⁶. Вопрос о дальнейших соответствиях этого небольшого круга близких названий металла („медь, бронза“; „железо“), напротив, остается до сих пор спорным. В частности, некоторые авторы отрицают какие-либо соответствия в индоевропейских языках. А. Мейе⁷, например, считает эти названия, как и вообще названия всех металлов, заимствованными у доиндоевропейского населения Европы. Против подобных попыток справедливо восставал еще А. Брюкнер: „Сейчас оперируют заимствованиями арийских (индоевропейских. — О. Т.) языков из языков каких-то древних народов. Приводимые при этом примеры вряд ли можно было бы подобрать менее удачно; так, заимствованным

¹ W. Porzig. Bedeutungsgeschichtliche Studien. „Indogermanische Forschungen“, 42. Bd., 1924, S. 236.

² Греч. $\chi\iota\omega\nu$, арм. *jiun* „снег“ могут быть объяснены как результат вторичного развития значения „дождь“ > „снег“. Остаток древнего значения и.е. **ghei-m̃n* очевиден в лит. *Žeimėna* — название реки в Восточной Литве, поскольку известно, что названия рек в большом числе случаев произведены от слов со значением „вода, течь“ (ср. А. Мейер. „Glotta“, 24. Bd., 1936, S. 181, — об илирийск. *Zēta*, река в Черногории, из **gheu-* „лить“).

³ M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch, S. 416, там же указывается литература.

⁴ Там же.

⁵ Об изменении гласных — укр. *залізо*, рус. диалектн. *жалізо* — ср. в статье: А. А. Шахматов. РФВ, т. XXIХ, 1893, стр. 5 и след.; ср. диалектн. *жаніх*.

⁶ Ср. из более новой литературы: O. Schrader. Realexikon der indogermanischen Altertumskunde, I. Bd. 1917—1923, S. 236; V. Georgiev. Lat. *ferrum*, griech. $\chi\alpha\lambda\kappa\acute{\iota}\varsigma$, abg. *želězo* und Verwandtes. „Kuhn's Zeitschrift“, 63. Bd., 1936, S. 250 и след.; J. Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, S. 435; M. Vasmer. Указ. соч., S. 416.

⁷ Ср. его рецензии на работы: R. Trautmann. Baltisch-slavisches Wörterbuch. „Bull. de la Soc. de linguistique de Paris“, t. 24, 1923, p. 138; K. Oštir. Vorindogermanische Metallnamen in Alteuropa. „Bull. de la Soc. de linguistique de Paris“, t. 28, 1927, pp. 64—65.

из доиндоевропейского языка является, как полагают, *želēzo-geležis* „железо“, как будто доиндоевропейским народам известно железо...“¹ Ясно, что догадки о доиндоевропейском источнике нашего названия (о котором не сохранилось никаких данных) недостаточны для решения вопроса в пользу заимствования. Признать вероятность заимствования можно было бы, лишь придя к окончательному выводу об отсутствии каких-либо близких форм в самих индоевропейских языках. Есть основания думать, однако, что такие формы имеются. То, что эти формы не принимались в расчет, является очень показательным и в связи со сказанным выше очень важным с точки зрения значения. Надо отметить, что разбираемые нами слова всегда фигурировали в исследованиях только как названия металлов. Вопрос о возможном развитии их значений обычно даже не ставился. Ошибочность этого вытекает не из общих суждений о развитии значений в словах, а из специфики истории знакомства индоевропейцев с металлами. Ведь возможность заимствования названия металла — это лишь частный случай, мало реальный для ранней ступени культуры железа, когда не у кого было заимствовать, поскольку знакомство с железом не восходит к эпохе, по-видимому, ранее вероятного появления индоевропейцев в Европе². Мысль о самостоятельном образовании из собственной лексики названий древних металлов³ с естественным при этом переносе значений как-то игнорируется, хотя, по-видимому, именно она ближе других точек зрения к исторической истине.

Прежде чем попытаться выявить упомянутые выше формы, родственные нашему названию, остановимся коротко на самих названиях железа.

Слав. **želēzo*, непосредственно предшествующее всем рефлексам названия по отдельным славянским языкам, является, по-видимому, славянским новообразованием, вызванным акцентологическими преобразованиями в слове. Ударение **želēzo*, насколько о нем свидетельствует рус. *желе́зо*, неоспорно. Напротив, все родственные формы согласно говорят о другом, ср. лит. *geležis, gelžis* (род. п. ед. ч. *-iės*), греч. *χαλκός*, т. е. о славянской форме и ударении **želzó* (рус. **железó*). О таком ударении говорит и родственное сущ. ж. р. *железá* (о котором также — ниже), возможно, также и ударение *Железнов, -оба* (не *Желе́знов*). К последствиям славянского переноса ударения относится, вероятно, и образование *ě(ē)* в *želēzo*. О возможности такого переноса свидетельствует отмеченная К. Бугой балтийская метатония (образование двойственной интонации в одном слове) для лит. *geležis, gelžis*⁴. Кстати, именно лит. (диалектн. жемайтское) *gelžis* наиболее точно (сравнительно с более поздним *geležis*) соответствует общеслав. **želzo* (ср. и вокализм др.-прус. *gelso*, греч. *χαλκός*).

Перейдем к рассмотрению вероятных близких форм. Родственным нашему слову представляется ст.-слав. *жемы (жды)*, греч. *χέλῦς* „черепаха“⁵. В формальном отношении они оба полностью покрывают друг

¹ A. Brückner. Ueber Etymologien und Etymologisieren. „Kuhn's Zeitschrift“, 45. Bd., 1912, S. 30, в ответ на мнение А. Мейе („Rocznik slawistyczny“, II) о заимствовании слав. *žel zo*.

² Ср. БСЭ, 2 изд., т. 15, стр. 647 (железный век): „Культурой железного века называется обычно культура первобытных племен Европы и Азии, обитавших к северу от области древних рабовладельческих цивилизаций. В среде этих племен металлургия железа распространилась в 8—7 вв. до н. э.“; стр. 650 (там же): „В Средней Европе к раннему периоду железного века относится культура лужицких племен...; в 7—6 вв. до н. э. у них распространилась железная металлургия“.

³ Ср. наличие у балто-славян, германцев и кельтов, италиков и греков своих особых названий железа.

⁴ K. Būga. Die Metatonie im Litauischen und Lettischen. „Kuhn's Zeitschrift“, 51. Bd., 1923, S. 140, 142.

⁵ J. Pokorný. Указ. соч. стр. 435.

друга, оба являются древними \bar{u} -основами, полностью тождественно их значение. Далее, сюда же рус. *желвак*¹, развитие той же \bar{u} -основы, а также и более далекие семантически лит. *galvā* — слав. **golvā*². Несмотря на значительные расхождения, значения этих слов могут восходить к некоему общему („шишка“, „голова“, „черепаша“ < * „костяное, костеобразное“). Эти слова представляются нам родственными названиями железа, предполагающим древнюю форму **ghelġhos*³ < **ghel-ġho-s*, где *-ġho-* древний формант⁴. О несомненности такого членения слова — с корнем *ghel-* — говорит, помимо приводившихся выше фактов, также структура польск. *żel-żwo* „чугун“.

Сюда же, вероятно, следует отнести польск. *glaz* (**ghlā-ġho-s*) „камень“; рус. *глаз*⁵ „камешек“ > „глаз“, как известно, — метафорически. Таким образом, приходим к разновидности корня **ghel-* — **ghlā-* — со значением „камень“⁶.

Сопоставим наиболее общие значения, содержащиеся в разобранных выше словах⁷: „костяное, костеобразное“ и „камень“. Вопрос о последовательности решить трудно, но поскольку индоевропейское название кости известно — **ost-* (греч. *ὀστέον*, лат. *os, ossis* и родств.), а **ghel-* „костяное, костеобразное“ (*желвак* и проч.) встречается лишь в частных значениях, вполне законным будет предположение о первичности значения „камень“ для этого корня, а значения слав. *žely*, греч. *χέλυς*, рус. *желвак* объясняются как метафорические по природе, ср. рус. *глаз*⁸ „глаз“ < „камешек“. Итак, в общих чертах развитие значения было таково: „железо“ < ... „камень“. Кроме соображений родства форм, за такое семантическое развитие говорят и некоторые аналогии из других языков, ср. тохарск. *Вейсиwo, А айсиw-* „железо“, сопоставляемое с санскр. *adri* „камень, скала, гора“, среднеирл. *ond, onn* — то же⁹. Столь же показательна аналогия развития известных значений и.-е. **nōgh-* „камень (особый)“, ср. др.-прусс. *nagis* „кремень“, лит. *tit-nagas* „кремень“, ср. слав. *погыть*, рус. *ноготь*, лит. *pagà* „копыто“. Дальнейшее развитие представляет в данном случае наибольший интерес: „камнеобразный, костный“ > „металлический предмет“, ср. нем. *Nagel* I „ноготь“, II „гвоздь“ и слав. *пожь*, рус. *нож*, входящие, в конечном счете, к древнему названию разновидности камня.

Сюда же, очевидно, следует отнести название цвета лит. *žalias, želvas, žalvas* „зеленый“, которое сравнивали, например, со ст.-слав.

¹ M. Vasmer. Указ. соч., стр. 414—415.

² H. Pedersen. Zur Akzentlehre. „Kuhn's Zeitschrift“, 39. Bd., 1904, S. 252.

³ Ср. J. Pokorny. Указ. соч., стр. 435: греческие диалектные разновидности (например, критск. *χαυχός*) указывают на **χαυχός* (< **ghelġhos*), подвергнувшееся диссимилляции.

⁴ V. Georgiev. Указ. соч., стр. 251 (подробно об этом суффиксе).

⁵ Попытки Норберта Йокля объяснить *glaz* < *glēdēti* „потерей назализации“ вряд ли убедительны: ср. A. Brückner. „Indogermanische Forschungen“, 23. Bd., 1903—1909, S. 206 и след.; ср. далее H. Pedersen. „Indogermanische Forschungen“, 26. Bd., 1909, S. 293. N. Jokl. „Indogermanische Forschungen“, 27. Bd., 1910, S. 297—324.

⁶ Ср. еще греч. *χάλις* „булыжник, щебень, известковый камень“, лат. *calx* — то же. Здесь нет возможности подробнее осветить все разновидности этого корня, ср. лит. *gālas* „конец“, *igēlti* „ужалить“, *galāsti, galāndu* „точить, острить“, с аналогичным развитием значения ср. и.-е. **okr-* (лит. *aštrūs*, слав. *ostrъ*) от и.-е. *(a) *kamōn* „камень“.

⁷ О неисконности значения „металл, железо“ говорилось выше, поэтому оно не рассматривается здесь.

⁸ E. Berneker (Slavisches etymologisches Wörterbuch, 1. Bd., S. 302) относит к др.-верхненем. *glas* „янтарь, стекло“ и т. д., не объясняет конца слова (слав. *з*).

⁹ A. J. van Windekens. Nouvelles recherches sur l'étymologie du tocharien. „Bull. de la Soc. de linguistique de Paris“, t. 41, 1941, p. 185.

жемы, греч. χήλως, лит. žaliūkė „grüner Frosch“¹. Это интересное сопоставление напоминает мысль П. Кречмера² о более вероятном (чем χαλκός — želėzo) сближении χαλκός с χάλκη, χάλχη „пурпурная раковина“, из которой добывали краску — пурпур, т. е. по цвету. Этимология Кречмера отнюдь не теряет силы, но предстает в новом свете. Название металла, очевидно, действительно близко к названиям черепахи, раковины (греческий, славянский), с которыми его объединяет общее происхождение от названия камня. Связанные с ними названия цветов несомненно вторичны, ср. и колебания их значений: „пурпурный“ (греч.) — „зеленый“, „желтый“ (слав., балтийск., германск.).

Выделение особого корня *ghel- „камень“ при известном и.-е. *(a)katōn „камень“ не должно нас смущать. Это были, вероятно, названия различных видов камня (ср. выше о *nōgh-), которые в древнем языке могли четко разграничиваться³. Недостаток реконструкции в том, что от нас ускользают точные характеристики подобных разновидностей, причем естественно также предположить различное использование одного корня в разных индоевропейских диалектах. Предположение о множестве названий разновидностей вещества (а также и разновидностей действия) при возможном отсутствии общего названия вполне оправдано для древнейшей эпохи. Ср. наличие и.-е. *streu- „течь, струиться“ (например, о речной воде) и *ghei- „литься“ (первоначально — о дождевой воде, см. выше), в то время как и.-е. глагол с общим значением „лить, литься“ было бы трудно указать.

Следует заметить, что рус. *железá* и родственные, привлекавшиеся выше для сравнения с *желéзо*, обычно не считаются родственной формой, а рассматриваются как совершенно особое образование⁴. Однако, несомненно, что отношения между *желéзо* и *железá* — нечто большее, чем созвучие, ср. тождественное восточнолит. *gēležuonis, gēležuones* „железа у лошади“⁵.

3. ГВОЗДЬ

Не меньший интерес представляет слово *гвоздь* (также общеславянское), очень близкое по семантическому развитию к рассмотренному выше названию железа. Правда, в отличие от последнего, исконно славянский характер слова *гвоздь* обычно признается большинством авторов⁶. Общеслав. *gvozdь, gvozdьbь* представляет собой образование

¹ F. Sprech t. „Kuhn's Zeitschrift“, 59. Bd., 1932, S. 255; ср. также V. Geor giev. Указ. соч., стр. 250 и след., который считает исходной формой и.-е. *gh^wel- „желтый, зеленый, блестящий“. Это, однако, уводит в сторону от возможного развития значений: из первичного „блеск“ нельзя объяснить такие значения, как „шишка, костный нарост“, „черепаха“, которые вернее объясняются путем, изложенным выше.

² P. Kretschmer. Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache. Göttingen, 1896, S. 167—168, примеч. 3.

³ В этой связи не совсем верно для древнейшего периода языка (с его обилием конкретных терминов) утверждение P. Мерингера (R. Meringer. Wörter und Sachen. „Indogermanische Forschungen“, 16. Bd., 1904, S. 101), что „... небо, земля, камень (разрядка моя. — O. T.)... означают везде одно и то же“.

⁴ Ср. H. Pedersen. „Kuhn's Zeitschrift“, 39. Bd., 1904, S. 361; M. Vasmer. Указ. соч., стр. 414—415, с указанием литературы; J. Pokorny. Указ. соч., стр. 435, где раздельно рассматриваются *ghel(ē)gh-* „металл“, *ghelgh-* „железá“ и *ghel-ou-ghel-u-* „черепаха“.

⁵ Ср. К. Буга. РФВ, т. LXVII, стр. 249.

⁶ F. Miklosich. Указ. соч., стр. 81—82: *gvozdij* Nagel, eig. Keil; *gvozdī*... Wald; E. Berneker. Указ соч., стр. 365—366: *gvozdь*... Wald, Forst; *gvozdь*... Nagel...; A. Brückner. Słownik etymologiczny języka polskiego, str. 166: *gwozd, gozd* „las“, w. 15. wieku jeszcze znane...; *gwóźdz*... dziś żelazny... był niegdyś drewnianą zatyczką. С. Младенов. Указ. соч., стр. 98: *гвозд, гвоздей*; J. Holub — F. Kopečný. Указ. соч., стр. 137: *hvozd* 1. les, lesní pustina... Je-li pův. v. 'dievo', pak souvisí s psl. *gvozdī...; A. Г. Преображенский. Указ. соч., вып. 1, стр. 121: *гвоздь*; M. Vasmer. Указ. соч., 4. Lief., 1951, S. 263; F. Sławski. Słownik etymologiczny języka polskiego, zes. 3. Kraków, 1954, str. 329.

с суффиксом *-io-*, *-ijo-* от основы *gvozd-* (**gvozd-io-*), которую имеем в слав. *gvozdъ*, сохранившемся в чеш. *hvozd* „лес“¹. Поэтому неправ Э. Бернекер², рекомендуя отделять *gvozdъ* от *gvozdъjъ*. Большинство этимологов (в частности, А. Брюкнер, И. Голуб и Ф. Копечный, М. Фасмер, Ф. Славский в цитируемых трудах) правильно указывают на исконное родство этих форм. Тем более странной выглядит в последнее время попытка Ю. Покорного³ разделить слав. *gvozdъ* „лес“ и *gvozdъ* „гвоздь“ и возвести их к особым индоевропейским формам. Это недопустимо ни с формальной, ни со смысловой точек зрения. В смысловом отношении произведение *gvozdъ* от *gvozdъ* дает прекрасную возможность довольно точно наблюдать развитие значения в нашем слове. И, как правильно отмечали исследователи (ср. хотя бы Ф. Славский), слав. *gvozdъ* должно было обозначать „кусочек дерева, клин“.

Таким образом, слово *gvozdъ* оформилось еще до знакомства с железом и вообще металлами в условиях широкого применения местного древесного материала. На железное изделие это название было перенесено позднее.

Общеслав. *gvozdъ*, *gvozdъ* пытались объяснить на индоевропейском этимологическом материале⁴. Э. Бернекер, стремясь объяснить наличие наряду с *gvozdъ* форм **gozdъ* (польск. *gózdź*, верхнелужицк. *hózdź* „гвоздь“) и оправдать сближение с некоторыми неславянскими (ср. лат. *hasta* „копье“, готск. *gazds* „колючка“), принимал *gh-* и *ghu-* как варианты начала славянского *gozdъ*, *gvozdъ*⁵. В духе предшествующих исследований говорит о словах *gvozdъ* и *gvozdъ* и Ю. Покорный⁶, сравнивающий слав. *gvozdъ* „лес“ с др.-верхненем. *questa*, новонем. *Quaste* „кисть, пучок веток, веник“.

Однако упомянутые индоевропейские этимологии наших слов не учитывают всего славянского материала. Это было бы не так важно, если бы новый материал не противоречил существованию этимологий, но, как увидим ниже, такое противоречие налицо.

В перечисленных работах не отражено чеш. диалектн. *závozda* „klín do sekery, kosy a p.“⁷. И тем не менее, близость этого приставочного образования *zá-vozda* „клин“ к слав. *gvozdъ* очевидна и в фонетическом, и в смысловом отношении. Известным препятствием здесь является отсутствие *g-*: *závozda*. Этой-то особенностью и не могут объяснить индоевропейские этимологии, постулирующие исконное *g(u)-*. Если славянский знает потерю лабиализации задненебного, ср. у.-е. **g^uou-* > слав. *goveđo* и отдельные поздние примеры вроде польск. *gwózdź* > *gózdź*, то ему неизвестна потеря задненебного перед губным: у.-е. *g^u, ku* всегда > слав. *gv, kv* (с последующей палатализацией или без нее). Таким образом, упомянутые этимологии не объясняют существования **vozd-*, и их придется оставить.

Нам представляется возможным развитие *gvozd-* < **vozd-* уже на славянской почве. Явление такой протезы *g* распространено очень незначительно в славянских языках, представлено небольшим числом примеров, каждый из которых в известном смысле индивидуален, и тем не менее, развитие *g-* во всех этих случаях в основном хорошо доказы-

¹ J. Holub—F. Korečny. Указ. соч., str. 137.

² E. Berneker. Указ. соч., S. 365—366.

³ J. Pokorný. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, S. 480, 485.

⁴ Ср. H. S. Falk u. A. Torp. Norwegisch-dänisches etymologisches Wörterbuch, erster Teil. Heidelberg, 1910, S. 568—569: *Kost* 1—... aslav. *gvozdī* „Wald“...

⁵ E. Berneker. Указ. соч., S. 365, 366.

⁶ J. Pokorný. Указ. соч., S. 480, 485.

⁷ V. Machek. Česká a slovenská jména rostlin. Praha, 1954, str. 80.

вается. Таково развитие *g-* в словенск. *gožvica*, в *gušter* (наряду с *jašter-*, ср. болгарское *ящер* „ящерица“), что отмечал, например, А. Брюкнер в специальной статье, которую он так и назвал „Игнорируемые фонетические явления“¹. А. Вайан аналогично объясняет *g-* перед *-ц-* в слав. *možь* < **mongju-*, ср. санскр. *mānu-ḥ*². Таким образом, исконность формы **vozd-* наиболее вероятна. Об этом (а также о чисто славянском происхождении *g-* в *gvozd-*) говорит балтийский материал кажется, еще не привлекавшийся для сравнения с нашими словами: лит. *vėzdas*, мн. ч. *vėzdai* „дубина“, латыш. *vēzda, vēza* „Ein Stock, Prügel“, которые К. Буга³, вслед за Эндзелином, объясняет из **vež-das* с суф. *-do-*. Фонетическая и семантическая близость, например, лит. *vėzdas* „дубина“ — слав. **vozdь* (ср. значение чеш. *závozda*) сомнению не подлежит. В дополнение к объяснению фонетической формы напомним, что лит. *-zd-* = слав. *-zd-*⁴.

Судя по балтийским соответствиям, слав. **gvozd-ijo-* будет уже вторичным производным для усиления его сингулятивного значения („дерево, кусок дерева, дубина“), ввиду того что древняя *o-*основа **gvozd-o-* приняла в славянском собирательное значение. В то же время о древности именно сингулятивного значения свидетельствуют как лит. *vėzdas* „дубина“, так и славянские реликты вроде чеш. *závozda* „клин“.

4. ШЛЯТЬСЯ

Это слово, насколько известно, еще не было объектом этимологического исследования, если не считать упоминания А. Г. Преображенского: *шляться...* — „Неясно, м. б., новообразование от *шлендять, шлепать...*“⁵. Из других славянских близкую форму можно указать в болг. *шляя се (шлѣя се)*: ...русск. *шляться...* срод. с *шлякам...*⁶.

Очевидно, в заблуждение вводила просторечность слова *шляться*, откуда и попытка произвести его от заимствованного *шлендять*⁷ или звукоподражательного *шлепать*, т. е. рассматривать его как сравнительно новое слово.

В неверности этого убеждают различные факты. Исходной славянской формой рус. *шляться* можно с полным основанием предположить **slěti(se)*, которая (если отрешиться от просторечного оттенка значения, вероятно, позднего) могла значить „двигаться (определенным образом)“ и находилась в прямом отношении к общеслав. **sъlati*, рус. *слать* как глагол движения — к каузативному глаголу (слать, собственно „заставлять идти“). Больше того, значение „двигаться“ в этом корне должно быть первичным, потому что наличие славянского глагола **sъlati*, несомненно каузативного, обязательно предполагает исходный

¹ А. Brückner. Verkannte Lauterscheinungen. „Kuhn's Zeitschrift“, 45. Bd., 1913, S. 289. Ср. еще рус. *уж, усеница* и родственные слова.

² A. Vaillant. Grammaire comparée des langues slaves, t. 1. Paris, 1950, pp. 96, 185—186. Вайан приводит сходный пример романск. *guerra* < герм. *werra* (англ. *war*) „война“. Из неславянских ср. далее франц. *sergent* < лат. *servientem*, особенно в кельтских — среднелатинск. *gwyn* < франц. *vin, guyc* < лат. *vicus*. Хороший пример наращенного такого протетического *g-* перед губным согласным видим в чеш. *hbratr* < *bratr* (см. J. Gebauer. „Historická mluvnice“, t. 1, str. 464).

³ См. РФВ, т. LXV, стр. 324; ср. также К. Mülenbach, J. Endzelin. *Latviešu valodas vārdnīca, IV sējums, 1929—1932*, стр. 573, где и дальнейшие сопоставления.

⁴ Ср. еще лит. *žvaizdė|žvaigždė*: слав. *gvězda* (См. Эндзелин. Славяно-балтийские этюды. Харьков, 1911, стр. 114).

⁵ А. Г. Преображенский. Этимологический словарь русского языка, вып. последн. (*тело—ящур*). „Труды Института русского языка“, т. 1, 1949, стр. 100.

⁶ С. Младенов. Этимологически и правописно речник на българския книжовен език, стр. 695.

⁷ Ср. нем. *schlendern* „бродить, шататься“.

глагол движения, из которого он единственно мог образоваться, т. е. отношение **sblēti*(se) — **słati* равносильно *būdēti* — *buditi*.

Для решения вопроса о вторичности значения „слать“ в этом корне очень показательны то, что, например, литовский знает для этих корней только значение „двигаться“, ср. лит. *selēti* „красться, идти крадучись“, кстати, и по форме и по значению близкое рус. *шля́ться* < **sblēti*(se), ср. далее в фразе: *vanduō lig var̃ty atsālo* „вода дошла до ворот“¹. Об этом же свидетельствует и.-е. глагол **sel-* „двигаться“², который Вальде и Покорный делают без видимой необходимости, по причине якобы различного значения, на *sel-* „прыгать“ и *sel-* „ползти“. История слов знает и более резкие расхождения первоначально единого значения. Возражение скорее вызывает помещение лит *sālti* „течь“ (ср. *atsālo* у К. Буги) в словарную статью *sel-* „прыгать“, а лит. *selū, selēti* „красться“ — в статью *sel-* „ползти“, причем отрываются друг от друга близкие формы. Сам материал указывает, что это один индоевропейский корень **sel-* „двигаться“. Значения каузативности получили выражения в слав. *słati* и из германских — в гот. *saljan* „приносить, жертвовать“, англ. *sell* „продавать“³. Нем. *Ge-selle* „товарищ“, собственно, „совместно идущий“, помогает выявить первичное значение глагольной основы.

Редуцированный характер корневого гласного в слав. **sbl-*: **sbl-* соответствует вокализму родственных лат. *salio*, греч. ἀλλομαι < **s,lijō*⁴ „прыгать“.

Таким образом, в слове *шля́ться* русский язык сохранил древний глагол движения (слав. **sblēti*)⁵.

5. КЛЕВЕТА

Это слово в русский язык пришло из старославянского⁶. Оно было неоднократно предметом этимологических исследований. Так, Миклошич⁷ связывает его с *клепать*. Р. Брандт⁸, а также Бернекер⁹ и Педерсен¹⁰ относят слово *клевета* к *klevati*, *клевать*. Уленбек¹¹ считает его неясным.

Предположение о связи этого слова с *клепать* (см. выше, Миклошич) надо с самого начала отвергнуть как необоснованное. Что касается сближения *клевета* и *клевать*, внешне гораздо более правдоподобного и принятого авторитетным словарем Бернекера, то оно нуждается в серьезной поправке¹².

¹ См. К. Буга. РФВ, т. LXVII, стр. 244; то же и в его рукописной картотеке к литовскому этимологическому словарю (хранится в Ин-те лит. яз. и лит-ры АН Лит. ССР, Вильнюс).

² Ср. Fick. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, 4. Aufl., 1. Bd. S. 140, 557; Th. Zachariae. Wurzel idg. *sel* im Sanskrit. „Kuhn's Zeitschrift“, 33. Bd., 1893, S. 444 и след.; A. Walde, J. Pokorny. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, II. Bd., S. 505—506. Новый словарь Ю. Покорного еще не доведен до *sel-*.

³ Ср. о последних: A. Walde, J. Pokorny. Указ. соч.

⁴ Там же.

⁵ От *шля́ться* — просторечн. *шлюха* (*шл'-уха*) с сохранением вокализма корня. К этой же основе, по-видимому, но с сильной ступенью корневого гласного *s'al-* < *-sāl-*: *шалить*, *шалый*, *шалёнй*, польск. *szal* „бешенство“, а также просторечн. *шалáва-шлюха*.

⁶ А. Преображенский. Указ. соч., т. 1, стр. 312.

⁷ F. Miklosich. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen, S. 118.

⁸ Дополнения и заметки к славянскому этимологическому словарю, стр. 82.

⁹ E. Berneker. Slavisches etymologisches Wörterbuch, S. 526.

¹⁰ „Kuhn's Zeitschrift“, 40. Bd., S. 175.

¹¹ „Indogermanische Forschungen“, 17. Bd., S. 95.

¹² Следует упомянуть, что Преображенский (там же) тоже возражает — правда, только по соображениям значения — против этимологии *клевета* < *клевать*.

Непосредственной словопроизводственной связи между *клевета* и *клевать* действительно нет. Помимо возражений, касающихся смысла, и даже более существенными представляются возражения фонетикоморфологического характера: *клевать* дало бы скорее **клево́та*, ср. *зевать* — *зевота*. Наличие в действительности формы *клевета*, производной от *клевать*, непонятно. В связи с этим, более вероятным нам представляется сближение слова *клевета* с чеш. диалектн. *kleviti(se)* „сплетничать“ и рус. диалектн. (архангельским) *кле́вить* „дразнить“ которое отмечено в „Словаре архангельского областного наречия“ Подвысоцкого, ср. и пример употребления: „Покинь, не клеви мало-то, ан и то завсе́ крятатся“. Именно с этим словом непосредственно и связано, как нам кажется (и морфологически и семантически), слово *клевета*.

6. СЛАВ. ХЪРТЪ — РУС. МУХО́РТЫЙ

Общеславянское *xъrtъ* хорошо сохранилось во всех славянских языках, причем везде оно имеет значение „борзая, охотничья собака“, не обнаруживая также отклонений от общеславянской фонетической формы: рус. *хорт*, укр. *хорт*, польск. *chart*, чеш. *chrt*, нижнелужицк. *chart*, верхнелужицк. *khort*, словенск. *hrt*, сербохорв. *xpm*, болг. *xpъm*, *xpътка*, ст.-сл. *χъртъ*¹.

Для русского словаря *хорт* обычно отмечается как областное, ср. свидетельство В. И. Даля². Некоторые вторичные его значения, ср. смоленск. *хорт* „борзый, худой, голодный“³, получены метафорически, через сравнение, ср. также чешские производные *vý-chrt-lý* „тощий“, *vý-chrt-nouti* „худеть“.

Ранние этимологии слова см. у А. Будиловича⁴, где приводятся сближения слав. *xъrtъ* с лит. *kuřtas*, нем. *Rüde*, санскр. *krtag'na* „chien“ (Pictet, „Les Origines Indoeuropéennes“, I, стр. 379), нем *hurtig*. Высказывавшееся некоторыми лингвистами мнение, что *xъrtъ* заимствовано из герм. **χrupĭan-* (Гирт, Пейскер, Клюге, Шрадер), вызывало серьезные возражения, ср. в последнее время В. Кипарский⁵, который указывает на сомнительность герм. **χrupĭan-* (скорее было бы **rupĭan-*) и на то, что **χrupĭan-* дало бы *xpътъ* — рус. **хром*. Одна из попыток этимологии этого слова принадлежит Г. А. Ильинскому⁶, который также считает **xъrtъ* исконнославянским. Помимо специально лингвистических соображений, Ильинский в своем дальнейшем анализе слова основывается на следующем указании В. И. Даля⁷: „...хортыми собаками вообще зовут борзых с низкою гладкою шерстью, для отличия от псовых и густопсовых, мохнатых...“

¹ См. соответственно В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, 4 изд., т. IV, стр. 1224; Опыт областного великорусского словаря, стр. 250; Дорновольский. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914, стр. 965; Б. Гринченко. Словарь украинского языка, т. IV, стр. 411; Ф. М. Пискунов. Малороссийско-чернонорусский словарь, стр. 277; S. B. Linde. Słownik języka polskiego, 1. Warszawa, 1807, str. 232; F. Trávníček. Slovník jazyka českého, 4 изд. Praha, 1952; J. Gebauer. Slovník staročeský, 1. Praha, 1903, str. 558. E. Muka. Słownik dołnoserbskeje rěcy, вып. 1, str. 483; Pfuhl. Łužiski serbski słownik, 1866, str. 317; M. Pleteršnik. Slovensko-nemški slovar, 1. Ljubljana, 1894, str. 283; С. Б. Бернштейн. Болгаро-русский словарь. М., 1953, стр. 811; F. Miklosich. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Wien, 1862—1865.

² В. И. Даль. Указ. соч., там же.

³ Дорновольский. Указ. соч., стр. 965.

⁴ „Изв. ист.-фил. ин-та кн. Безбородко“. Нежин, 1878, стр. 195.

⁵ V. Ľiparský. Die gemeinslavischen Lehnwörter aus dem Germanischen. „Annales Academiae Scientiarum Fennicae“, Bd. XXXII, в. 2. Хельсинки. 1934, S. 277—278.

⁶ РФВ, 1913, № 1, стр. 12—14.

⁷ В. И. Даль. Указ. соч., т. IV, стр. 1224.

Имея в виду именно это противопоставление, Ильинский считает значение *хѣртѣ* „охотничья собака“ неосновным и производит это слово от индоевропейского **kher-* „резать“, высшая ступень которого — рус. *короткий*, лат. *curtus*, нем. *kurz*, а низшая ступень — слав. *хѣртѣ* — „собака с короткой гладкой шерстью“. Таковы, вкратце, попытки толкования анализируемого слова, из которых, надо сказать, ни одна не получила достаточно широкого признания. В итоге весьма характерным представляется недавнее указание Ф. Славского¹ на невыясненность этимологии слав. **хѣртѣ*.

Соглашаясь с В. Кипарским (см. выше), следует, очевидно, отказаться от мысли о заимствовании слав. **хѣртѣ* из германского. Поскольку заимствование из других соседних языков менее вероятно², перед нами действительно исконнославянское слово. Необходимо удовлетворительно объяснить его славянское происхождение. Серьезной попыткой такого рода является изложенная этимология Ильинского. Однако Ильинский исходил из и.-е. формы **kher-*, которая нуждается в уточнении. Сейчас мы вправе говорить только об и.-е. **ker-* „резать“, поскольку лишь отдельные языки знали поздний переход *k > kh*, например санскрит³. Славянский не развил такого *kh*, унаследовать же упомянутый корень он мог только как **ker-*, **kor-*, *kyr-*, что действительно имело место для большой группы слов: рус. *короткий*, *кора*, *черта*. Ясно, что **хѣртѣ*, *хорт* не имеет сюда никакого отношения. Этимология Ильинского в своей фонетической части устарела и после необходимых уточнений сама собой отпадает. Одно современное понимание выражения *хортая собака* (= „низкошерстная“, сравнительно с „густопсовой“) не может ее спасти.

Нам представляется незаслуженно упущенным точное соответствие слав. *хѣртѣ* в литовском: *saĩtas* „светлогнедой (о лошади), желтоватый“, *saĩtis* „гнедая лошадь“, *sáirti* „загрязняться, рыжеть“⁴. Согласный *x*, как известно, является специфически славянским звуком вторичного происхождения. В определенных условиях (после *i*, *ũ*, *r*, *k*) он развился из и.-е. *s*. Это имело, по-видимому, место и в нашем случае, т. е. слав. *хѣртѣ* < **sѣртѣ*, которое уже точно соответствует лит. *saĩtas* с его архаическим консонантизмом. Что касается конкретных условий перехода *s > x*, здесь мы, очевидно, имеем полную аналогию известному слав. **xodъ*, рус. *ход* < *sodъ*, ср. греч. *ὁδός* (**sodos*) „путь, дорога“, которое развило *s > x*, вероятно, в сложениях типа *чу-ход-*. Таким образом, слав. *хѣртѣ* < *sѣртѣ*, возможно, в употребительных сложениях, ср. чеш. *чу-chrtlý*, *чу-chrtnouti*.

В акцентологическом отношении лит. *saĩtas* с циркумфлектированным ударением дифтонга в корне — из древнего окситонированного **sartá-s*. Об этом балтийско-славянском *sartá-s* говорит и подвижное ударение укр. *хорт*, род. п. ед. ч. *хортá*, им. п. мн. ч. *хортú*⁵.

¹ F. Sławski. Słownik etymologiczny języka polskiego, str. 60—61.

² Напротив, достоверным является славянское происхождение лит. *kuĩtas* (ср. К. Вүга. „Zeitschrift f. slavische Philologie“, Bd. 1, S. 41—44; В. Кипарский. „Révue des études slaves“, t. XXIV, p. 42 и финск. *hurta* (ср. Я. К. Грот. Филологические разыскания. СПб., 1899, стр. 447—448 со ссылкой на кн.: А. Ahlquist. Die Kulturwörter der westfinnischen Sprachen. Helsingfors, 1875, S. 2).

³ Ср. в последнее время в статье: J. M. Kořinek. Le développement du système consonantique du grec. „Recueil linguistique de Bratislava“, 1, 1948, p. 78 и след.; J. M. Kořinek. Od indoeurópského prajazyka k praslovánčine. Bratislava, 1948.

⁴ См. „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“, Вильнюс, 1954, стр. 698. Ср. также латыш. *sārts* „красноватый, розовый“, далее — латыш. *sarks*, *sa kans* „красный, красноватый“ (см. К. Mülenbach, J. Endzelīn. Latviešu valodas vārdnīca, XXXI burtnīca, 1928, p. 721, XXXII burtnīca, 1928, p. 807).

⁵ См. относительно этимологии самого лит. *saĩtas*: Н. Petersson. „Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur“, 40. Bd., S. 93; Н. Peters-

Что касается значения литовских слов, определяющих лошадиную масть, при другом значении слав. *xьrtъ* „борзая собака“, эти семантические различия, как увидим ниже, отнюдь не препятствуют сближению наших слов. Дело в том, что непосредственно связанным с *xьrtъ*, *хорт* является, по-видимому, такой сугубо коневодческий термин, как рус. *мухортый* — разновидность гнедой масти (ср. значение лит. *sařtas!*) — результат очевидной гаплогонии первоначального **мухо-хьрт*¹. Первая часть предполагаемого сложения *мухо-* обнаруживает сильную ступень корневого гласного (**u*), слабую ступень которого (**й*) видим в рус. *мха* < **мъха* „ржа на хлебе“, родственном лит. *mūsos* „плесень“². Мы приходим к значению „плесень“, ср. лит. *mūsos*; с ним, вероятно, первоначально было связано название особого, белесого сероватого цвета, ср. лит. *musóti*, далее — ср. наше *плесень* — с лит. *pal-šas, pil-kas* „серый“. О второй части сложения — *хорт* см. выше. Таким образом, **мухо-хьртъ* = „светлогнедой“. Это толкование находит подтверждение в современном значении названия *мухортый*, ср. В. И. Даль³: „мухортый, о лошади, гнедой, с желтоватыми подпалинами у морды, у ног и в пахах“. Что касается структуры сложения **мухо-хортый*, она находит массу соответствий именно в семантически близких детализирующих названиях цветов типа *светлозеленый*, где названию основного цвета (-*зеленый*) предшествует название дополнительного оттенка (*светло-*).

В пользу предложенной этимологии слав. *xьrtъ* — точность фонетических соответствий, а также вероятность семантического развития. Как следует из сопоставления с лит. *sařtas* и некоторыми ранее сюда не привлекавшимися словами (русск. *мухортый*), это семантическое развитие (название по окраске шерстного покрова) представляется весьма древним.

В заключение — о нескольких семантически близких словах.

Изложенная выше этимология слав. *xьrtъ* как названия собаки по масти дает повод пересмотреть и некоторые другие этимологии названий собаки. Здесь только укажем, что выявленное значение слав. *xьrtъ*, а также значения таких поздних, но распространенных названий, как рус. *мурый* — о собаке (по масти), укр. *Рябко* (распространенная собачья кличка, от *рябий* „рябой“) реабилитируют толкование слав. *рьсѣ*, рус. *пес* от и.-е. **rik-* „красить, писать“, ср. *пестрый*⁴. Иное, более популярное толкование — ср. Г. Остгоф⁵: к и.-е. **rekeu-* „скот“ (подробнее см. указ. соч.), близко к нему — Г. А. Ильинский⁶: **reku-* „скот, дающий шерсть“ > „собака с густой, мохнатой шерстью“⁷.

с о n. (Baltisches und Slavisches, S. 33: *sārtas* (sic!) „fuchsig (von Pferden)“) относит к лат. *sorbus* „Vogelbeere“, швед. *sarf* „Rotauge, Name eines rötlichen Fisches“, рус. *сороба* (см. J. oewenthal. „Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur“, 49. Bd., 1925, S. 77). (Таким образом, *sařtas* можно возвести к и.-е. **ser-* или **sar-*, название определенного цвета, с суффиксом *-to-*. — О. Т.).

¹ Во всяком случае, толкование Ф. Миклошича **мухо-рътъ*, мухортый, сомнительно („Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen“, S. 285; см. также Преображенский. Этимологический словарь русского языка, т. 1, стр. 573).

² К. Буга. Славяно-балтийские этимологии. РФВ, т. LXXII, 1914, стр. 153.

³ В. И. Даль. Указ. соч., т. II, стр. 948.

⁴ Ср. в последнее время в кн.: С. Младенов. Этимологически и правописен речник на българския книжовен език, стр. 419.

⁵ Н. Osthoff. Etymologische Parerga, 1. Leipzig, 1901, S. 266 и др.

⁶ Г. А. Ильинский. Славянские этимологии. LI—LX, РФВ, т. LXXIII, 1915.

⁷ Основное доказательство такого развития у Ильинского рус. *густопсовый*, т. е. „густошерстный“, говорит лишь о связи с поздним производным *псовина* „шерсть на ногах и на хвосту у собаки“ (см. Даль. Указ. соч., т. III, стр. 1401) и ни к каким выводам не обязывает.

И уже совсем сомнительной представляется этимология слав. *рѣсѣ*, принадлежащая И. М. Коржиньку¹ и имеющая хождение среди чехо- словацких лингвистов: к иррациональному междометному *ps/p's*, с которыми обращаются к собакам.

Таким образом (возвращаясь несколько назад), в слав. *рѣсѣ* можно видеть соответствие (с краткой ступенью корневого гласного) лит. *raišai* (мн. ч. „сажа“), *raišinas* „вымазанный сажей“, т. е. *рѣсѣ*, *пес* — также одно из древних названий собаки по масти.

7. РУС. ХРЫЧ — ДР.-РУС. ГРИЧЬ — ЧЕШ. ДИАЛЕКТН. GRYS

Рус. *хрыч*, насколько известно, еще не имеет этимологии.

Ниже излагается попытка объяснить этимологию слова, показать его значительную древность и связь с некоторыми славянскими и другими родственными словами.

В своем современном виде рус. *хрыч* с его характерной спецификой, действительно, загадочно. Вполне возможно, однако, что оно состоит в ближайшем родстве с др.-рус. *гричь* „пес“, ср в Хронике Георгия Амартола, 21: „Ераклии видѣ грича (χύνα) пастушного ядоуща глѣмую коньхилии и пастоухоу мянщю кровь текоущоу из грича (των χύνα) вземъ ѿ овчих волнъ роуно ѿ тре истекающее изъ оустъ гричь“². В фонетическом отношении сопоставление вполне оправдано. Соотношение *gr : xp* имеет полную аналогию в таком достоверном соответствии, как польск. *grzbiet* : рус. *хребет*³. Правда, трудно согласиться с Эндзелином, когда он видит здесь чередование *kh : gh*.

По-видимому, здесь нужно исходить из соседства с плавным (*r*), воздействию которого обязано изменение *g > x*, поэтому удобнее говорить об изменении *gr > xr*. Кроме упомянутого *grzbiet* : *хребет*, это изменение, вероятно, имело место и в случае с др.-рус. *гричь* : рус. *хрыч*. Редкость подобного изменения не может служить аргументом против него ввиду очевидности соответствий. Известно к тому же, что именно этимологии в первую очередь приходится иметь дело с периферийными изменениями звуков, которые обнаруживаются в значительной части „темных“ слов. О том, что характер данного изменения (*g > x*) именно таков, как указано выше, свидетельствует этимология в примере *grzbiet* : *хребет* — *grzbiet* < **grььbьtь* к **gьrьbь*, рус. *горб*, т. е. первично *g*, а *x* вторично и обусловлено положением. Таким же вторичным является *x* и в нашем *хрыч*, следовательно, этимологическим оно вполне может восходить к др.-рус. *гричь*⁴.

Что касается различия значений, то использование названия собаки для пополнения бранной лексики, которое мы, очевидно, имеем в данном случае, не представляет собой чего-либо исключительного в семантическом отношении, ср. словоупотребление типа *старый пес*, *старый кобель*, далее — отмеченное И. И. Носовичем⁵ белорус. *вѣпса* „хрыч, хрычевка“, производное от *пес*.

Наконец, сюда же, по-видимому, относится чеш. диалектн. (моравск.) *grys*, в фонетическом отношении точно соответствующее др.-рус. *гричь*, а по употреблению довольно близкое рус. *хрыч*, ср. указание

¹ Ср., например, J. M. Kořinek. Poznámky k metodice etymologisování. „Slovo a slovesnost“, г. II, 1936.

² И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка, т. I; там же ряд других примеров из этого и других памятников. М., 1898.

³ Ср. Эндзелин. Славяно-балтийские вѣтуды, стр. 127.

⁴ Примеры соотношения *ry : ru* в одних и тех же словах хорошо известны, ср. *крыло*, вм. этимологического *крыло*, обл. *грьб* при *грьб*.

⁵ И. И. Носович. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870, стр. 92.

Фр. Бартоша¹: g r y c. 1. gryci na Hané říkají chlarcům, kteří chodí „za tří krále“, 2. nadávka: „Ty staré grycu!“ Последнее выражение слово в слово соответствует рус. *старый хрыч* (презрительно о старике).

Сравнение позволяет предположить общеслав. **gritjb*, название разновидности собак. Возможно, сюда же исландск. *grey* „собака“, ср. его фонетическую и смысловую близость. Вид германского слова говорит об общей древней форме **ghrei-*. В славянском древняя основа распространена новым суффиксом: **grī-tjo-*. Из балтийской лексики родственно, очевидно, лит. *greītas* (**ghrei-to-s*) „быстрый“² — значение, которое могло быть исходным для названия определенной породы быстроногих, гончих собак³. Такое развитие значения весьма вероятно, ср. прекрасную аналогию рус. *борзая*, *борзой* (о собаке) — из общеслав **bъrзь* „быстрый“. В этом смысле важно, что литовский, не зная значения „собака“, сохранил древнее значение „быстрый“.

¹ F. Bartoš. Dialektický slovník moravský. Praha, 1906, str. 86.

² О неясности этимологии лит. *greītas* см. P. Skardžius. Lietuvių kalbos žodžių daryba. Вильнюс, 1943, стр. 320.

³ Не следует смешивать с корнем лит. *grietinė* „сметана“, *griėti* „снимать (сливки)“ и родств.

Н. И. ТОЛСТОЙ

ЗНАЧЕНИЕ КРАТКИХ И ПОЛНЫХ ФОРМ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

(на материале евангельских кодексов)

1. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

§ 1. Основной проблемой данной работы является не генезис, а значение кратких и полных форм прилагательных в старославянском, а в связи с ним, отчасти и в других славянских языках. Вопрос этот издавна привлекал лингвистов; ему постоянно отводилось место в отдельных курсах и очерках по грамматике старославянского языка, но специального исследования не было посвящено. Несколько раз выяснялись отношения кратких и полных форм в древнерусском языке, однако почти всегда без должного внимания к фактам старославянского и южнославянских языков, что и приводило обычно к значительным разногласиям и различному толкованию значения рассматриваемой категории.

В современной лингвистической науке господствует, в основном, два мнения: первое — полные и краткие формы прилагательных выражают отношения определенности и неопределенности (притом сама определенность и неопределенность толкуются различно) — и второе — полные и краткие формы прилагательных выражают отношения атрибутивности и предикативности (при этом понятие предикативности определяется очень расплывчато).

Впервые на различие в значении полных и кратких прилагательных обратил внимание хорватский филолог Ю. Крижанич, автор сербско-хорватско-русской, по его представлению общеславянской (т. е. общей для всех славян), грамматики. Он дал следующее объяснение: „Об придивних. Ј. Прѡста и Јзрѣдна Ј. Всако ѡб близу Придивно јме јмајет двоје обличије. Прѡста придивна знаменујут по просту, какво јест что: кт, Велик, велика, велико: Мала, мала, мало: Свѣт, свѣта, свѣто. А Јзрѣдна оказујут вѣщ на јзрѣд, и знаменито бѣт такоу: а творѣтсе от Прѡстих: прибавивши склади иѣ, аѣа, ѡѣ или ѡѣ...“¹. В этом первом известном нам определении рассматриваемой категории тонко схвачено основное значение кратких и полных форм. Краткие формы объяснены как простые, нейтральные, полные — как „из ряда вон выходящие“, выделяющиеся из ряда им подобных².

Такая формулировка, по нашему мнению, удачнее более поздней „неопределенные и определенные“, где не отражен момент нейтраль-

¹ „Граматично изказанје об руском језику“. Издание О. Бодянского. М., 1859, стр. 53.

² До Крижанича (1617—1683) в грамматиках не отмечалось различие в значении кратких и полных форм. Мелетий Смотрицкий (см. его „Грамматики славенския прѣвильное сунтагма“, 1619, последнее изд. 1721) указывает, например, лишь на наличие двух форм: „И перваго ѡубо чина имень мужеска рода ѡконченія суть два: ѡй, ѡй; и чрезъ ѡлохотѣн сирѣчь оусѣченіеъ: яко стѣй/стѣ: крѣпкій/крѣпокъ (изд. 1721, стр. 69).

ности и не уточнено понятие определенности. Тем не менее, эта поздняя формулировка прочно укоренилась в лингвистической терминологии. Ее ввел, видимо, И. Добровский в своих знаменитых „Institutiones linguae slavicae dialecti veteris“ (1822). Он писал: „De nomino adjectivo § 34. Adjectivorum terminatio. In Adjectivus duplex terminatio, indefinita et definita, secundum genera distingunda est“. (О имени прилагательном § 34. Окончание прилагательных. Прилагательные по родам имеют два окончания, неопределенное и определенное)¹.

Вслед за И. Добровским это положение принял А. Востоков, обратив также внимание на некоторое соответствие славянских полных форм прилагательных греческому члену: „Прилагательные качественные, отнесенные и причастия имеют двойное окончание: первое неопределенное (indefinita, по Добровскому) или усеченное, и второе — определенное (definita) или полное... Окончание неопределенное употребляется там, где в греческом нет члена, например, *кѣсѣко дрѣво добро плоды добры творитъ* (πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρπὸς καλὸς ποιεῖ), определенное выражает греческий член, например, *кѣсѣкѣвыи доброкъ гѣма* (ὁ σπείρων τὸ καλὸν σπείρει). Однако же иногда определенное или полное окончание поставлено и там, где в греческом нет члена, например, *примѣте дхъ стгы* И. XX, 22, во всех древних списках евангелий. В греческом λάβετε πνεῦμα ἅγιον“². Важно отметить, что Востоков, помимо общности функций полных прилагательных и греческого члена, отметил и известное различие. Это интересно главным образом потому, что в течение всего XIX в. и отчасти XX в. в науке господствовало мнение о почти полной тождественной функции кратких и полных форм прилагательных в старославянском и неопределенного и определенного артикля в западноевропейских языках и члена в греческом. Ярче всего эту точку зрения выразил Ф. Миклошич в своем „Сравнительном синтаксисе славянских языков“. Его определение значений кратких и полных форм прилагательных было до недавнего времени наиболее полным и развернутым: „Сложные формы указывают на обозначенный прилагательным и существительным предмет как на уже упомянутый или ранее известный, указывают потому, что соединение этих форм с точно названным или только присоединенным мысленно существительным происходит в акте речи не впервые, но должно пониматься как уже совершенное до этого: сравни *кръштгыи гѣ кѣзиде* ὁ βαπτισθεὶς ἀνέβη — крещенный (der Getaufte), т. е. тот человек, который был крещен и нам известен как крещеный, взшел, с *кръштгѣ гѣ кѣзиде* βαπτισθεὶς ἀνέβη — после того как он был крещен, он взшел... Именные формы указывают на предмет, обозначенный прилагательным и существительным, как на не известный заранее, указывают, что соединение прилагательного с существительным должно пониматься, как производящееся только впервые в акте речи. Таким образом, понятие при своем первом упоминании обозначается именной формой, а позже, как уже известно, сложной: *оубога нѣкы глаголаше* Супр. 433, 18, после чего: (433, 2) *дастѣ кѣсѣ оубогаоубогау; видѣ единѣ кѣдовицѣ оубогаж*, после чего *кѣдовица ги оубогад* Савв. кн. 52“³.

Определение Ф. Миклошича, в общем правильное, нельзя считать, однако, исчерпывающим и достаточно точным. Оно, прежде всего, оставляет в стороне специфические особенности исследуемой категории:

¹ Изд. 1822 г., стр. 317, т. 1; „Грамматика языка славянского по древнему наречию“, т. 1. Русск. пер. М. Погодина. М., 1833, стр. 372—373.

² А. Х. Востоков. Грамматика церковнославянского языка, изложенная по древним его письменным памятникам. СПб., 1863, стр. 35. То же см. Филологические рассуждения. „Уч. зап. II Отд. АН“, кн. II, вып. I. СПб., 1856, стр. 45.

³ Franz Miklosich. Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen, Bd. IV, Syntax. Wien, 1883, S. 132—134.

категория кратких и полных прилагательных в славянских языках нивелируется с категорией артикля в западноевропейских языках. Основное значение полных форм в старославянском языке, по Миклошичу, анафорическое, т. е. указывающее на предмет уже ранее упомянутый, известный. Главным моментом, определяющим корреляцию обеих форм прилагательных, является первичность или вторичность данного сочетания („прилагательное + существительное“) в акте речи. Между тем этот момент можно считать лишь частным случаем, проявлением (и то не всегда обязательным) более широкой категории определенности, связанной с рядом других моментов синтаксического и лексического порядка.

После Ф. Миклошича исследователи старославянского языка сделали немного для дальнейшего выяснения нашего вопроса. А. Лескин дал несколько иное, по нашему мнению, более правильное, хотя и слишком общее определение рассматриваемой категории. Не подчеркивая момента вышеупомянутой, он отметил, что „прилагательное, являющееся атрибутом существительного, употребляется с членом тогда, когда атрибут относится к определенному, известному самому по себе или из контекста, предмету“¹.

Такую же характеристику исследуемой категории дал А. Мейе: „В общеславянском языке нет члена, определенного или неопределенного. Но в нем имеется особая форма прилагательного, которая употребляется, когда прилагательное служит определением к известному существительному и, следовательно, указывает на то, что существительное является определенным. Прилагательное-сказуемое или прилагательное-определение к существительному неопределенному никогда не имеет этой формы“².

Важно отметить, что, по мнению А. Мейе и других ученых, полная форма придает определенность существительному-предмету, с которым прилагательное находится в атрибутивной связи (определенность предмета), а не самому прилагательному-признаку предмета (определенность признака), что, по нашему мнению, совершенно правильно.

Мнение большинства других исследователей старославянского языка, авторов отдельных курсов и руководств (Вондрак, Кульбакин, Щепкин, Ван-Вейк, Вайнгарт, Дилс, Вайан, Лось, Лер-Сплавинский и др.) в общем мало чем отличается от мнения Мейе³.

Попытку по-новому вскрыть понятие определенности сделал А. М. Селищев в своем труде „Старославянский язык“. По его мнению, „прилагательные в сочетании с местоимениями *i*, *je*, *ja* первоначально имели, вероятно, такое значение: они представляли собою субстантивизированные прилагательные. Например: *matŭi* (*matŭji*) — „малыш“, „малец“, т. е. „мал вот он“. Другая черта была свойственна сложным формам прилагательных: они подчеркивали свойство или качество предмета, каким он отличался среди прочих предметов того же качества или

¹ A. Leskien. Grammatik der altbulgarischen Sprache. Heidelberg, 1909, S. 142.

² А. Мейе. Общеславянский язык. Русск. пер. М., 1951, стр. 357—358. В другой работе — „Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков“ — А. Мейе дает определение, близкое к определению Ф. Миклошича: „Основа санскр. *ya-*, ав. *ya-*, др.-сл. *ю-* (со следующей частицей *ж*: им. п. ед. ч. м. р. *нѣ*, род. *нѣгожѣ* и т. д.) греч. *ο* — служит относительным местоимением; оно образует именительный наравне с прочими падежами. Кроме того, в славянском оно имеет анафорическое значение, т. е. служит указанием на лицо или вещь, уже известную или раньше упомянутую: в литовском оно имеет только это значение. Как анафорическое, оно является энклитикой и может присоединяться к прилагательным для указания того, что имя, к которому оно относится, определено: др.-сл. *добрѣн* (из *добрѣ-н*), *добрѣ-нѣ*, *добрѣ-нѣ*“ (русск. пер. М., 1938, стр. 334).

³ См. более подробный обзор литературы вопроса в статье: И. Курц. K otázce členu v jazycích slovanských, se zvláštním zřetelem k staroslovenštině. „Byzantinoslavica“, r. VII, Praha, 1937—1938, str. 252—253.

свойства; они сосредоточивали внимание говорящего на этой черте называемого предмета¹.

Следует, однако, отметить, что субстантивация, т. е. употребление прилагательного в номинативной функции, выражение субстанции, чаще всего лица, исключительно через свойство или качество, для него обычно наиболее характерное и постоянное (например, *малой*, малыи (маль) „малец“, „маленький человек“ и т. п.), не всегда вела в старославянском языке к употреблению полной формы². Обязательное употребление полной формы при субстантивации, как, например, в современном русском языке — явление более позднее, возникшее уже в отдельных славянских языках в период их самостоятельного развития (ср. реликтовое „от мала до велика“ и т. п.).

Категория субстантивности и категория определенности далеко не тождественны, ибо сама субстанция (существительное) может быть определенной и неопределенной. Отсюда и случаи субстантивации кратких прилагательных.

Другая черта, свойственная, по мнению А. М. Селищева, сложным формам прилагательных, изложена им довольно неясно. Бесспорно, отличие полных форм прилагательных от кратких существует, и не только по форме, как полагал Г. Гуннарсон, но и по значению. Однако это не может быть отличие в степени качества (такое отличается либо формами степеней сравнения, либо суффиксально: *-оват-*, *-ив-* и т. п.). Качественно, имея в виду значение качества, прилагательное *добрый* ничем не отличается от прилагательного *добръ*. Помня, что в старославянском языке полные формы выступают только в атрибутивной функции, нельзя указать особого значения полных форм, не приняв во внимание их связь с существительными и роль последних, т. е. без учета этой атрибутивной функции. Поэтому, по нашему мнению, невозможна, например, определенность и неопределенность признака (качества, свойства), взятая отдельно, без связи с предметом, если нет субстантивации типа *красное* = краснота, и т. п.³.

Попутно отметим, что большая и меньшая определенность может быть заложена в самом лексическом значении прилагательного, но при этом для каждого данного прилагательного она остается всегда неизменной. Нужно учитывать, что эта определенность выступает в ином, лексическом, плане, а не в плане рассматриваемой категории.

Все это позволяет нам считать определение — „они (сложные формы) подчеркивали свойство или качество предмета, каким он отличался среди прочих предметов того же качества или свойства“ — в значительной мере запутанным и неясным. А. М. Селищев правильно замечает, что прилагательное в полной форме отличает предмет от прочих предметов того же качества, но ошибочно видит отличие в самом качестве.

Более удачно это отличие оценил И. Курц, усмотревший его в конкретном моменте, именно в индивидуализации предмета. „Сложные славянские прилагательные, — по мнению И. Курца, — сохранили, по крайней мере частично, свое исконное значение. Прежде местоимение в постпозиции придавало сочетанию прилагательного с существительным

¹ А. М. Селищев. Старославянский язык, ч. 2. М., 1952, стр. 127.

² См. четвертый раздел настоящей работы.

³ В связи с этим интересно отметить замечание А. В. Исаченко, что „при изучении данного вопроса в сравнительно-историческом плане внимание исследователя будет сосредоточено не столько на судьбах кратких и полных форм имен прилагательных, сколько на судьбах категорий определенности имен существительных. Здесь особенно полезным будет привлечение болгарского материала, поскольку член в болгарском языке частично принял на себя функцию, выполняемую в старославянском языке полными формами прилагательного“ (А. В. Исаченко. О сравнительно-историческом изучении грамматических категорий. „Slavia“, R. XXI, Seš. 2—3, 1953, str. 208—209).

особый оттенок, например, оно подчеркивало особое индивидуальное свойство предмета, выделяя его из предметов с подобным свойством, сосредоточивало внимание на прилагательном и т. д. Я полагаю, — продолжает И. Курц, — что возможно было бы, по крайней мере для части случаев, исходить из прилагательного, выступающего в роли существительного (т. е. субстантивированного. — Н. Т.), которое четко обозначает данное лицо как индивидуум с постоянным качеством, например, сочетание *staroŷь mužь* обозначало старика мужчину, ср. подобн. *člověкъ grěšnikъ*, *vragъ člověкъ* и подобные примеры в древних языках. Его не следует рассматривать исключительно как член, оно могло иметь функцию обозначения субстантивного свойства прилагательных либо психологического их выделения путем анафорического местоимения. Разграничение обеих форм прилагательных в славянских языках не привлечено извне и основано на различии в их значении¹.

В индивидуализации предмета нужно видеть, по нашему мнению, основное значение полной формы прилагательного. Особый оттенок свойства (индивидуализация-определенность) прежде всего относится к предмету, а не к его качеству (свойству). В этом отношении с И. Курцем нельзя не согласиться. В связи с этим и „средоточение внимания“ привносимого полной формой, с нашей точки зрения, должно относиться не только к прилагательному, но ко всему сочетанию („прилагательное+существительное“) в целом. Что же касается постоянства свойств и других оттенков значения, то они не всегда оказываются решающими при употреблении полной формы и чаще являются частными случаями (дополнительным моментом) проявления указанного основного значения. Более существенным фактором, связанным отчасти и с выдвигаемым И. Курцем моментом постоянства свойства, является лексическое значение прилагательного, определяющее преимущество в употреблении той или иной формы (ср. прилагательное на *-ъкъ*, притяжательные прилагательные и др.). Этот исключительно важный для понимания рассматриваемой категории фактор почти всегда, к сожалению, оставался вне поля зрения исследователей.

Отметим также, что различное значение кратких и полных форм прилагательных (определенность/неопределенность) представлялось некоторым исследователям (Г. Павскому, Г. Гуннарсону, А. Досталю) привнесенным извне, из греческого языка. Корреляция полных и кратких форм, а по мнению Г. Павского, и сама полная форма, возникла под воздействием греческих прилагательных с членом и без члена. В XIX в. против теории Г. Павского² убедительно выступили С. Лебедев (см. его рецензию на этот труд Г. Павского³) и П. Лавровский⁴. Г. Гуннарсон полагал, что две парадигмы склонения прилагательных возникли на славянской почве в результате влияния двойной формы творительного падежа единственного числа существительных основ на *а-* женoжъ, женo, на склонение прилагательных, что привело к созданию двойных форм *дoбрoжъ*, *дoбрo*, *дoбрoжь*, *дoбрь* и др. Эти формы первоначально не имели различного значения и приобрели оттенок определенности и неопределенности лишь в представлении писца-переводчика с греческого оригинала под влиянием этого оригинала. Гипотезу Г. Гуннарсона⁵ опроверг

¹ И. Курц. „III Међународни конгрес слависта“, т. 1. Београд, 1939. стр. 46; см. также его монографию: *K otázce členu v jazycích slovanských, se zvláštním zřetelem k staroslověnině*, стр. 254—255.

² „Филологические наблюдения“. Рассуждение второе. СПб., 1850, стр. 13.

³ „Современник“, 1851, т. XXVIII, № 8, отд. III, стр. 25—44.

⁴ „О языке северных русских летописей“. СПб., 1852, стр. 64—65.

⁵ *Recherches syntaxiques sur la décadence de l'adjectif nominal dans les langues slaves et particulièrement dans le russe*. Paris, 1931.

А. Белич¹. Его доводы, что двойная форма женѣ, женѣж должна была вызвать двойную парадигму прежде всего в склонении существительных, хотя бы тех же основ на *-a*, а затем уже прилагательных, а также и другие доводы, нужно считать обоснованными. А. Досталь полагает, что полные формы прилагательных возникли на славянской почве без иноязычного влияния, в результате стремления к морфологическому обособлению прилагательных от существительных. Что же касается их значения, то он, так же как и Г. Гуннарсон, полагает, что „определенное значение сложного прилагательного и неопределенное именного прилагательного в старославянском языке мы должны объяснить как вторичные. Мы не должны забывать, что старославянские тексты возникли, как правило, в результате перевода с греческого, т. е. переводчик должен был часто считаться с различием греческого оригинала между прилагательным с членом и прилагательным без члена. Помогло ему, вероятно, то, что он употреблял две формы прилагательных, которые старославянский язык в эту эпоху своего развития имел. Позже, поскольку необходимость выравнивания с греческим оригиналом действовала постоянно, развивалась практика употреблять сложное прилагательное вместо греческого прилагательного с членом и, наоборот, именное прилагательное вместо греческого прилагательного без члена. Впрочем, такая практика нигде не проводилась последовательно. Если бы мы допустили, что сложное прилагательное имело исконное значение определенного прилагательного как прилагательное с постпозитивным членом, мы бы с большим трудом объяснили именно пренебрежение этого значения в случаях, где старославянское сложное прилагательное употребляется вместо греческого прилагательного без члена и, наоборот, где употребляется прилагательное именного типа“². Подобное категорическое утверждение возможно, по нашему мнению, лишь после достаточно внимательного рассмотрения фактов древних и современных славянских языков. Между тем эти факты далеко не всегда свидетельствуют в пользу изложенной теории. Укажем, оставляя в стороне западнославянские и древнерусский языки, хотя на сербохорватский и словенский, где не только в литературном языке, но и в говорах сохраняются в большей или меньшей мере следы прежней корреляции по линии определенности и неопределенности. Едва ли это явление можно объяснить исключительно греческим книжным влиянием.

§ 2. Вопрос употребления полных и кратких прилагательных в древних, а отчасти и современных южно- и западнославянских языках слабо отражен в специальной лингвистической литературе. Больше всего внимания было уделено проблеме употребления обеих форм прилагательных в древнерусском языке. Проблема эта, однако, решалась по-разному и для древнерусского и, в связи с этим, что для нас крайне важно, для старославянского языка. Вопрос остался до сих пор окончательно невыясненным; в процессе его разрешения выработались, в основном, две или даже три концепции — С. П. Обнорского, Е. С. Истриной и Л. П. Якубинского.

Академик С. П. Обнорский полагает, что в древнерусском языке продолжали существовать отношения, характерные для старославянского и, возможно, праславянского языка. „Отражая старый строй языка, прилагательные являются в членной или нечленной форме в зависимости от того, служат ли они выражением признака определенного, уже из-

¹ См. рецензию на указанный труд Г. Гуннарсона в журнале „Јужнословенски филолог“, књ. XIII, Београд, 1933—1934, стр. 211—217.

² Antonín Dostál. K otázce slovetvorných tipů, zvláště slovanských. „Studie a práce lingvistické I, k šedesátým narozeninám akademika Bohuslava Havránka“, Praha, 1954, str. 111).

вестного, или напротив, в общих чертах представляемого, неопределенного¹. Неточность характеристики С. П. Обнорского в том, что он акцентирует внимание преимущественно на определенности признака и тем самым повторяет одно из положений А. М. Селищева. Тем не менее, важно отметить, что С. П. Обнорский видит в корреляции двух форм прилагательных, так же как и большинство исследователей старославянского языка, выражение категории определенности и неопределенности.

Совсем по-иному объясняет употребление кратких и полных форм прилагательных в древнерусском языке Е. С. Истрина. По ее мнению, „в случаях, где определение выражено именной формой, обозначаемый им признак имеет существенное значение в общем смысле предложения, с чем связывается и энергичность его проявления; между тем, в случаях, где определение выражено местоименной формой, соответствующий признак не играет значительной роли в предложении, и проявление его не отличается энергичностью. Так, в предложении *і моужа добръ горѣ електрии лазорекича* — определение *добръ* относится к определенному лицу, названному по имени; качество это, надо думать, действительно ему принадлежало, а упоминание об этом качестве, так сказать, подчеркивает, увеличивает степень несчастья; признак проявляется энергично. Иную роль играет определение в предложении — *историгошага добрии моужи и жены*. Текст таков: татары обступили Владимир; стало очевидно, что город будет взят; тогда все вошли в церковь св. Богородицы и здесь постриглись: и князь, и княгиня, и дочь, и сноха, и добрии моужи и жены. Определение *добрии* не имеет существенного значения в предложении; просто, в виду благочестивого поступка, книжник всех постригшихся называет добрыми; признак проявляется слабо“². „Значение именной формы прилагательного может быть определено как значение предикативное“³.

Выводы Е. С. Истриной, произведенные на основании анализа одного древнерусского памятника XIII—XIV вв., во многом спорные⁴, могли бы остаться вне нашего рассмотрения как не относящиеся непосредственно к нашему материалу, если бы они не были приняты рядом исследователей и отнесены ко всему древнерусскому и даже старославянскому языку⁵.

Недостатком многих исследований, посвященных прилагательным в древнерусском языке, было частое игнорирование фактов других славянских языков. Делались попытки разрешить все вопросы, в том числе

¹ С. П. Обнорский. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М. 1946, стр. 110 (из характеристики языка „Моления Даниила Заточника“). То же при характеристике языка „Русской правды“ (стр. 25), „Сочинения Владимира Мономаха“ (стр. 59), „Слова о полку Игореве“ (стр. 169—170).

² Е. С. Истрина. Употребление именных и местоименных форм имен прилагательных в Синодальном списке 1 Новгородской летописи. ИОРЯС, т. XXIII, кн. 1, 1918, стр. 45; см. также более полное определение на стр. 51—52.

³ Там же, стр. 62.

⁴ См., например, критику положений Е. С. Истриной в канд. диссертации А. И. Толкачева и его выводы: „А между тем, отношения именных и членных форм были, вероятно, обратными тем, что было в Новгородской летописи (в языке до XIII—XIV вв. — Н. Т.), прилагательные сложные употреблялись при существенном определенном, а именно при существенном неопределенном или, по терминологии Е. С. Истриной, прилагательные сложные обозначали „признак существенный для данного предложения“, а прилагательные именные — „признак известный, обычный“. И далее: „... можно привести и другие факты, указывающие на то, что именно сложные формы прилагательных обозначали признак, энергично проявляющийся“, „существенный для данного предложения“. А. И. Толкачев. История членных прилагательных русского языка. Смоленск, 1952, стр. 46—47.

⁵ См. например, В. Л. Георгиева. Синтаксические функции прилагательных в древнерусском языке. Л. 1952, стр. 5 (автореф. канд. диссерт.).

даже вопрос возникновения полной формы прилагательного, исключительно на материале русского языка. А между тем нельзя было оставлять без внимания в частности тот факт, что активизация полных форм за счет кратких в некоторых славянских языках, например, в сербохорватском, проходила не по линии атрибутивности и предикативности, как в русском языке (т. е. в конечном итоге полного господства местоименных форм в атрибуте и сохранения именных форм лишь в предикате), а по линии постепенного перехода отдельных лексических групп прилагательных одновременно и в атрибуте и в предикате в разряд прилагательных только с полной формой.

Исключительной в нашей лингвистической литературе по истории прилагательных является недавно опубликованная работа проф. Л. П. Якубинского, по-новому разрешающая вопрос взаимоотношения и значения кратких и полных форм¹. Считая теорию Ф. Миклошича в основе совершенно справедливой и полагая, что „наличие местоимений при прилагательных в одних случаях (т. е. полные формы — *Н. Т.*) и отсутствие их в других первоначально выражало категорию определенности и неопределенности в применении к существительным, которые определяло прилагательное“², Л. П. Якубинский утверждал, что „ошибкой всех исследователей, занимавшихся нашей категорией, было то, что они понимали ее узко синтаксически, контекстно, смешивая понятие лексико-семантической определенности с понятием „вышеупомянутости“ и поэтому, дескать, определенности. Они забывали, что понятие определенности есть лексико-синтаксическое понятие, поскольку определенность может быть дана в самом лексическом значении слова“³. Не все в системе доказательств Л. П. Якубинского можно считать совершенно бесспорным⁴, однако основным и наиболее ценным в его концепции является признание большой роли лексико-семантического фактора для исследуемой категории.

Такова в общих чертах история интересующей нас проблемы. Некоторые более частные моменты и полемика с отдельными исследователями даются ниже параллельно с изложением материала.

§ 3. Тематика старославянских памятников — исключительно церковного характера. Это — преимущественно богослужбная, каноническая литература, получившая в свое время название „священной“, не подлежащей какому-либо изменению. Однако и среди этой „священной“ литературы существовала определенная градация.

Наибольшее значение имели тексты евангелия. Именно эти тексты, наряду с псалтырем и апостолом, были переведены в первую очередь на славянский язык еще Кириллом и Мефодием. Надо полагать, что тексты эти как строго канонические, подвергались при дальнейшей переписке наименьшему изменению в отношении языка. Это явилось одной из причин того, что нами при исследовании были взяты прежде всего евангельские старославянские тексты. Наличие четырех древнейших списков нового завета (Маринский, Зографский, Ассеманиев кодексы и Саввина книга) позволяет также произвести очень важный в данном случае сравнительный анализ примеров. Отметим, что в отношении рассматриваемой нами категории эти памятники в общем отличаются единообразием. Число разночтений, тем не менее, достаточно велико, но трудно выделить какой-либо памятник в этом отношении.

¹ Л. П. Якубинский. Из истории имени прилагательного. „Доклады и сообщения Института языкознания“, т. 1, 1952, стр. 52—61; см. также его „Историю древнерусского языка“. М., 1953, стр. 206—219.

² Указ. соч., стр. 55.

³ Там же, стр. 56.

⁴ См. стр. 78, 99 настоящей работы.

В некоторых функциях прилагательных полной и краткой формы различия вообще отсутствуют, что дает нам возможность точнее определить значение рассматриваемой категории.

При исследовании были выписаны из четырех упомянутых кодексов все случаи употребления прилагательных и в полной и в краткой форме. Анализ значения этих форм производился с учетом условий контекста и семантики прилагательных; поэтому в случаях, где имелась специальная фиксация того или иного значения, выраженная или подчеркнутая другими языковыми средствами (т. е. не только одной из двух форм прилагательного), или где особую роль играло лексическое значение прилагательного, примеры приводятся полностью. Наиболее значительное внимание уделяется именно таким примерам. В некоторых случаях даются и численные соответствия тех или иных форм. Факты других славянских языков привлекаются лишь в качестве иллюстраций к выводам, сделанным на материале старославянского языка.

§ 4. Почти все памятники старославянского языка, как известно, являются переводами с греческих оригиналов. Этот факт неоднократно привлекал внимание исследователей. Сличение двух текстов — славянского и греческого — позволило прийти к выводу, что перевод на славянский язык производился достаточно вольно, в духе славянского языка. Однако полностью отрицать влияние греческого оригинала на славянский текст нельзя, — в некоторых случаях можно даже отметить кальки с греческого языка, влияние греческого синтаксиса (например в порядке слов) и др. В отношении исследуемой нами категории влияние греческого языка принципиально вполне возможно. В греческом языке нового завета, так же как и в древнегреческом, наличествовала категория определенного члена (*ὁ, ἡ, τὸ*), который ставился и перед существительным и перед прилагательным. Значение этого определенного члена было в ряде функций близко к значению исследуемых нами полных форм прилагательных. Эта близость допускает предположение, что могло быть механическое употребление полной формы прилагательных в соответствии с греческим членом. В таком случае наша работа оказалась бы бесцельной, ибо исследовалась бы не живая категория старославянского языка, а категория греческого члена, отраженного в славянском языке. Однако внимательное сопоставление этих двух близких по значению категорий позволило прийти к выводу, что это сходство никак не означает тождества и полного совпадения функций; к тому же имеются и существенные различия, отраженные в славянском переводе. Переводчик с греческого часто находил в своем славянском языке возможность, когда существительное выступало с прилагательным-атрибутом, довольно точно передавать значение греческих форм с членом. Между тем, в тех случаях, когда соответствия не было, переводчик обычно не отступал от духа славянского языка и не копировал рабски оригинал, уподобляя ту или иную форму прилагательного, независимо от наличия или отсутствия греческого члена. Число несоответствий славянского перевода греческому оригиналу более значительно, чем предполагали некоторые исследователи. Эти несоответствия частично приводятся в настоящей работе и служат дополнительной аргументацией к ее выводам. Отметим здесь лишь несколько наиболее характерных случаев.

а) Предмет, к которому относится прилагательное, логически не акцентирован, — нет нужды в его выделении из числа ему подобных предметов, обладающих тем же качеством. В славянском переводе краткая форма:

Мр. 6—39. *и поведемъ имъ поглядити къ каа народы... на споды на трѣвѣхъ зеленѣхъ* (ἐπὶ τῶν ἁλωρῶν χέρτων); в греческом оригинале наличествует член (подробнее см. § 25).

б) Лексическое значение прилагательного — достаточно конкретное, определенное. Прилагательное образовано от существительного локативного значения (земля). В славянском переводе полная форма: Мр. 4—5. *и аде прозакъ зане не имѣаше гл҃ьбыны земьныа* (διὰ τὸ μὴ ἔχειν βᾶθος γῆς); в греческом оригинале член отсутствует (подробно см. § 14).

в) Прилагательное входит в состав фразеологической единицы. В славянском переводе полная форма: Мр. 10—4. *покалѣ мѡги кнѡигы рас-пужьгьныа написати и поужьтити* (βιβλίον ἀποστασίου); в греческом оригинале член отсутствует (подробнее см. § 18).

г) Полная форма прилагательного в славянском переводе часто употребляется вместо формы звательного „падажа“: Мф. 25—23. *докры рабе клагы кѣрѡне* (εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ); в греческом оригинале звательная форма без члена (подробнее см. § 12).

д) Прилагательное на -акъ, близкие по значению к притяжательным, в славянском переводе часто выступают в краткой форме: Мр. 8—15. *и прѣ-штааше имѣ гл҃ь видите бл҃удѣте еѣ отъ ккага фарисѣиска* (ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων); в греческом оригинале родительный падеж существительного с членом (подробнее см. § 29).

е) Субстантивированное прилагательное в славянском переводе часто выступает в членной форме: Лк. 7—22. *ѣже видѣста и слышаста ѣко сѣ-пни прозираѣтѣ, хромии ходѣтѣ* (ὅτι τυφλοὶ... ἀναβλέπον σιν... χωλοὶ περιπατοῦσιν...); в греческом оригинале член отсутствует (подробнее см. 4-й раздел).

Остальные разночтения приводятся параллельно с изложением старославянского материала.

2. КРАТКИЕ И ПОЛНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В АТТРИБУТИВНОЙ ФУНКЦИИ

§ 5. Атрибутивная функция прилагательного характеризуется его тесной связью с определяемым существительным. Обозначая признак предмета, прилагательное, совместно с существительным, означающим предмет, образует единое целое, выражает одно сложное, нерасчлененное представление. С формальной стороны, существует также непосредственная связь прилагательного с существительным: согласование с существительным в роде, числе и падеже. Другим, не менее важным для старославянского языка, формальным моментом является наличие в атрибутивной функции двух форм прилагательного — полной и краткой. Эта особенность, однако, характерна не для всех прилагательных в равной мере. Корреляция полных и кратких форм охватывает лишь разряд качественно-относительных прилагательных, притяжательным прилагательным свойственна лишь одна краткая форма. Таким образом, традиционное деление прилагательных на группы качественных, относительных и притяжательных, основанное не только на их лексическом значении, но и на связанных с ним отдельных грамматических признаках (степени сравнения, типы склонения и др.), должно быть принято во внимание при классификации материала. „Однако грамматическая граница между качественными и относительными прилагательными очень подвижна и условна“¹. Условность ее выражается в том, что часто одно и то же прилагательное, в зависимости от семантики определяемого существительного, может выступить то как относительное, то как качественное прилагательное. В современных славянских языках нередки случаи перехода относительных прилагательных

¹ В. В. Виноградов. Русский язык. М., 1947, стр. 204.

в разряд качественных¹, в старославянских памятниках подобное явление выражено не столь ярко, но, тем не менее, оно наблюдается. Это принуждает нас при классификации материала в некоторых случаях рассматривать употребление кратких и полных форм качественных и относительных прилагательных не отдельно, а вместе, учитывая, однако, в каждом конкретном случае их принадлежность той или иной группе.

Более изолированную группу составляют притяжательные прилагательные, довольно четко отграниченные семантически и обособленные морфологически. Их употребление рассматривается отдельно в конце настоящей главы. По своей семантике притяжательные прилагательные являются наиболее конкретными, наиболее определенными, индивидуализирующими предмет (или лицо), точнее других определяющими его положение по отношению к другим предметам того же рода (ср. *Иванова рубаха* и *рубаха*). Меньше конкретности и определенности в семантике относительных прилагательных, — здесь выделение данного предмета (определяемого существительного) из рода ему подобных значительно слабее (ср. *казенная рубаха* и *рубаха*). Наконец, оно еще менее значительно в семантике качественных прилагательных (ср. *синяя рубаха* и *рубаха*).

Пример притяжательных прилагательных свидетельствует о том, что семантика прилагательного может иметь исключительно важное значение, определяющее наличие той или иной формы (в данном случае только краткой). Необходимо выяснить, в какой мере семантика прилагательного определяет наличие краткой или полной формы в других разрядах, прежде всего в разряде относительных прилагательных, иными словами, какова и сколь значительна связь лексического значения качественно-относительных прилагательных с полными или краткими формами. Наконец, важно выяснить, правомерна ли вообще подобная постановка вопроса.

Рассматривая прилагательное как „часть речи, которая включает в себя слова, определяющие существительные и являющиеся названием свойств, качеств, отношений в их сочетании с названиями субстанций, причем под отношениями разумеются те, которые вытекают из существа, из природы самих субстанций“², необходимо учитывать также, что категория определения не ограничивается категорией прилагательных. В роли грамматического атрибута может выступать также и существительное, и местоимение, и числительное. Атрибут, в свою очередь, может быть определен наречием. Имя прилагательное, выступая в роли атрибута существительного, тесно связано с другими определениями того же существительного — не прилагательными (указательными, определительными, неопределенными местоимениями, числительными). Связь эта и синтаксическая (через существительное) и смысловая. Необходимо поэтому выяснить, в какой мере и какие дополнительные языковые средства определяют наличие полной или краткой формы прилагательного.

В иных случаях при выяснении вопроса о значении краткой и полной формы важен также учет синтаксического момента: в какой синтаксической функции выступает конструкция „прилагательное + существительное“. Однако рассмотрение всех возможных синтаксических функций привело бы к чрезмерному объему работы, без каких-либо достаточно

¹ В этих случаях иногда относительное прилагательное принимает и некоторые формальные признаки, характерные для качественных прилагательных, например образование сравнительной степени (*каменный—каменной*), что совершенно несвойственно притяжательным прилагательным. Степени сравнения отсутствуют и у таких притяжательных прилагательных, которые приобрели качественное значение (например, *Кашново дело*).

² А. А. Шахматов. Синтаксис русского языка. Л., 1941, стр. 490.

конкретных результатов. В работе приводятся лишь те синтаксические функции конструкций „прилагательное + существительное“, которые определяют в той или иной мере употребление кратких или полных форм. Так, например, наше особое внимание привлекли те синтаксические категории, значение которых дает возможность выяснить, воспринимается ли существительное, определяемое прилагательным, как уникализированное (определенное) или нет (например, звательный „падеж“, родительный неопределенного объекта и др.).

Отметим, наконец, что и некоторые моменты, относящиеся к словообразованию, не могли не найти своего отражения в нашей работе. Ряд суффиксов в старославянском языке был свойствен в основном только определенным лексическим разрядам (группам) прилагательных. Естественно, что это требует, в свою очередь, выяснения вопроса, в какой степени и с какими суффиксами прилагательных связано употребление полной или краткой формы.

Таким образом, при выяснении значения кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке нельзя останавливаться на какой-либо одной стороне нашего вопроса, на лексическом значении, морфологической структуре, синтаксической функции или словообразовании прилагательных. Результат такого анализа привел бы к неполному, одностороннему, а потому и неточному выводу. Поэтому необходимо многостороннее рассмотрение исследуемой категории, необходимо также выяснение взаимообусловленности указанных выше моментов, определение, какой из них имеет более или менее решающее значение при корреляции полных и кратких форм.

Все это крайне затрудняет классификацию материала и требует особого, разностороннего подхода к исследуемой категории. Поэтому, не выделяя на первый план какой-либо из упомянутых моментов и отказываясь от заранее установленных предпосылок при распределении и описании материала, мы обращаем особое внимание на дополнительные языковые показатели значения кратких и полных форм. При этом нами в первую очередь рассматриваются примеры, где дополнительные показатели строго предопределяют наличие той или иной формы, затем случаи, где эти показатели имеют в известной мере второстепенное значение, подчиняясь иногда другим более решающим факторам, и, наконец, случаи, где подобные показатели отсутствуют. В последних случаях рассматриваются сначала относительные, а затем качественные прилагательные.

В настоящем разделе в качестве иллюстративного материала, помимо фактов других славянских языков, приводятся также отдельные случаи употребления членных форм в современном болгарском языке. При этом в полной мере учитывается тот факт, что категория членной формы в болгарском языке, так же как и категория артикля в западноевропейских языках, генетически не связана с категорией полных и кратких прилагательных в славянских языках. Поэтому нужно решительно отвергнуть возможность сравнительно-исторического исследования категории кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке и членной формы в болгарском языке (или артикля в западноевропейских языках) и считать возможным их совместное рассмотрение лишь в сопоставительном плане. Сопоставление этих двух генетически не связанных категорий может способствовать более ясному пониманию их сущности, выяснению не только общих, но и различных моментов в их значении и употреблении. В этом отношении категорию кратких и полных славянских прилагательных нельзя приравнивать к категории западноевропейского артикля, как это делали некоторые исследователи.

§ 6. Прилагательное, определяющее существительное наряду с числительным *единъ* в функции неопределенного местоимения, имеет последовательно краткую форму. В некоторых кодексах в отдельных случаях вместо числительного *единъ* употребляется неопределенное местоимение *етѣаъ*.

Мр. 12—42. *и* пришедаши *едина* вѣдовица *оубога*. М. З. (*μία χήρα πτωχή*); Лк. 21—2. (*и*) видѣ же и *единъ* вѣдовицъ *оубогъ*. М. С.; *етѣрж*. З. А. (*τινα χήραν πενυχθάν*); Лк. 14—1. *и* вьста егда *книде* *иъ* къ домъ *единого* *кнѣаза* *фарисѣиска*. М. С.; *етѣра*. А. (*τινος τῶν ἀρχόντων τῶν Φαρισαίων*).

Случаи употребления прилагательного совместно с числительным *единъ* в функции неопределенного местоимения в старославянских текстах немногочисленны. Почти во всех зафиксированных нами примерах числительное *единъ* употребляется при определении лиц (вѣдовица, кнѣаза).

Интерес представляет единственный зафиксированный нами пример употребления числительного (неопределенного местоимения) *единъ* при определении предмета. Мф. 13—45, 46. *подовъно* *етѣ* *цѣрѣткѣе* *нѣакое* *члвкоу* *коупѣацоу* *ицѣцѣ* *довѣр* *вѣсѣрѣ* *иже* *овѣрѣтѣ* *единъ* *многочѣнѣа* *вѣсѣрѣ* *шедѣ* *продаѣтѣ* *вѣсе* *имѣнѣе* М. З. А.; *единого* *многочѣнѣа*. А. (*ἕνυ πολύτιμον μαργαρίτην*).

В Саввиной книге зафиксирована полная форма без числительного *единъ*: *иже* *овѣрѣтѣ* *многочѣнѣа* *вѣсѣрѣ* *шедѣ* *продаѣтѣ* *вѣсе* *имѣнѣе* *сѣоѣ*.

В современном сербохорватском и словенском языках после неопределенного местоимения *један* (словен. *eden*) употребляется довольно последовательно в именительном и винительном падеже единственного числа мужского рода краткая форма прилагательного. Например: *У великој, сниској столицѣ седео је један крупан човек у црногорским хаљинама* (Ненадовић).

В функции неопределенного местоимения-прилагательного числительное *единъ* в старославянском языке выступает только в единственном числе. В этом заключается коренное отличие его функции от функции числительного *един* в современном болгарском языке, где оно и во множественном числе употребляется в функции неопределенного местоимения-прилагательного (например, *едни бедни старици* = *някои бедни старици*). Современный болгарский язык использует числительное *един*, *една*, *едно*, *едни* также и в функции неопределенного члена (например, „*Ще му дам аз едни помощи пѣса му неден*“.— Кр. Велков). Эта новая функция развивалась в связи с укреплением и активизацией определенного члена. Она отличается от функции числительного *един* — неопределенного местоимения — в той же мере, как и членная форма *ѣт*, *та*, *то* от указательного местоимения *тѣ*, *та*, *то* (болг. *този*, *тази*, *това*). Современный сербский язык в этом отношении близок к старославянскому; по-сербски можно сказать: *једна убога удовица*, *једна убога кућица*, но нельзя сказать: *то је једна срамота* (в болгарском языке говорят: *това е една срамота*) или *ако можеш навести један добар разлог* (в болг. *една добра причина*).¹ Числительное *један* может выступать в сербском языке лишь в роли неопределенного местоимения, определяющего лица и конкретные предметы. В современном сербском языке, так же как и в русском, невозможно употребление множественного числа числительного *један* в функции неопределенного местоимения-прилагательного (*једна убога старица*, но не *једне убоге старице*; ср. рус. *одна убогая старушка* и *одни убогие старушки* уже со значением „лишь убогие старушки“).

¹ Г. Исаев и М. Йоич. Сръбска граматика. София, 1948, стр. 89.

В рассмотренной функции числительное единъ не определяет предмет путем уникализации, не выделяет его из числа других ему подобных, не подчеркивает его отличия от них, а указывает на предмет как на один из многих ему подобных. Числительное единъ в данной функции тоже определяет предмет, но определяет его в отношении, прямо противоположном указательному местоимению (см. § 10).

§ 7. Прилагательное, определяющее существительное наряду с местоимением кѣткѣ, имеет, как правило, краткую форму.

Мф. 5—11. ...И рекѣтъ кѣткѣ зѣлъ гѣлѣ на кѣ лѣжѣци мене ради. З. С.; кѣлѣ зѣлъ глаголъ. А. (πᾶν πονηρόν); Мф. 23—25. да придетѣ на кѣ кѣткѣ крѣвѣ повѣдѣна. М. А. (πᾶν αἴμα δίκαιον); Мф. 7—17. тако кѣткѣ дрѣво дѣсѣро плоды добрѣ творитѣ. М. З.; кѣсѣ дрѣво добрѣсѣ А. (πᾶν δένδρον ἀγαθόν);

Мф. 12—36. гѣлѣ же камѣ тѣко кѣткѣ слово празданѣ еже аще рекѣтъ чѣлѣци... М. З. А.; кѣсѣкѣ гѣлѣ празданѣ. С. (πᾶν ῥῆμα ἀργόν); Мф. 27—15. на кѣткѣ же денѣ бѣлѣнкѣ обычѣн кѣт (ἰημονῆ) отѣпѣштѣти народѣу. М. З. А. С. (κατὰ δὲ ἑορτήν). В сочетании „днѣ бѣлѣнкѣ“ полная форма вообще не употребляется. Лк. 16—19. (чкѣ) бѣсѣла сѣ на кѣткѣ днѣ сѣтѣтѣлѣ. З.; кѣткѣ денѣ сѣтѣтѣло. М. А. С. (καθ' ἡμέραν λαμπρῶς).

В рассматриваемой конструкции местоимение кѣткѣ не выделяет предмет из числа ему подобных. Роль прилагательного — лишь указать на качество предмета; эту функцию и выполняет краткая форма. Порядок слов довольно строго определен: кѣткѣ, так же как и числительное единъ, предшествуют прилагательному и определяемому существительному.

§ 8. С разделительным союзом ли при наличии двух прилагательных, определяющих одно существительное, в обоих случаях выступает краткая форма.

Мф. 5—36. тѣко не можѣши бѣсѣ единѣго кѣтѣ ли чрѣна сѣтворитѣ. М. З. (μίαν τρίχα λευκήν... ἢ μέλαιναν).

В данной конструкции прилагательное-атрибуты характеризуют совместно с союзом ли существительное по принципу: один из двух предметов, но безразлично который, — случай, обратный уникализации предмета.

Наличие вопросительной частицы ли при прилагательном определении не всегда, однако, требует употребления краткой формы. Несмотря на то, что в семантике частицы ли заложена немалая степень неопределенности, все же другие более веские и решающие факторы могут повлиять на употребление той или иной формы. Таким фактором может оказаться, например... вышеупомянутость, когда речь идет о конкретном, ранее известном предмете („не то ли самое доброе сѣмя ты посеял?“).

Мф. 13—24 и 27. Подобно сѣтѣ цѣсѣдрѣтѣво небѣсѣное чѣлѣкоу сѣкѣзѣшоу добрѣсѣ сѣма на сѣлѣ сѣоємѣ... — пришѣдѣше же рабѣ госѣподина рѣшѣ сѣмоу госѣподи не добрѣсѣ ли сѣма сѣлѣлѣ сѣи на сѣлѣ сѣоємѣ. Ассем. к. (καλὸν σπέρμα).

Тем не менее, в Мариинском и Зографском кодексах наблюдаются следующие разночтения, очевидно вызванные семантикой частицы ли:

оуподоби сѣ црѣтѣвѣне небѣсѣное чѣлѣкоу сѣкѣзѣшоу добрѣсѣ сѣма на сѣлѣ сѣоємѣ... — пришѣдѣше же рабѣ гина рѣшѣ сѣмоу ги не добрѣсѣ ли сѣма сѣлѣлѣ сѣи на сѣлѣ тѣоємѣ... Мар. к.; оуподоби сѣ црѣтѣвѣне небѣсѣное чѣкоу сѣкѣзѣшѣмоу добрѣсѣ сѣма на сѣлѣ сѣоємѣ... пришѣдѣше рабѣ гноу рѣшѣ ги

не добро ли была елаз ери на елаѣ твоема. Зогр. к. Во втором случае краткая форма!

§ 8. Прилагательное-определение в составе конструкции родительного части имеет также краткую форму.

Мф. 10—42. иже колиждо напоитъ единого отъ малыхъ сихъ чашъ стгоудены воды. . . М. З. А. С. (ποτήριον ψυχροῦ).

Примеры из притчи о вине и мехах.

Лк. 5—36. никтоже представениѣ ризы новы не представѣатъ на ризѣ ветзхъ. (ἀπὸ φαιῶν καινῶν).

Лк. 5—37. . . никтоже не влибаатъ вина нова въ мѣхы ветзхы. (οἶνον νέον). Лк. 5—39. никтоже пивъ ветзха двие хощетъз нокоюмому гатъ ко ветзхоу луече есгъ. (πὼν παλιόν); аналогично — Мф. 9—16, 17.

В рассматриваемой конструкции краткая форма употребляется довольно последовательно¹. Эту последовательность легко объяснить значением родительного партитивного (количественно-отделительного) падежа, указывающего на „вещество конкретное неопределенное“².

В современном сербохорватском языке в данной конструкции может быть употреблена и краткая и полная форма прилагательного (*парче бела шећера*, *парче белог шећера*). В болгарском языке в данной конструкции членная форма не употребляется (*парче захар*, *чаша вода*; невозможно — *чашата водата* или *чаша водата*; с прилагательным: *парче бял захар*, *чаша студена вода*). В западно-европейских языках, например во французском, в соответствии с древним родительным — партитивным, употребляется в этих случаях частичный член (article partitif) — *un morceau du sucre*. Ф. Брюно справедливо считает, что частичный артикль имеет значение неопределенного артикля³.

§ 9. Помимо изложенных факторов первостепенного значения, требующих безусловно краткой формы, существуют и факторы, которые можно обозначить как второстепенные, ибо они, как это будет видно из материала, в иных случаях в свою очередь подчиняются другим первостепенным факторам, определяющим употребление полной формы. К второстепенным факторам, требующим употребления краткой формы, можно отнести такие переходные глаголы как имѣти и оуподобити (подобати).

а) С глаголом имѣти.

Ио. 4—11. ни поръзпала имаши и стгоуденецъ есгъ глѣвокъ отъ кѣдѣ оуко имаши кодѣ жикъ. М. З. (ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν); Ио. 6—9. есгъ стгоучитъз еде единъ иже иматъ патъ хлѣкъ бачанъ. М., бачанѣнъ. З.; бачанѣнъ. А. (ἔχει πέντε ἄρτους χρισθίνους); Мр. 9—17. прикѣзъ инъ мон къ тебе имѣштъ дхъ нѣмъ. М. З. С. (ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον); Мр. 3—30. зане глѣдѣхъ ꙗко дхъ нечистъ иматъ⁴. М. (πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει); Мр. 3—1.

¹ Единственное исключение: Мф. 26—7. пристѣпи къ нему жена имѣшти алавастръ мвра драга. М. З.; мвра драгаго. А. С. (ἀλάβαстрον μύρου πολυτίμου).

² А. И. Томсон. К синтаксису и семасиологии русского языка. Одесса, 1903, стр. 69. Он различает два случая: „Принеси кусок хлеба, дай мне глоток воды“ и т. д. выражает вещество как конкретное неопределенное, притом как пространственно ограниченное. . . наоборот, когда нужна напр. известная бутылка как предмет с известным содержанием, мы скажем; *принеси бутылку с вином*, или: *бутылку из-под вина*“ (там же; стр. 69 и 74): или: „Различие в представлениях между; дай мне один, два и т. д. *куска мыла*, и: *дай мне то масло, которое на столе*, такое же, как между: *дай мне два карандаша*, и: *дай мне твой карандаш*, т. е. во втором случае имеется в виду конкретное определенное вещество, в первом — конкретное неопределенное“ (там же, стр. 72).

³ F. Brunôt. Précis de grammaire historique. Paris, 1899, p. 368.

⁴ В аналогичных конструкциях: Мр. 7—25. имѣш: дхъ нечистъ. М. З. (πνεῦμα ἀκάθαρτον) Лк. 13—11. дхъ имѣшти неджжкъ. М. З. С. (πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας); последний случай может быть рассмотрен как предикативный.

1 Ввиду паки въ снмишге і въ тоу чѣкѣ соухѣ ржкѣ имы¹. М. З. С. (ἐξήραμεν ἔχων τὴν χεῖρα); Лк. 11—36. ште оубо тѣло твое вѣде сѣтло вѣдетъ не имы чѣсти едины тѣмѣны. М. З. (μὴ ἔχων τι μέρος σκοτεινόν).

В приведенных примерах после глагола имѣти речь идет не о каком-либо единичном, уникальном предмете; глагол имѣти лишь указывает на то, что данное лицо обладает одним из предметов определенного рода, не выделяя этот предмет и не обособляя его².

Однако краткая форма прилагательного после глагола имѣти выступает не во всех случаях³. Возможно обладание и единичным, уникальным предметом; при этом после глагола имѣти следует указание на эту единичность⁴. Это один из первостепенных факторов. Таким фактором может являться, например, и наличие фразеологического единства или лексическое значение прилагательного, требующие полной формы.

Лк. 14—2. і се чѣкѣ единъ имы водѣнзи трѣдѣ въ прѣдѣ нимѣ М. А. С. (καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος τις ἦν ὕδρωπικός); Ио. 5—24 и вѣрѣ емѣа позглакшнмоу ма имѣтѣ жикота вѣтѣнадо М. З. А. (με ἔχει ζωὴν αἰώνιον)⁵.

Зафиксированы случаи разночтения:

Мф. 4—24. прикѣдоша кѣмоу вѣа волацаѣа . . . и вѣснѣа и мѣснѣа зѣнѣа недѣгы имѣща. М. зѣнѣа З. (καὶ ὄνληνιζομένους); Мр. 4—5. авѣе прозѣвѣе зѣнѣе не имѣашѣе гѣжбины зѣмѣнѣа. (μὴ ἔχειν βάθος γῆς). Мф. 22—11, 12. видѣтѣ тоу чѣкѣ не обѣзчѣна вѣ одѣани вѣрачнѣе гѣдѣ емоу дроужѣ како вѣнѣде сѣмо не имы одѣаниѣ вѣрачнѣа М.; вѣрачнѣадо А. (μὴ ἔχων ἐνδύμα γάρμου)⁶.

б) С глаголом подобати (оуподобити).

Мф. 13—52. сего ради вѣсѣкѣ кѣнижѣникѣ наоучѣ сѣ цѣрѣтѣнѣо нѣскоумоу подобѣнѣ естѣ чѣкоу домовитоу, М. З. А. С.⁷ (ὁμοίός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομητοῦ);

Лк. 13—19. подобѣно естѣ цѣтѣнѣе нѣскоѣе зрѣноу горюшѣноу, еже приемѣ чѣкѣ. М. З. А. С. (ὁμοίχ ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως; аналогично — Мф. 13—31, М. З.); Мр. 4—30, 31. і гѣше чѣсѣмоу оуподобимѣ цѣрѣтѣнѣе вѣжнѣе ли коси прѣгѣчи приложимѣ е тѣко горюшѣнѣѣ зрѣнѣѣ еже егда вѣсѣно вѣдетѣ вѣ зѣмѣлѣ. М. З. (ὡς κόκκῳ σινάπεως); Мф. 7—24. вѣсѣкѣ оубо иже слышитѣ

¹ В аналогичных конструкциях; Л. 6—8. имѣштѣмоу соухѣ ржкѣ. М. З. (ἐπὶ ἄν ἔχουσι τὴν χεῖρα); Мф. 12—10. и се чѣкѣ вѣ тоу ржкѣ имы соухѣ. М. З. (ἀεὶ ἔχων ἐπὶ ἄν), и здесь последний случай может быть рассмотрен как предикативный. Если рассматривать его как атрибутивный, то здесь — обособленное определение, которое также требует краткой формы.

² В современном болгарском языке после глагола *имам* (*нямам*) существительное или определяющее его прилагательное выступают обычно без членной формы. Например, *имам голям чук*, *нямам книга*.

³ Зафиксированы еще следующие случаи употребления краткой формы: Мф. 13—5. не имѣша зѣмѣлѣ мѣногы М. З.; Мр. 4—5. не имѣ зѣмѣлѣ мѣногы. М.; Мф. 12—22. вѣ ко имѣа сѣтѣжѣнѣнѣ мѣнога. М. З. С. А.; Мр. 11—22. имѣтѣе вѣрѣ вѣжнѣ. М. З.; Мр. 1—34. имѣшта различны ѣсѣа. М. З.: Лк. 4—40. имѣахѣ волацаѣа недѣгы различны. М. З.

⁴ В исследуемых кодексах примера с прилагательным не обнаружено; зафиксирован пример с причастием: Мр. 12—6 ште же имѣашѣе единго сна вѣзѣвѣкѣнадо свого. М. З.

⁵ Аналогично: Ио. 3—15, 16; Ио. 3—36; Но. 5—39; Ио. 6—40; Но. 6—47; Но. 6—54; Но. 20—31; Мф. 19—16.

⁶ В этом примере, с одной стороны, глагол *имам* требует употребления краткой формы, с другой — прилагательное, определяющее предмет по его предназначению (в данном случае *врачнѣа*), почти всегда выступает в полной форме (см. § 19). Предмет в этом примере упоминается впервые, к тому же с отрицанием, и выступает в полной форме, а во втором случае в краткой (в Мар. к.).

⁷ В аналогичном контексте — Мф. 20—1. подобѣно естѣ цѣрѣтѣнѣе небѣсѣно чѣкѣоу домовитоу. М. А. С. (ἀνθρώπῳ οἰκοδομητοῦ).

словеса моѣ си и творитѣ ѣ оуподобитѣ и мѣжитѣ мѣдрюу. М. З. С. (ὁμοιωθήσεται ἄνδρι φρονίμῳ): Мф. 7—26. и вѣстѣкѣ слышан словеса моѣ си и не творан ихѣ оуподобитѣ еѣ мѣжитѣ коуѣж. М. З. А. С. (ὁμοιωθήσεται ἄνδρι υἱῶρῳ).

Отметим, что во всех приведенных примерах¹ не зафиксировано ни одного случая, где бы лексическое значение прилагательного или характер конструкции с существительным требовали употребления полной формы (т. е. где бы действовали первостепенные факторы, требующие полной формы). Краткая форма после глагола подобати (уподобити) фиксируется без колебаний, ибо глагол указывает на то, что данное лицо (предмет) обладает таким же свойством, как и лицо (предмет), определенное полным прилагательным, которое ничем не выделяется из ряда ему подобных, выступая лишь ординарным представителем этого ряда (ср. § 10а).

§ 10. Прилагательное, определяющее существительное наряду с указательным местоимением, выступает всегда в полной форме.

а) С указательным местоимением еѣ, си, се.

Мф. 25—40. понеже еѣтвористе единомуу отѣ сихѣ малыхѣ братрѣ моухѣ манашихѣ. М. З. А. С. (ἐνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων); Мф. 25—29. ѣко не имамѣ пити юже отѣ сего плода лозанадо. М. З. А. С. (ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου); Лк. 16—28. да не и ти придѣтѣ на мѣсто се мѣчаное. М. З. А. С. (εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βεσάνου); Мр. 12—43. ѣко вѣдовица си оукога мѣножитѣ вѣстѣхѣ вѣвѣже. М. З. А. С. (ἡ χήρα αὐτῆ ἢ πτωχή); Мр. 8—38. иже ко аште постыдитѣ еѣ мене... вѣ родѣ семѣ прѣмвѣдѣмѣ и прѣшанѣмѣ. М. З. А. С. (ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἀμαρτωλῷ); Мф. 12—45. тако вѣдетѣ и родоу семоу лѣкавоуемоу. М. З. (τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῃ πονηρᾷ); Мр. 13—2. рече емоу ки(ди)ши ли великаѣ си зѣданиѣ. М. З. (ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομὰς); Мр. 1—27. і оужаеж еѣ вѣси ... чѣто оуко вѣтѣ се чѣто оучение новое се. М. (τί ἐστὶν τοῦτο διδάχῃ καινῇ).

Постпозиция или препозиция указательного местоимения по отношению к прилагательному не играет в данном случае особой роли; так, последний пример в Зогр. к. имеет иной порядок слов: оучение се новое (Мр. 1—27).

б) С указательным местоимением тѣ, тѣ, то.

Мф. 24—48. аште ли речетѣ зѣлы рабѣ вѣ срѣдци своемѣ. З.; зѣлы работ. А.; зѣлы тѣ рабѣ. С. (ὁ κακὸς δούλος).

в) С указательным местоимением онѣ, она, оно.

Ио. 16—13. егда же придетѣ онѣ дѣхѣ истинны. М. З. А. С. (τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας).

Случаи употребления указательного местоимения и прилагательного как атрибутов существительного в общем немногочисленны. Сравнение исследуемых кодексов и их различий показывает, что полная форма прилагательного выполняет иногда как бы ослабленную функцию указательного слова. Указательное местоимение выступает часто в качестве дополнительного, более энергичного определения. Так, в соответствии с приведенным выше примером с указательным местоимением из Зогр.

¹ Этим исчерпываются примеры на употребление прилагательного в конструкции с существительным после глагола подобати: в текстах еще много примеров с краткой формой причастия в аналогичной конструкции, например; Мф. 13—24. оуподоки еѣ црствни некско чѣкоу сѣкѣшоу добро сѣма. М. З. А. и подобные, всегда с краткой формой причастия.

Ассем. и Савв. кн. (Мф. 24—48) в Мар. к. фиксируем: *аште ли речетъ зълы ракъ къ срѣдци косемъ*; а в соответствии с примером Мф. 26—29 можно привести аналогичный пример с разночтением: Лк. 22—18. не *идмъ пяти отъ плода сего лознаго*. З., в то время как в Мар. к. только прилагательное в полной форме: *отъ плода лознаго* (*ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου*).

В аналогичной позиции в современном сербскохорватском языке употребляется и полная и краткая форма прилагательного, хотя полная форма, бесспорно, более обычна (чаще, например, *тај лаки и лепи занат*, чем *тај лак и леп занат*). Можно предположить, вопреки мнению А. Белича¹, что употребление краткой формы в рассматриваемой конструкции — явление сравнительно позднего порядка. Об этом нам, как будто, говорят факты других славянских языков. В древнерусском в подобных случаях довольно последовательно выступает полная форма прилагательного²; в современном словенском языке, главным образом разговорном, так называемый препозитивный „член“, развившийся из указательного местоимения и являющийся позднейшим наслоением, употребляется всегда с полной формой прилагательного, а не с краткой (*ta stâri* наряду с *stâr*)³; аналогично и в болгарском языке членная форма мужского рода единственного числа присоединяется исключительно к полной форме прилагательного (*белият* наряду с *бял*). Такие диалектные формы как *нашът тѣтку, чичува син, главениковѣт прѣпур*, употребляющиеся наряду с формами типа *цървениѣ гул'амиѣ*⁴, не противоречат нашему положению: притяжательные прилагательные и местоимения (в именительном падеже), видимо, не имели во время возникновения и активизации членных форм в болгарском языке, как и в старославянском, полных форм на *-и*, и потому член мог присоединяться непосредственно к краткой форме. В дальнейшем по аналогии с прилагательными типа *червеният* могло появиться и *главениковият*. Полная форма прилагательного в современном болгарском языке не может выступать без члена (исключение звательный „падеж“ — *скѣли другарю* и некоторые архаические устойчивые сочетания типа *свети Петър*). Появление постпозитивного члена полностью нарушило прежнее соотношение полных и кратких форм; член оказался новым и более сильным выразителем определенности. Можно предположить, что в первый период его развития и активизации в болгарском языке было то же положение, что и в современном тимочко-лужничком говоре, где полная форма с членом выступает как форма определенная, а полная форма без члена, наряду с краткой, как неопределенная⁵. Затем в бесчленном употреблении краткая форма вытеснила полную, что привело, видимо, в свою очередь и к тому, что с указательным местоимением в современном болгарском языке употребляется только краткая форма (*този хубав занаят*; никогда не — *този хубавият занаят*). Трудно согласиться с мнением Л. Милетича, согласно которому в старославянской конструкции *зълы-тъ ракъ* мы имеем ту же членную форму прилагательного, что и в современном болгарском

¹ См. А. Белич, И. Голенищев-Кутузов, Н. Радосевич. Сложена придевска форма у прасловенском и њено основано значење. „III Међународни конгрес слависта“, т. I. Београд, 1939, стр. 43.

² См. Н. Wissemann. Die Syntax der nominalen Determination im Großrussischen. Leipzig, 1939.

³ F. Ramovš. Obći momenti iz razvoja slovenskego jezika. „III Међународни конгрес слависта“, т. II, 1939, стр. 37.

⁴ С. Младенов. Език на тракийските българи. София, 1936, стр. 90—91.

⁵ А. Белић, Дијалекти Источне и Јужне Србије. Београд, 1905, стр. 428.

языке¹. Указательное местоимение в старославянском языке в конструкциях типа злѣтъ-тъ рѣкъ, так же как и в конструкциях типа рѣкътъ и подобных, не имело или, по крайней мере, еще не приобрело функции члена и сохраняло свое основное демонстративное значение². Отсутствие развитой категории членных форм в старославянском языке, таким образом, не создавало тех условий, которые позже в болгарском языке привели к полному распаду исследуемой категории кратких и полных прилагательных.

§ 11. В тех случаях, когда числительное единъ употребляется в значении прилагательного „единственный“ и за ним следует другое прилагательное-атрибут, последнее имеет полную форму.

Ио. 17—3. да знаѣтъ тебѣ единого истиннаго ба... (τὸν μόνον ἀληθινὸν θεόν).

В данном случае единъ (единственный) подчеркивает уникальность предмета, его единичность. Это хорошо иллюстрирует пример разночтения в Саввиной книге, где прилагательное истиннаъ, употребленное без числительного единъ (единственный), стоит в краткой форме, несмотря на то, что в представлении писца „бог“ был понятием единичным: Ио. 17—3. да свѣдѣтъ тебѣ истинна ба.

§ 12. Несколько изолировано от всех других конструкций стоит конструкция, в которой прилагательное определяет существительное, выступающее в звательной форме. В этих случаях, как правило, прилагательное имеет полную форму именительного падежа. Известны лишь единичные случаи употребления звательной формы именного склонения и то лишь в мужском роде. Например, Мф. 23—26. фарисею свѣпе очисти поезде канѣтрѣне стеклѣници. М. (Φαρισαῖτε τυφλέ); Мф. 25—21. рече емоу гѣ его добры рабе и блага и кѣрѣне. М. З. А. С. (δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ); то же: Л. 19—17, М. З. А.

Как видно из последнего примера, обе формы могут выступать вполне равноправно. Значительно чаще употребляется полная форма именительного падежа. Например:

(Муж. р.) Мф. 25—26. гѣ его рече емоу злы рабе и лѣны. М. З.; лѣники. А. С. (πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ); Мф. 18—32. гѣ его гла емоу рабе лѣкавы. М. А. С. (δοῦλε πονηρέ); Л. 19—22. гѣ емоу ота оугтъ твоиха свѣдѣтъ ти злы рабе. М. З. А. (πονηρὲ δοῦλε); (Ср. р.) Л. 12—32. не кон св мало е стадо. М. З. А. С. (τὸ μικρὸν ποίμνιον).

¹ Л. Милетич. Прилагателни членни форми в старобългарския език. „Македонски преглед“, VIII, кн. 2. София, 1932, стр. 19; см. и другие работы Л. Милетича о членной форме в болгарском языке.

² См. об этом обстоятельную монографию: Jozef Kurz. K otázce členu v jazicích slovanských, se zvláštním zretelem k staroslověnštině. „Byzantinoslavica“. Praha, r. VII, 1937—1938, стр. 212—340; r. VIII, 1939—1947, стр. 172—288. Точки зрения И. Курца придерживался также А. Селищев, см. его „Заметки по истории русского языка“ („Уч. зап. МГПИ“ М., 1941, стр. 185). Против концепции И. Курца недавно выступил И. Гылыбов, см. кн. Иван Гылыбов. За члена в български език. „Известия на Народния музей Бургас“, т. I. София, 1950, стр. 173—227; Ив. Гылыбов. Към вопроса за члена в славянските езици с особен оглед, към старобългарския език. „Известия на Института за български език“, т. III, София, 1954, стр. 356—371 (рецензия на указанную работу И. Курца).

³ Помимо приведенных примеров, зафиксированы также: Лк. 1—3. славны тебѣнае М. З. А.; Мр. 9—25. нѣмы глаухы дшѣ. М. З. А. С.; Мр. 5—8. дшѣ нечистыи. М. З. А. С.; Ио. 17—25. отъ[чт]чи праведьныи. М. З. А. С.; Ио. 17—11. отчи сты М. А. С.; Лк. 4—34. сты бжн. М. З. А.; Мф. 19—16. оучителю блага. М.

Во множественном числе при обращении (звательный „падеж“) последовательно употребляется полная форма именительного падежа. Например: Мф. 23—16. горе вамъ кожди слѣпни. (ὄφθαλμοὶ τυφλοὶ); аналогично — Мф. 23—24, М. Лк. 5—34. еда можете сыи врачаныа доидеже женихъа естѣ съ ними. М. З. (τοὺς υἱοὺς τοῦ συμφῶνος).

В исследуемых кодексах зафиксировано лишь два случая употребления краткой формы в звательном „падеже“.

Мр. 9—19. онъ же отвѣшгавъ емоу гла . . . ѿ роде нефрныа доколѣ къ кагъ бѣдѣ. М. З. А.; нефрны. С. (ὁ γενεὰ ἄπιστος); аналогично — Лк. 9—14, нефрныа и развращенъ. М. З. А.; нефрныа и развращены. С.; при этом в Савв. кн. дана последовательно во всех случаях полная форма.

Наличие полной формы в конструкции звательного „падежа“, с нашей точки зрения, закономерно. Звательный „падеж“ является изолированной синтаксически категорией, не связанной в предложении с теми или иными членами и не способной выражать субъектно-объектные или пространственные отношения и связи. Звательный „падеж“ узко ограничен, выражая лишь обращение говорящего к лицу (изредка к предмету, который воспринимается как одушевленный), к которому направлена речь. Естественно, что лицо это известно говорящему, единично и выделяется из ряда ему подобных уже тем, что именно к нему обращено высказывание говорящего. Признак лица, выраженный прилагательным, при этом выступает особенно ярко (см. вопрос о связи яркости и неяркости признака в связи с употреблением полной или краткой формы прилагательного — § 20). Отметим также, что почти во всех зафиксированных нами случаях выступают качественные прилагательные.

Материал старославянского языка отражает процесс вытеснения формы звательного „падежа“ именного склонения (кѣрныа) формой именительного падежа местоименного (кѣрны). Исходя из значения и функции звательного „падежа“, выясняем, почему заменяющей формой оказалась именно местоименная (полная), а не именная (краткая) форма. В южнославянских языках процесс этот полностью завершен.

В современном сербохорватском языке в звательном „падеже“ всегда употребляется форма именительного падежа так называемого определенного склонения („*одређена придевска промена*“). Например, „*Казуј право, стари лупежу, колико си украо*“ (Матавуљ). Краткая форма прилагательного в звательном падеже не употребляется (исключение представляют отдельные случаи, зафиксированные в народном эпосе, например, „*млад јуначе Страхивиху Бане!*“) ¹.

В современном болгарском языке в мужском роде единственного числа при обращении употребляется полная форма прилагательного без члена (*скѣпи другарю, мили брате* и т. п.). Эту форму, с точки зрения современного состояния языка, можно считать формой звательного „падежа“, так как в остальных случаях полная форма прилагательного употребляется только с членом (*скѣпиаѣт, милиаѣт*) ².

§ 13. К числу имен прилагательных, употребляющихся в функции определения только в полной форме, относятся прилагательные, образованные от наречий места и времени, а также ряд прилагательных с локативным и темпоральным значением ³.

¹ T. Margetić. Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1899, str. 196. Здесь случаи употребления краткой формы вызваны требованиями версификации.

² Л. Андрейчин. Грамматика болгарского языка. Русск. пер. Москва, 1949, стр. 260.

³ Вопрос классификации относительных прилагательных по их значению мало разработан в лингвистической литературе. Не выяснены окончательно разряды относи-

Прилагательные, образованные от наречий места и времени. (влизѣ).
 Мр. 1—38. гла имъ идѣмъ къ близанѣмъ кѣси и грады. М. З. А. С. (εις τὰς ἐχομένους κομπούλεις), Мф. 14—15. οὔτ'αποῦρετι народи да шедъши въ близанѣмъ градыцѣ. М. З. А.; окрѣстанѣмъ. С. (εις τὰς κόμας); (окрѣстѣ).
 Мр. 6—36. отпоуеги ѣа да шедъши въ окрѣстанѣмъ селѣхъ и влесехъ. М. З. (εις τοὺς κύκλῳ ἀγρούς); Лк. 9—12. οὔτ'αποῦρετι народи да шедъши въ окрѣстанѣмъ кѣси і сѣла. М. З. (εις τὰς κύκλῳ κόμας καὶ ἀγρούς). (прѣмо).
 Лк. 19—30. гла идѣта въ прѣманѣжъ вѣсѣ. М. З. (εις τὴν κατέναντι κόμην). (вѣше); Мр. 5—7. что манѣ и текѣ исе ѣне въ влѣшнѣмъ. М. З. (τοῦ θεοῦ ὕψιστου). (Ниже) Мф. 27—51. і се катпетазма цркѣнѣ раздѣса еѣ еѣ влѣшнѣмъ краѣ до нижнѣмъ на дѣкѣсѣ. М. З. С. (ἐσχίσθη ἄνωθεν ἕως κάτω). (прѣдѣ) Лк. 14—8. егда звѣанъ вѣдѣши цѣмъ на бракъ не еѣди на прѣданимъ мѣстѣ. (εις τὴν πρωτοκλισίαν). (послѣдѣ) Лк. 14—9. и тогда начѣнеши еѣ еѣстоудомъ послѣдѣне мѣсто дражати. М. З. А. С. (τὸν ἔσχατον τόπον); Мф. 5—26, не изидѣши отъ тѣдѣ дождеже вѣздѣси послѣдѣнни кодрѣнтѣ. М. З. (τὸν ἔσχατον κοδραντήν); Мф. 27—64. і вѣдегѣ послѣдѣнѣ лѣсгѣ горѣши прѣвѣмъ. М. З. А. (ἡ ἐσχάτη πλάνη); Ио. 6—39. не погоуѣмъ отъ него нѣ влѣкрѣснѣ и въ послѣдѣнни денѣ. М. З. А. (ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ). (кромѣ) Мф. 25—30. і неключимаго раба вѣврѣсѣте къ тѣмъ кромѣштѣмъ. М. З. А. С. (εις τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον); аналогично — Мф. 8—12, М. З. С.; Мф. 22—13, М. А. (данѣсѣ). Мф. 11—23. прѣбѣли бж до данѣсѣнѣго данѣ. М. З. (μέχρι τῆς σήμερον). (оутрѣ) Ио. 12—12. къ оутрѣ же денѣ народѣ многѣ приидѣи къ празданѣкѣ. М. З. А. С. (τῇ ἐπαύριον).

тельных прилагательных, различное понимание рамок отдельных разрядов. Классификация, данная в академической грамматике русского языка применительно к современному языку, кажется нам достаточно: логичной и убедительной, стр. 300: „а) отношение к лицу: родительские наставления, детские книги; б) отношение к животному: конский базар; в) отношение к предмету неодушевленному: золотая монета; книжная торговля; морская волна; г) отношение к отвлеченному понятию: научный труд; философский диспут; д) отношение к действию: подготовительный класс; покупательная способность; е) отношение к месту: здешние жители; тамошние нравы; ж) отношение ко времени: сегодняшнее известие; вчерашний знакомый; з) отношение к числу: двойная ширина; тройная плата“, однако недостаток этой классификации для нашей работы заключается в том, что одни разделы охватывают слишком широкий круг прилагательных (например раздел „отношение к предмету“, другие — очень узкий (например „отношение к месту“). Применение такой классификации при рассмотрении случаев употребления полной и краткой формы не даст желаемых результатов. Иную, более общую классификацию предлагает Л. Андрейчин: „Относительные прилагательные... означают, например, кому принадлежит предмет (*Петрова книга, майчини грини, ловджийска пушка*), с каким местом или временем он связан (*полски билки, селски ноши, пролетен ден, лански снят*) или из какого вещества сделан (*каменна чешма, дървена лъжица*). Классификация Андрейчина также не может нас удовлетворить (хотя бы потому, что в ней притяжательные *Петрова книга* включены в относительные). Если ее принять, а она несомненно не лишена своего основания, то прилагательные *золотой* (золотая монета) и *морской* (морская волна) окажутся в различных разрядах. Рассматриваемый материал показывает, что, с точки зрения исследуемой нами категории, между прилагательным типа *золотой* и прилагательным типа *морской* — большое различие, чем между прилагательными *морской* и *тамошний*. Прилагательные, образованные от существительных локативного значения, более конкретны лексически. Поэтому мы, вслед за Андрейчиным, причисляем к временным и местным прилагательным и те, которые выражают отношение к месту и времени (образованные от наречий и выступающие всегда в полной форме), и те, которые выражают отношение к предмету, означаемому место или время (выступающие в подавляющем большинстве случаев в полной форме). Сводя эти две группы прилагательных воедино, мы, однако, не игнорируем и их различия.

В последнем примере трудно выяснить, является ли прилагательное *оутрѣи* образованным от наречия *оутрѣ* или существительного *оутро*.

Таковы случаи употребления в старославянском языке прилагательных, образованных от наречий места и времени. Все рассмотренные прилагательные входят в разряд относительных и образуют довольно тесный лексически круг слов, выражающих локативные или временные признаки предмета. К последним тесно примыкают прилагательные, образованные не от наречий, а от существительных с местным и временным значением.

(*оутро*) Мф. 6—34. не плачѣте ед оубо на оутрѣи оутрени бо деня собожа печетъ ед. М. З. (*ἢ γὰρ αὐριον*). в Савв. кн. этому примеру соответствует субстантивированное прилагательное *оутрѣи* (*оутрѣи бо печетъ ед собожа*). Мф. 27—62. Въ оутрѣнии же деня иже естъ по параскевѣнии. М. З. (*Τῆ δὲ παύριον ἡτις*). (даня) Лк. 9—3. хлѣбъ нашъ днѣсны дажда намъ крака днѣ. С.; наданежны. З.; наежштжны. М. (*τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον*). (ноштга) Лк. 2—8. и кѣхж пастыри... естрѣжше ег(р)ажж ношгнжж о егдаѣ соемѣ. М. З. А. С. (*φυλακὰς τῆς νυκτός*); Мр. 6—48. и при четврѣтѣи стражи ношгнѣи придекъ нимъ по морю хода. М. З. С. (*φυλακὴν τῆς νυκτός*). (собота). Лк. 13—16. не достоѣаше ли раздрѣшитиѣѣа отъ хъзы къ деня собогъны. М. З. А. С. (*τῆ ἡμέρα τοῦ σαββάτου*); М. 28—1. Въ вечеръ же собогъны свитѣжци къ прѣжжж собогъ. М. З. А. С. (*Ἐσπέρι δὲ σαββάτων*); Лк. 14—5. истрѣженѣа ето къ деня собогъны. М. З. А. С. (*ἐν ἡμέρα τοῦ σαββάτου*); аналогично — Лк. 4—16, М.; Лк. 13—4, М. (*κτύωνъ*) Лк. 18—18. чѣто еаткорѣ жикотъ кѣчъны наслѣдствоткоуѣж¹. М. З. А. С. (*ζωὴν αἰώνιον*); Мф. 15—41. идѣте отъ мене проклати къ огнѣ кѣчъны... М. З. А. С.; аналогично — Мф. 18—88, М. (*εἰς τὸ πύρ τὸ αἰώνιον*); Мф. 25—46. и идѣтѣ ти къ мжкж кѣчънжжѣ. М. З. А. С. (*εἰς κόλασιν αἰώνιον*); Лк. 16—9. да егда оскжѣѣате примѣтѣа къ къ кѣчъныѣа кровы. М. З. (*εἰς τὰς αἰώνιους σκηνάς*); Мр. 3—29. нѣ повиненѣ естѣ кѣчъноуѣмоу еждоу М. (*αἰώνιου κρίσεως*).

Последовательное употребление полной формы в рассмотренных сочетаниях объясняется, с одной стороны, лексическим значением существительных, с другой стороны, лексическим значением самого прилагательного *кѣчъны*, близко примыкающего к прилагательным темпорального значения. Во всех исследуемых нами кодексах прилагательное *кѣчъны* употребляется только в полной форме. И. В. Ягич в словаре к Мар. к. дает лишь полную форму: *кѣчъныи* (стр. 495). Однако в современном сербском языке возможна и краткая форма *viječan*². В представлении писца (переводчика) жикотъ *кѣчъны*, мжжа *кѣчънда*, *кѣчъныи* крскѣты определенные уникальные понятия ада или рая. Кроме того, такие сочетания, как жикотъ *кѣчъны*, огнѣ *кѣчъны*, близки по своему значению к фразеологическим единствам.

§ 14. Если прилагательные с темпоральным значением (не образованные от наречий) последовательно употребляются только в полной форме, то прилагательные с локативным значением (не образованные от наречий) выступают в исследуемых кодексах в отдельных случаях, хотя и единичных, в краткой форме.

¹ Жикотъ *кѣчъны* (жизнь *кѣчъныи*) зафиксировано в исследуемых кодексах только в полной форме: в Савв. кн. — 12 раз; в Мар. к. — 23 раза; в Зогр. к. — 18 раз; в Ассем. к. — 17 раз.

² См. Вук. Каравић Српски ријечник, изд. IV. Београд, 1936, стр. 65.

§ 16. В современном сербском языке во всех рассмотренных случаях (и в тех, когда прилагательное выражает отношение к месту и времени и образовано от наречий, и в тех, когда прилагательное выражает отношение к предмету или понятию, означающему место и время) употребляется полная форма. Например: *оближњи, околни, виши, (вишњи), предњи, последњи, данашњи, сјутарњи, јутрањи, дневни, ноћни, суботни*, а также *земљски, морски, небесни, (небески), дeсни, леви* и т. п. Притом в современном сербском языке, в тех случаях когда в атрибуте существует только одна полная форма, в сказуемом невозможно употребление краткой формы (см. далее § 40). Только полную форму имеют все прилагательные на *-ски* и прилагательные локативного и темпорального значения, выражающие отношение к отдельным строениям и учреждениям (значения, близкие к местным, — например: *кѳћни, собни, башчени*) и к некоторым отдельным единичным предметам¹. Все они объединены либо в указанные лексические группы, либо своей тесной связью с притяжательными прилагательными (прилагательные на *-ски*; см. стр. 81). Переход в разряд прилагательных, имеющих только одну полную форму, не связан исключительно с моментом словообразовательного порядка, как это можно было бы предположить в связи с суффиксом *-ски* и как это имеет место в современном болгарском языке, а с лексическим значением самого прилагательного. Так, прилагательные с суффиксом *-ан* (краткая форма) из *-ѳн-* в большинстве случаев имеют обе формы (*златан — златни; књижан — књижни*), и лишь прилагательные указанного лексического круга имеют одну полную форму (*небесни*). Это положение об употреблении только одной, полной, или двух, полной и краткой, форм распространяется в современном сербском языке не только на прилагательные, относящиеся к общеславянскому словарному фонду, известные и в старославянском языке, но и на прилагательные новые, заимствованные. Например, *сѳтни* — часовой (от турец. *saat* — „час“) — только полная форма и *челичан, челични* — стальной (от турец. *çelik* — „сталь“) — и краткая и полная форма.

Факты современного болгарского языка представляют для нас также известный интерес. Появление членной формы (*ѳт, та, то*) было решающим фактором, направившим развитие категории кратких и полных форм прилагательных по иному, чем в других славянских языках, пути. Возникла, как указывалось, тенденция замены полных форм прилагательных без члена краткими. Эта тенденция сильна и в современном языке (исключение представляют прилагательные на *-ски*, где полная форма тесно связана с суффиксом, — *български, политически*); так, многочисленными заимствования передаются обычно краткой формой: *бивши* > *бивш*, несмотря на протесты болгарских грамматистов („Руски са в днешни книжевни обиход *висши-повисок, горни, и низши = понизѳк, долни, окастрени* и до *висш* и *нисш!*“)².

§ 17. Помимо группы временных и местных прилагательных, четко выделяющихся из всех других групп, можно выделить еще несколько рядов относительных прилагательных, имеющих в исследуемых текстах преимущественно или исключительно полную форму. Такова, прежде всего, группа прилагательных, означающих отношение детали или части предмета к его целому. Это главным образом прилагательные, образованные от существительных, обозначающих какое-либо строение или сооружение, например:

¹ См. Т. Мареѳић. *Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika*. Zagreb, 1899, str. 459.

² См. А. Теодоров-Балан. *Нова българска граматика*. София, 1940, стр. 77.

Мф. 27—51. і се катапетазма црквѣнаѣ раздѣра сѧ. М. З. А. С. (τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ); Лк. 23—45. и помръзче слънце і катапетазма црквѣнаѣ раздѣра сѧ. М. З. (τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ); Лк. 4—9. и постави и на крѣѣ црквѣнаѣмѧ. М. З. А. С. (ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ).

Ряд исследователей справедливо отмечает близость значения этих прилагательных к значению принадлежности¹; следует отметить также их близость к прилагательным локативного значения.

В современном сербском языке эти прилагательные также выступают в полной форме: црквѣнѣи (см. также ниже), кѹѣнѣи, башчѣнѣи и т. п. Только полную форму в современном сербском языке имеют и прилагательные, выражающие отношение к различным частям тела: нѡснѣи, врѣтнѣи, рѹчнѣи, лѣѣнѣи, зѹбнѣи, крѡвнѣи и т. п. К сожалению, в исследуемых нами старославянских текстах подобные прилагательные не обнаружены.

§ 18. Наконец, можно выделить прилагательные, представляющие характеристику предмета по его предназначению. Эта группа охватывает довольно широкий круг прилагательных с различными оттенками значения.

Мф. 24—1. і пристѣпиша къ немуѡу оученици его показати емуѡу зданиѣ црквѣнаѣ. М. (τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ); Мф. 23—16. а иже казнетѧ сѧ златомѧ црквѣнымѧ. М. (ἐν τῷ χρυσῷ του ναοῦ).

В этих случаях также можно отметить близость значения данных прилагательных к притяжательным.

Наличие полной формы црквѣнаѣи можно объяснить также и тем, что в контексте имеется в виду одна единственная церковь, и прилагательное, таким образом, выражает отношение к единичному предмету. Однако и в других прилагательных данной группы, где подобный момент отсутствует, фиксируется, в основном, полная форма.

Лк. 16—2. въздаждѧ отъкѣтѧ о пристѣкленнѣ домѡвѣнаѣмѧ. М. З. (τῆς οἰκοδομίας); Мр. 10—4. повелѣ мѡси кѡнигы распоуѣтѣнаѣ написати. М. З. (βιβλίον ἀποστασίας); Мр. 9—42. доврѣе емуѡу естѧ паче аѣе обложатѧ каменѧ жрѡновѣнаѣ о кѡни его. М. З. (λίθος μολιχός); Лк. 17—2. оунѣе емуѡу би было аште би каменѧ жрѡновѣнаѣ възложенѧ на кѡнѣ его. М. З. (λίθος μολιχός).

§ 19. В некоторых случаях, как видно и из приведенных выше примеров, прилагательное с существительным выступает в качестве фразеологической единицы, образуя с ним вместе словосочетание, которое разложимо грамматически и соответствует прочим синтаксическим сочетаниям, но отличается от последних неразложимостью своего лексического значения. Эта лексическая неразложимость выделяет предмет из ряда ему подобных, делает его единственным в своем роде, отличным от других предметов. Поэтому наличие в таких фразеологических сочетаниях полной формы прилагательного, притом исключительно полной формы, вполне закономерно.

а) Полная форма последовательно употребляется в терминах родства:

Л. 8—42. іако дѡци иночѡдаѣ боѡше еѡму. С. В других кодексах — краткая форма, так как прилагательное входит составной частью в сказуемое: ѣко дѡци иночѡдаѣ вѣ еѡму. М. З. А. (θυγάτηρ μονογενής ἦν αὐτῷ); Ио. 1—18. бѧ никѡтѡже не видѣ николиже иночѡдаѣ сѣѧ. М. З. А. (μονογενής).

¹ См., например В. Л. Георгиева. Синтаксические функции прилагательных в древнерусском языке. Л., 1952 (канд. диссерт.).

б) В терминах, обозначающих род занятий, титул, звание:

Л. 22—52. рече же иѣ къ пришедѣшимъ на нѣ архiereвомъ і стратигомъ црквинымъ. М. З. (στρατηγούς τοῦ ἱεροῦ); Мф. 26—3. тѣгда сѣкѣраша сѣ архiereси и книжници и стараци людеци. М. З. А. С. (οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ); Мр. 2—19. еда могѣтъ снѣе брачѣни поситити сѣ (οἱ υἱοὶ τοῦ νομφῶνος).

Аналогично — Мф. 9—15, М.; Лк. 5—34. М. З.

Аналогично при именах, прозвищах: Мр. 16—40. къ ни хъ же кѣ... і маріѣ иѣкова малаго. М. З. (ἡ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ).

в) в названиях болезней:

Лк. 14—2. і сѣ члѣкѣ единѣ имѣ кодѣни трѣдѣ кѣ прѣдѣ нимъ. М. С. А. (ἄνθρωπος τις ἦν ὑδρωτικός).

Число подразделов устойчивых сочетаний можно было бы при желании увеличить; например, сочетание камена жрѣнокѣни может быть отнесено также в настоящий раздел и истолковано как технический термин.

Наконец, к числу фразеологических единиц можно причислить и такие сочетания, как, например, дѣна сѣдѣни.

Мф. 12—36. кѣзѣдѣдѣтѣ о немѣ слово къ дѣна сѣдѣни. М. З. А. С. (ἐ ἡμέρα κρίσεως).

Характерен пример из оглавления книги от Марка, где дано толкование рассматриваемого сочетания: () сѣдѣнѣма дѣнѣ си рѣчѣ о коначнѣ. М.

Однако следует подчеркнуть, что говорить о фразеологических единицах в старославянском языке в том же плане, как мы говорим о них применительно к современному русскому языку, очень трудно. Язык старославянских памятников, всего на сто лет отстоящий от языка первых переводных книг славянской письменности, не имел (или по крайней мере мы его не знаем) предшествовавшего ему литературного языка. Многие фразеологические сочетания (например, стратигѣ црквиѣни, стараци людеци и т. п.), возникшие в связи с новыми религиозными воззрениями, были в старославянском языке новыми, в основном образованными по греческому образцу. Впоследствии, с установлением более прочной книжной традиции, все они стали фразеологическими единицами, но в период написания первых старославянских памятников и их ранних копий многие из них могли еще не ощущаться таковыми. Следует также учитывать, что нашей задачей является не рассмотрение устойчивых сочетаний и их типов в старославянском языке, а объяснение наличия в них полной формы.

Если, скажем, такой пример, как „дѣна сѣдѣни“, не воспринимать в качестве фразеологического единства, то все равно наличие полной формы объясняется лексическим значением существительного дѣна, которое в сочетании с прилагательным сѣдѣнѣ означает определенное, единичное понятие.

Некоторые из прилагательных, приведенных выше (во фразеологических единствах) в функции определения употребляются только в полной форме (например, црквиѣни), некоторые (например, брачѣни, мѣма) в иных сочетаниях выступают и в краткой форме.

В современном сербо-хорватском языке в этих случаях последовательно употребляется полная форма. Например: термины родства — *стари сват* (сват), *крштени кум* (крестный); имена, прозвища — *глупи Август* („рыжий“ в цирке); названия болезней, растений, животных — *црвени ветар* (рожа), *бели лук* (чеснок), *бели медвед* (белый медведь). Вне

С указательным местоимением без колебания: Ио. 16—13. она ἀχὴ ἠστίναναι. М. З. А. С.

С числительным ἕδινα — единственный: Ио. 17—3. да знайтѣ себе ἑδινου ἠστίνανου ба. М. З. А. С. (τὸν μόνον ἀληθινὸν θεόν).

Без числительного ἕδινα — единственный: ἠστίνана ба. Ио. 17—3. С₂, хотя следовало бы ожидать ἠστίνаного ба⁷. Случай без разночтений: Ио. 15—1. аза ема лоза ἠστίνанак. М. З. А. С.₉₃. С₃. (ἐγὼ εἰμι ἡ ἀμπέλος ἡ ἀληθινή); Ио. 6—32. на отца мои дастѣ вамѣ χλѣβα ἠστінани сѣ неба. М. З. А. (τὸν ἄρτον . . . τὸν ἀληθινόν).

Случай с разночтениями: Ио. 1—9. кѣ свѣтъ ἠστінани иже проскѣштаетѣ вѣского чка. М. З.; ἠστінана А. (τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν); Ио. 4—23. на градѣтѣ година и нынѣ естѣ егда ἠστінани поклонаници поклонатѣ са. М.; ἠστінани А. (οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταί). Ио. 6—55. пакѣтѣ ко моѣ ἠστінано естѣ брашно и крокѣ моѣ ἠστінано естѣ пибо. М.; ἠστінано — первый случай. З. (ἡ γὰρ σὰρξ μου ἀληθῆς ἐστὶν βρωσις καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῆς ἐστὶν πόσις).

(нечистѣ) Употребление полной формы: Лк. 11—24. егда же нечистѣ ἀχὴ изидетѣ отѣ чка. М. З. (τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα); аналогично — (Мф. 12—43, М. З.; Мр. 1—26, [М. З.; Мр. 9—25. запрѣти ἀχου нечистου-(ου)μου гла емоу. М. З. А. С. (τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ). Аналогично — Мф. 9—25, М. З. А. С.; Лк. 8—29, М. З. А. С.; Лк. 9—42, М. З. А. С. В этих примерах полная форма употреблена, видимо, потому, что речь идет об едином злом начале, бывшем в представлении писца единичным понятием.

Мр. 5—8. гла емоу изиди дше нечистѣ отѣ чакка. М. З. (τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον). Здесь звательная форма требует употребления полной формы.

Полная форма выступает также и во множественном числе¹: Мр. 3—11. егда видѣахѣ и дш нечистѣ припадаахѣ кѣ нему. М. З. (τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα); аналогично — Мр. 5—13, М. З.; Лк. 4—36. ѣко властѣ и силоѣ келитѣ нечистѣ дхмѣ. М. З. А. (τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασιν); аналогично — Мр. 1—27, М. З.; Мф. 10—1. дастѣ имѣ властѣ на дсха нечистѣхѣ. М. З. С. (πνευμάτων ἀκαθάρτων); аналогично — Мр. 6—7, М. З.

Употребление краткой формы:

Мр. 7—25. слышавѣше ко жена о немѣ еже дзшти имѣаше дхѣ нечистѣ. М. З. (πνεῦμα ἀκάθαρτον); Лк. 4—33. кѣ знамѣшти кѣ чакѣ имѣ дхѣ кѣса нечистѣ. М.; имѣ дхѣ вѣсѣ нечистѣ. З.; вѣсѣ нечистѣ. А. (ἔχων πνεῦμα σατανίου ἀκαθάρτου); Мр. 3—30. зане глаахѣ ѣко дхѣ нечистѣ иматѣ. М. В этих случаях наличие краткой формы обусловлено глаголом имѣти.

Или: Мр. 1—23. кѣ на сонѣми(ци)хѣ чакѣ нечистомѣ дхмѣ. М. З. (ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ), аналогично — Мр. 5—2, М. З.; Мр. 7—2. видѣаше едины отѣ оученика его нечистомѣ рѣкѣма си рѣчѣ не оумакенѣма ѣдѣшѣта члѣбѣ. М. З. (ὅτι κοιναῖς χερσίν . . . ἐσθίουσιν). В первом случае — прилагательное в творительном падеже является атрибутом существительного, определяющего совместно с ним другое существительное (атрибутивная

¹ Укажем, что в текстах исследуемых кодексов слова, обозначающие злое начало, даны то в единственном числе (изиди дше нечистѣ. Мр. 5—8), то во множественном (видѣаше дш нечистѣ. Мр. 5—13).

связь не с существительным $\bar{\chi}\bar{\lambda}\bar{\kappa}\bar{\lambda}$, а с существительным $\bar{\Delta}\bar{\chi}\bar{\lambda}$, во втором — прилагательное совместно с существительным управляется действительным причастием настоящего времени, выражая образ действия.

Из многочисленных конструкций с прилагательным $\bar{\nu}\bar{\epsilon}\bar{\chi}\bar{\iota}\bar{\sigma}\bar{\tau}\bar{\alpha}$ зафиксирован только один случай разночтения:

Лк. 6—18. и страждущих отъ $\bar{\Delta}\bar{\chi}\bar{\lambda}$ $\bar{\nu}\bar{\epsilon}\bar{\chi}\bar{\iota}\bar{\sigma}\bar{\tau}\bar{\alpha}$ $\bar{\iota}\bar{\alpha}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\lambda}\bar{\alpha}\bar{\chi}\bar{\kappa}$ с.л. М. З. А.; и страждущих отъ $\bar{\Delta}\bar{\chi}\bar{\lambda}$ $\bar{\nu}\bar{\epsilon}\bar{\chi}\bar{\iota}\bar{\sigma}\bar{\tau}\bar{\alpha}\bar{\chi}\bar{\lambda}$ $\bar{\iota}\bar{\alpha}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\lambda}\bar{\alpha}\bar{\chi}\bar{\kappa}$ с.л. С. ($\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\tau}\bar{o}$ $\bar{\tau}\bar{\nu}\bar{\epsilon}\bar{\nu}\bar{o}\bar{\mu}\bar{\alpha}\bar{\tau}\bar{o}\bar{\nu}$ $\bar{\alpha}\bar{\chi}\bar{\alpha}\bar{\delta}\bar{\alpha}\bar{\rho}\bar{\tau}\bar{o}\bar{\nu}$).

Случай этот, как видно из контекста, — наиболее нейтральный; синтаксическая связь конструкции и ее лексическое значение не требуют категорически употребления полной или краткой формы¹.

Употребление полной формы в рассмотренных сочетаниях вызвано не тем, что прилагательные не отличались энергичностью проявления, а тем, что они, определяя существительное, придавали ему, в большинстве случаев, значение конкретного, часто единичного предмета или понятия². В случаях, когда не было необходимости уникализировать предмет, подчеркнуть его определенность и единичность, когда предмет, сам (совместно с прилагательным) давал качественную характеристику другого предмета или действия, употреблялась краткая форма.

Приведем еще случаи употребления прилагательного $\bar{\nu}\bar{\alpha}\bar{\rho}\bar{\alpha}\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\alpha}$.

Мф. 21—32. приде бо иона $\bar{\kappa}\bar{\rho}\bar{\iota}\bar{\sigma}\bar{\tau}\bar{\iota}\bar{\tau}\bar{\epsilon}\bar{\lambda}\bar{\alpha}$ $\bar{\nu}\bar{\alpha}\bar{\rho}\bar{\alpha}\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\alpha}$. М. ($\bar{\epsilon}\bar{\nu}$ $\bar{\delta}\bar{o}\bar{\phi}\bar{\iota}$ $\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\iota}\bar{o}\bar{\upsilon}\bar{\nu}\bar{\eta}\bar{\varsigma}$); Ио. 7—24. не сждите на лица на $\bar{\nu}\bar{\alpha}\bar{\rho}\bar{\alpha}\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\alpha}$ сждат сждите. М. З. А. ($\bar{\tau}\bar{\eta}\bar{\nu}$ $\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\iota}\bar{\nu}$ $\bar{\chi}\bar{\rho}\bar{\iota}\bar{\varsigma}\bar{\iota}\bar{\nu}$ $\bar{\chi}\bar{\rho}\bar{\iota}\bar{\nu}\bar{\alpha}\bar{\tau}\bar{\epsilon}\bar{\varsigma}$); Мф. 23—35. да придетъ на вы катъка $\bar{\kappa}\bar{\rho}\bar{\upsilon}\bar{\nu}\bar{\alpha}$ $\bar{\nu}\bar{\alpha}\bar{\rho}\bar{\alpha}\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\alpha}$ проливается на землѣ отъ $\bar{\kappa}\bar{\rho}\bar{\upsilon}\bar{\nu}\bar{\alpha}$ авела $\bar{\nu}\bar{\alpha}\bar{\rho}\bar{\alpha}\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\alpha}$ го. М. ($\bar{\alpha}\bar{\beta}\bar{\epsilon}\bar{\lambda}$ $\bar{\tau}\bar{o}\bar{\upsilon}$ $\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\iota}\bar{o}\bar{\upsilon}$); аналогично — Лк. 9—51, М. В сочетании авела $\bar{\nu}\bar{\alpha}\bar{\rho}\bar{\alpha}\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\alpha}$ го прилагательное определяет собственное имя, является частью этого имени (см. § 19).

В звательной форме:

Ио. 17—25. отъ(чт)че $\bar{\nu}\bar{\alpha}\bar{\rho}\bar{\alpha}\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\alpha}$ миръ чтеке не позна. М. З. А. С. ($\bar{\tau}\bar{\alpha}\bar{\tau}\bar{\eta}\bar{\rho}$ $\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\iota}\bar{\epsilon}$).

Во всех указанных примерах наличие полной формы закономерно; столь же закономерно и наличие краткой формы в следующих примерах:

Мф. 23—35. да придетъ на вы катъка $\bar{\kappa}\bar{\rho}\bar{\upsilon}\bar{\nu}\bar{\alpha}$ $\bar{\nu}\bar{\alpha}\bar{\rho}\bar{\alpha}\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\alpha}$ проливается на землѣ. М. ($\bar{\tau}\bar{\alpha}\bar{\nu}$ $\bar{\alpha}\bar{\iota}\bar{\nu}\bar{\alpha}$ $\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\iota}\bar{o}\bar{\upsilon}$). Здесь предмет не уникализирован (катъка, см. § 7) в противоположность $\bar{\kappa}\bar{\rho}\bar{\upsilon}\bar{\nu}\bar{\alpha}$ авела $\bar{\nu}\bar{\alpha}\bar{\rho}\bar{\alpha}\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\alpha}$ го, где одно, определенное лицо. Или: Лк. 23—50. се мѣжъ именемъ исифъ $\bar{\sigma}\bar{\tau}\bar{\kappa}\bar{\epsilon}\bar{\tau}\bar{\eta}\bar{\nu}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}$ сы мѣжъ $\bar{\nu}\bar{\alpha}\bar{\rho}\bar{\alpha}\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\alpha}$ и $\bar{\nu}\bar{\alpha}\bar{\rho}\bar{\alpha}\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\alpha}$. М. З. ($\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\eta}\bar{\rho}$ $\bar{\alpha}\bar{\gamma}\bar{\alpha}\bar{\delta}\bar{o}\bar{\varsigma}$ $\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\iota}$ $\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\iota}\bar{o}\bar{\varsigma}$); Мр. 6—20.

и родъ бо $\bar{\nu}\bar{o}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\sigma}\bar{\eta}$ с.л. иона $\bar{\nu}\bar{\alpha}\bar{\rho}\bar{\alpha}\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\alpha}$ и мѣжъ $\bar{\nu}\bar{\alpha}\bar{\rho}\bar{\alpha}\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\alpha}$ и с.л. М. З. А. ($\bar{\zeta}\bar{\upsilon}\bar{\delta}\bar{\rho}\bar{\alpha}$ $\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\iota}\bar{o}\bar{\nu}$ $\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\iota}$ $\bar{\alpha}\bar{\gamma}\bar{\iota}\bar{o}\bar{\nu}$); Мф. 23—28. тако и вы $\bar{\nu}\bar{\alpha}\bar{\rho}\bar{\alpha}\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\alpha}$ оубо $\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\tau}\bar{\epsilon}$ с.л. $\bar{\chi}\bar{\lambda}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{o}\bar{\mu}\bar{\alpha}$ $\bar{\nu}\bar{\alpha}\bar{\rho}\bar{\alpha}\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\alpha}$. М. ($\bar{\tau}\bar{o}\bar{\iota}\bar{\varsigma}$ $\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\delta}\bar{\rho}\bar{o}\bar{\iota}\bar{\varsigma}$ $\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\iota}\bar{o}\bar{\iota}$). Здесь прилагательное характеризует существительное, которое в свою очередь является определителем другого существительного — приложением ($\bar{\mu}\bar{\epsilon}\bar{\chi}\bar{\eta}$ $\bar{\nu}\bar{\alpha}\bar{\rho}\bar{\alpha}\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\alpha}$ и $\bar{\nu}\bar{\alpha}\bar{\rho}\bar{\alpha}\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\alpha}$) — или частью составного сказуемого ($\bar{\nu}\bar{\alpha}\bar{\rho}\bar{\alpha}\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\alpha}$ и $\bar{\nu}\bar{\alpha}\bar{\rho}\bar{\alpha}\bar{\delta}\bar{\iota}\bar{\kappa}\bar{\alpha}\bar{\nu}\bar{\alpha}$); не определяя непосредственно данное

¹ Краткая форма в данном сочетании более уместна, прилагательное выступает в конструкции, определяющей причину состояния, выраженного действительным причастием настоящего времени (в данном случае — субстантивированным).

² Отметим, что почти все реликтовые случаи употребления кратких форм в функции определения в русском фольклоре, например, относятся к постоянным эпитетам: *добр молодец, красна девица* и т. п. (см. примеры в статье: Я. Автомонов. Неценные прилагательные в качестве определения ЖМНП, ч. XV (новая серия), 1908, стр. 398—414).

(доуховања). Лк. 4—14. і кзврати сѧ іѣзѧ кѧ силѧ дѧхоуѧнѧ кѧ галилѧѧ. М. (ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος). (грѣшанѧ) Ио. 9—16. оки глаахѧ како можетѧ чѧкѧ грѣшенѧ лица знаменитѧ творити. М. З. А. (ἄνθρωπος ἁμαρτωλός); Лк. 5—8. ізиди отѧ мене ꙗко мѧжа грѣшенѧ есѧ гѧ¹. М. З. А. (ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι); Лк. 19—7. рѧптаахѧ гѧѧште ꙗко кѧ грѣшанѧ мѧжю вѧнде вигатѧ. М. З. А. (παρὰ ἁμαρτωλῶ ἀνδρῖ); (жикотанѧ) Ио. 6—35. рече же имѧ иѧ азѧ есѧ чѧкѧ жикотанѧи. М. З. А. (ἐγὼ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς); аналогично — Ио. 6—48, Ио. 8—12. не имѧтѧ ходити кѧ тѧмѧ наі — имѧтѧ свѣта жикотанѧаго. М. З. (ἔξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς); Ассем к.: нѧ имѧтѧ свѣта вѣчѧни.

Наличие краткой формы в конструкциях чѧкѧ грѣшанѧ, мѧжа грѣшанѧ — вполне закономерно; речь идет не об отдельном единичном лице (в данном случае — человеке, мужчине), а о лице — представителе определенного типа лиц, обладающих свойством, выраженным прилагательным, притом это лицо (человек, мужчина) ничем не выделяется из ряда ему подобных. Конструкции же типа свѣтѧ жикотанѧи близки по своему характеру к устойчивым сочетаниям (см. § 19), этим и мотивировано наличие в них полной формы прилагательного. В представлении писца свѣтѧ жикотанѧи — синоним истины единственной, уникальной. Более нейтральны остальные случаи: кѧ сѧни сѧмрѧтанѧѧ, кѧ силѧ дѧхоуѧнѧ; в них как раз и наблюдается колебание (сѧмрѧтанѧѧ — сѧмрѧтанѧѧи), краткая форма несколько преобладает над полной.

Того же типа прилагательные истинанѧ, правѧданѧ, неправѧданѧ, вѣранѧ. Этим почти исчерпываются прилагательные данного типа в исследуемых кодексах.

§ 23. Относительные прилагательные, выражающие отношение к предмету и обозначающие содержание предмета.

(тѧлесанѧ) Лк. 3—22. сѧнде дѧхѧ сѧѧи тѧлесанѧимѧ зракомѧ. М. З. (σωματικῶ εἶδει). (огнанѧ) Мф. 13—50. і кзврѧжѧтѧ ѧ кѧ пѧцѧ огнанѧѧ, М. З. С. (εἰς τῆς κάμινον τοῦ πυρός); то же — Мф. 13—42, М. А. пѧцѧ огнанѧѧѧ. З.; Мр. 9—47. неже обѧѧ очи имѧѧю ити кѧ ѧбонѧ огнанѧѧѧ. М. З. (εἰς τὴν ἕβανον τοῦ πυρός); то же — Мф. 18—9, М.; (воданѧ) Лк. 8—24. онѧ же вѧставѧ запрѧѧти вѣтроу¹ і вѧне(н)иѧ водѧноу¹моу. М. А.; морѧкоу¹моу. З. (см. § 14). (τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος). (гвоздинѧ) Ио. 20—25. онѧ же рече имѧ аште не виждѧ на рѧжоу¹ его ꙗзѧ гвѧзденнѧѧѧ. М. А. (τὸν τύπον τῶν ἤλων); Ио. 20—25. аште ни вѧлож(ѧ) рѧзѧга моего кѧ ꙗзѧ гвѧздинѧѧѧѧ не имѧ вѣрѧи. М. А. (τὸν τύπον τῶν ἤλων).

Наличие полной формы в последних двух примерах — закономерно; здесь речь идет об определенном предмете, заранее известном, хотя прежде и не упоминавшемся, — о ранах Христа (эпизод с Фомой Неверным), а не о каких-либо ранах вообще. Важно также отметить, что предмет этот занимает центральное место в повествовании о данном эпизоде. Остальные случаи относительно нейтральны.

§ 24. Относительные прилагательные, означающие материал, довольно резко отличаются от рассмотренных выше относительных прилагательных. Некоторые исследователи справедливо указывают на их особое поло-

¹ Прилагательные, выступающие атрибутом существительного, являющегося именной частью составного сказуемого, не рассматриваются отдельно, ибо они в функциональном отношении принципиально не отличаются от атрибута подлежащего или дополнения. Функция прилагательного остается атрибутивной, а не предикативной.

жение в связи с изучаемой нами категорией¹. Из всех относительных прилагательных, прилагательные, означающие материал, по своему лексическому значению ближе всего примыкают к качественным. Этим, видимо, мотивировано преобладание краткой формы.

(железные) Мр. 5—2, 3, 4. абие εραττε и отъ γροβα ἴκα нечистомъ αἷμα ἴκε жимиште имѣаше къ γροβῆχα, ἰ ни железномъ ἄκεμα его никтоже не можааше εὐβαзати зане μανογι κраты πῆται и ἄжи железныи εὐβα(за)νῆ εἰς πρῆτρῶαδᾶχᾶ εἰ отъ него ἄжа железна и πῆτα εὐκροῦσᾶαχᾶ εἰ. М.; железнаа. З. (... ἀλύσει ... ἀλύσειν ... τας ἀλύσεις); Лк. 8—29. κῶαδᾶχᾶ и ἄжи железныи ἰ πῆται εἰτρῆγῆσῆτε. М. З. С.; железными. А. (ἀλύσειν). (каменная) Ио. 2—6. εἴ же τοῦ водонога камѣна шестъ лежашѣ. М. З. А. (λίθιναι ὑδραὶ). (травяная, травяная). Мр. 15—17. ἰ εὐβαзожиша на на εἰπῆσῆσῆ травнога κῆνεца. М. З. А.; травяная. С. (ἀκάνθινον στέφανον ΜΧV—17); Ио. 19—2. ἰ κοῖνι же εἰπῆсῆсῆ κῆнаца травяна. С.; отъ травниѣ. М. З. А. (στέφανον ἐξ ἀκάνθων); Ио. 19—5. ἰ зиде же ἰс конъ нога травнога κῆнеца. М. З.; травяная. А. травяна. С. (τὸν ἀκάνθινον στέφανον).

(оцетная) Мр. 15—23. ἰ δαῖχᾶ εμοῦ пити οἰπατῆно вино. М. З. С.; озма-рено. А. (ἐσμυρτισμένον οἶνον). (бачаня, бачамѣна) Ио. 6—9. εἰсῆ отрочишѣ εἰсῆ единъ ἴке иматъ патъ χῆβѣ бачаня. М.; бачанѣна. З.; бачамѣна. А. (πέντε ἄρτους κρίθινους); Ио. 6—13. εὐκῶрашᾶ же ἰ исполаниша дѣба на дегате коша οὐκροῦχα отъ пати χῆβѣ бачаняиχα. М.; бачанѣнаиχα. З.; бачанѣнаиχα. А. (ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κρίθινων), в этом примере можно отметить момент „вышеупомянутости“ (см. Ио. 6—9). (хлебная) Мф. 16—12. τῆгда разоумѣша ἴко рече храните εἰ не отъ κῶα χῆбѣ κῶα на отъ οὐчениѣ φарисеика и садукеика. М. З. (ἀπὸ τῆς ζύμης τοῦ ἄρτου), — и в данном примере можно отметить момент „вышеупомянутости“ (см. Мф. 16—7), а также момент противопоставления двух предметов (понятий).

В эту же группу причислим и прилагательное горюшана. Лк. 13—19. подобно εἰсῆ цствие небесное зрѣноу горюшаноу. М. З. А. С. (ὁμοίᾳ ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως) (Ср. § 8).

Во всех приведенных нами примерах при первом упоминании о предмете выступает краткая форма прилагательного (исключением является лишь одна полная форма творительного падежа, представляющая различие в Ассеманиевом кодексе, — железными).

Полная форма при прилагательных, означающих материал, выступает лишь при вторичном упоминании предмета (например, хлебная, бачаняиχα) и то далеко не последовательно (ср. железнаа, железна; травяная, травянога — дважды — и травяна).

§ 25. Рассмотрим употребление качественных прилагательных, не обусловленное указанными выше лексическими, синтаксическими и иными факторами.

В так называемых свободных сочетаниях, т. е. при всех прочих равных синтаксических и иных условиях, качественные прилагательные выступают обычно в краткой форме. Краткая форма ставится тогда, когда качественное прилагательное характеризует предмет логически не акцентированный, не занимающий центрального положения в повествовании. Например:

Мр. 6—39. ἰ покаѣ имъ погадити кῶа народы... на споды на трѣкѣ зеленѣ. М. З. (ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ); Мр. 9—2. покаѣ имъ петра и иткова и изана ἰ кῶа кῶе ἰа на горѣ κῶа κῶа едини. М. З. (εἰς ὄρος ὑψηλόν); то же —

¹ См. В. А. Георгиева. Указ. соч., стр. 6.

Мф. 17—1, М. А.; аналогично — Лк. 6—5, М. Лк. 6—17. *и свидѣтъ съ ними ста на мѣсто рѣкѣ и народъ обученикъ его и множаство многа людн.* М. З. А. С. (*ἐπι τόπου πεινῆς*). Мр. 6—31. *рече имъ придѣте вѣ сами къ поусто мѣсто единн.* М.¹ (*εἰς ἔρημον τόπον*).

При этом, например, применительно к первому примеру, трудно говорить о яркости признака, выраженного прилагательным, об энергичности его проявления. Наоборот, именно в обычных признака, в том, что „зеленая трава“ в рассматриваемом контексте не выступает в центре внимания говорящего, мы и видим причину употребления краткой формы. В нейтральной позиции краткая форма преобладает, однако возможна и полная форма².

Нейтральность позиции обуславливает колебания в употреблении той или иной формы. Наиболее значительное число разночтений по различным кодексам отмечается именно за счет исследуемого положения.

Мф. 13—24. *Оуподоки са црѣтвие небеское члвкоу сѣвѣшюу довро сѣма на селѣ своемъ.* М.; *доврое З. А. (καλὸν σπέρμα)* — предмет упомянут впервые (см. § 28), или *Ио. 10—32. о'тѣвѣшита имъ ис многа дѣла довра кънихъ (къ) кагъ.* М. А. *докраа. З. (πολλὰ ἔργα καλὰ)*³.

¹ В Зогр. к. фиксируем: Мр. 6—31. *речи имъ придѣте вы сами къ мѣсто единн; этот пример свидетельствует о том, что для писца признак предмета был в данном случае выражен настолько неярко, что он вовсе счел возможным опустить его.*

² Нельзя полностью согласиться с мнением Л. П. Якубинского, полагающего, что „отсутствие члена (краткое прилагательное) показывало как неопределенность (=неопределенному члену других языков), так и собственно отсутствие члена, нейтральность“. (Л. П. Якубинский. Из истории имени прилагательного. „Доклады и сообщения института языкознания“, т. 1. М., 1952, стр. 56). Материал старославянского языка показывает, что нейтральность была, выражаясь фигурально, той почвой, где сходило на нет различие полной и краткой формы. Четкой границы, четкого разграничения функций кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке не было, — это, однако, нисколько не означает, что категория определенности и неопределенности, выражаемая различными формами прилагательного в старославянском языке, была уже нарушена или вовсе заменена другими отношениями. В современном болгарском языке в категории членных форм мы наблюдаем несколько аналогичное явление. В целом ряде нейтральных случаев возможно колебание в употреблении членной формы. Употребление существительного (или прилагательного) без члена или с членом зависит порой от языковой традиции или даже от ряда чисто субъективных моментов (например, *на село, но в градъ*, см. Б. Цонев. История на българский език, т. II. София, 1934, стр. 517—520). Однако нужно учитывать и значительное отличие категории определенности и неопределенности прилагательных в старославянском языке от категории определенности и неопределенности имени в современном болгарском языке. В старославянском языке велика роль семантического фактора, существует связь полной и краткой формы с определенным лексическим кругом прилагательного. В современном болгарском языке зависимость употребления или неупотребления членных форм от лексического значения имени — значительно меньшая (членная форма не употребляется, например, с названиями месяцев, собственными именами, географическими названиями и т. п., но известны и такие примеры как *Балканѣт, Старанджата, Миткото* и т. п.). Наконец, если категорию определенности и неопределенности прилагательного в старославянском языке рассматривать с точки зрения категории артикля в западноевропейских (и болгарском) языках, то нейтральным окажется также значительное число из тех случаев, когда в старославянском языке употребляется только полная форма (темпоральные, локативные и другие прилагательные).

³ Аналогично: Мф. 12—33. *и сътворите дрѣво довро и плодъ его довра М. З. А.; доврое. С. (τὸ δένδρον καλόν)* Мф. 12—35 *и злам члвкъ ст зламаго сакровѣшита внесити злама.* М. З. А.; *лжава. С. (ἐκ τοῦ πονηροῦ φησαυροῦ);* Мф. 15—19. *ста срѣца ко неходлатъ помышленнѣ злама.* М.; *зламак. З. (διαλογισμοὶ πονηροί);* Мф. 16—4. *редъ зламъ и рѣклюдѣти знаменнѣ шитѣ.* М.; *злам. З. (γενεὴ πονηρῶν);* Мф. 17—15. *гн помилуи снѣ мен, кко, на новы мѣстѣ кѣсноитѣ са.* М.; *на новы мѣца.* А.; *на новъ мѣк. С. (ἐλέησόν μουτὸν υἱὸν ὅτι σελήνη ἀστει);* Мф. 24—45. *кто ꙗко естъ вѣрныи рѣкъ и мждри.* М. З. А.; *вѣрныи и мждри. С. (Τίς ἄρχ ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος.);* Мр. 4—20. *а си сѣтъ сѣжани на довракъ земн.*

Вводя понятие о нейтральном положении, мы должны оговориться, что вообще вполне нейтральных случаев не так много, — обычно можно найти то или иное объяснение для употребления полной (resp. краткой) формы. Однако ни одно из этих объяснений не будет основано на наличии постоянного (первостепенного или второстепенного) определяющего фактора; такое объяснение зачастую будет опираться на ряд субъективных и случайных моментов, а поэтому мы и считаем его излишним.

Краткая форма может быть употреблена и тогда, когда предмет логически акцентирован и свойство его (в данном случае качество) достаточно энергично выражено, но предмет этот выступает как обычный для своего рода, ничем от него не обособляющийся. Например, Мф. 11—8. нз чегэ изидете видѣтѣ чѣкка ли кѣз макѣккы ризи облачена се ниже макѣкка ногатѣ кѣ домѣхъ цѣр(н)хъ). М. З. А. (*ἐν ἡλλαχοῖς κἄτιονς*).

Здесь логический акцент и энергичность признака подчеркивается придаточным определительным предложением с икѣ, которое также указывает, что предмет не выделяется из ряда ему подобных.

Полная форма, как было указано выше, возможна в нейтральной позиции, но, как правило, она выступает тогда, когда конструкция с качественным прилагательным обозначает единичный, обособленный предмет, отличный от ряда ему подобных (см. в примере не просто „тесные ворота“, как и все другие ворота с подобным качеством, а „тесные ворота в рай“). Например:

Лк. 13—24. подвизанте сѣ вѣниги сѣкѣзѣ тѣсна(т)а врата. М. З. А. С. (*τῆς στενῆς πόλης*), или: Ио. 6—51. азѣ сѣмѣз хѣкѣз жикѣи сѣшедѣи сѣкѣсѣ. М. З.; жикѣи. А. (*ἐγὼ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς*), аналогично см. § 22; здесь „тѣснага врата“ и „хѣкѣз жикѣи“ — метафорические обозначения ворот в рай и истины. Естественно, что в представлении писца, они были единичными, уникальными предметами (понятиями).

§ 26. Значительное число примеров с качественными прилагательными, зафиксированными в свободных сочетаниях, не дает нам возможности привести их все полностью, как это было сделано при рассмотрении прилагательных других типов (например, относительных — местных и временных). Укажем, что употребления качественных прилагательных, оставшиеся вне рамок нашего исследования, не включают в себе каких-либо иных, кроме изложенных выше, положений и моментов. Приведем, однако, для иллюстрации все случаи употребления одного из качественных прилагательных (зѣлѣ) в атрибутивной функции.

Краткая форма: Лк. 7—21. кѣ тѣ чѣсѣ ицѣли мѣногѣи отѣ недѣжѣи і рѣнѣи и дѣхъ зѣлѣ. М. З. (*πνευματικῶν πονηρῶν*); аналогично — Лк. 8—2. М. З.; Лк. 6—43. нѣсѣтѣ ко дрѣво доврѣ тѣсѣра плода зѣлѣи ни дрѣво зѣло тѣсѣра плода доврѣ. М. З. (*...καρπὸν σαπρὸν .. δένδρον σαπρὸν*); аналогично — Мф. 12—33, М. З. А. С. — здесь дано указание на предметы вообще, ничем не выделяющиеся из рода им подобных.

Полная форма: Лк. 6—45. зѣлѣи чѣкѣ отѣ зѣладогѣ сѣкрѣвница сѣрѣца сѣоегѣ износѣтѣ зѣлоѣ. М. З. (*ὁ πονηρὸς[ἄνθρωπος] ἐκ τοῦ πονηροῦ*); аналогично — Мф. 12—35, М. З. А. „от зѣладогѣ сѣкрѣвница“ — пример нейтральной позиции, хотя слова „сѣрѣца сѣоегѣ“ могут указывать на единичность, обособленность (учитывая полную форму в конструкции „зѣлѣи чѣкѣ“).

М.; доврѣ. З. (*ἐπὶ τῆν γῆν τῆν καλήν*); Лк. 11—13. кѣ зѣли сѣште сѣмѣкѣе даинѣкѣ вѣтѣ даѣтѣ чѣдомѣ вашнѣмѣ. М. З. А.; благѣл. С. (*δοματῶν ἀγαθῶν*).

Колебания: Мф. 16—4. родъ зала и прѣклодѣи знаменитѣи ищетѣ. М.; зала. З. (γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς). Мф. 15—19. отъ здаца во исходатъ поманишениѣ зала. М.; зала. З. (διαλογισμοὶ πονηροί).

В других случаях употребление полной (resp. краткой) формы обусловлено различными факторами. С указательным местоимением:

Мф. 24—48. аще ли речеѣтъ зала тѣ раба вѣ здаца коюема. С.; зала раба. М.; зала раба тѣ. З.; зала раба. А. (ὁ κακὸς δούλος).

Звательная форма: Лк. 19—22. гла сму отъ даца твоюхѣ здаца ти зала раба. М. З. А. (πονηρὲ δούλῃ); Мф. 25—26. гѣ его рече сму зала раба и лѣни. М. З., зала. А. С. (πονηρὲ δούλῃ καὶ ἄκηρῃ).

С местоимением качка: Мф. 7—17. тако качка доѣко докро, плоди докраи творига, а зала доѣко плоди зала творига. М. З. (πᾶν δένδρον ἀγαθόν); Мф. 5—11. и речеѣтъ качка зала гла на вѣ здаца мене ради. М. З. А. С. (πᾶν πονηρὸν ῥήμα).

С глаголом имѣти: Мф. 4—24. и прикдоша сму вѣа залаца различными здаца и страдами и дрзжимы и вѣсна и мѣсачны зала здаца имѣти. З.; зала. М. (καὶ δαιμονιζομένους καὶ σεληνιζομένους). В составе конструкции мѣсачны здаца имѣти — термин, название болезни (мѣсачны здаца). Вся конструкция означает „лунатик“ (греч. σεληνιζομένους); см. § 19.

§ 27. Таковы главные условия употребления кратких resp. полных форм качественных прилагательных в так называемых свободных сочетаниях. Основная сущность рассматриваемой категории (противопоставление полных форм кратким) выступает у качественных, а отчасти у относительных прилагательных, выражающих внутреннее свойство предмета, более четко и рельефно. Это объясняется тем, что лексическое значение качественных прилагательных, по сравнению с притяжательными и относительными прилагательными, — более общее: признак качества (*красный, добрый*) сочетается с большим кругом предметов, чем признак отношения, например, к месту или ко времени (*соседний, вчерашний*). При употреблении полных (resp. кратких) форм с качественными прилагательными лексический фактор оказывается индифферентным, в отличие от положения в отдельных группах относительных и в притяжательных прилагательных, где лексический фактор имеет решающее значение.

§ 28. В § 1 отмечалось, что теория определенности и неопределенности Ф. Миклошича, в принципе своем правильная, сводилась им и, главным образом, его толкователями, в основном, к положению о вышеупомянутости (вторичной упомянутости) и неупомянутости. Исходя из значения артикля и его употребления в западноевропейских языках и рассматривая его функцию так, как и большинство его современников, т. е. прежде всего как эмфатическую, Ф. Миклошич сравнивал артикль с полными и краткими прилагательными в древнеславянских и старославянском языке и не находил существенного различия в их значении и функции. Он пришел к выводу, что „сложные формы указывают на обозначенный прилагательным и существительным предмет, как на уже упомянутый или известный прежде, указывают поэтому, что соединение этих форм с точно названным или только присоединенным мысленно существительным происходит в акте речи данного говорящего лица не впервые“¹.

¹ F. Miklosich. Vergleichende Grammatik, Bd. IV, Wien 1883, S. 132.

Аналогичной точки зрения придерживался и Л. П. Якубинский; он полагал, что „первоначально наличие местоимения (и, ѡ, ѳ) четко ощущалось, ощущалась и указательность-релятивность этого местоимения. Сравним, например, в Зографском евангелии: „принеґоша емоу ослабленѧ (краткая форма) жилами, на одрѣ лежаштѧ... и рече ослабленоумоу“ (— этому) (местоименная форма, поскольку речь идет уже об известном расслабленном); или там же: „... и сѧртґостѣ и дѧва бѣґсна“ (краткая форма, потому что впервые говорится о неизвестных бесноватых); „отґреґшитѧ ихѧ исґходѣца люґта зѣло“ (по той же причине краткая форма); „бѣ же далеко от немґ стадо свиной много пасомо“ (краткая форма, впервые упоминается стадо свиней, какое-то стадо свиней); „аштѣ изґгониши ны повеи намѧ ити в стадо свиное“ (полная форма, так как речь идет об уже известном стаде); „изґестиша бѣґ о бѣґснѣ“ (полная форма, так как речь идет об уже известных бесноватых). Объяснение полной формы прилагательного как членной (т. е. формы с артиклем, указывающим на определенность предмета) принадлежит еще Миклошичу и является в своей основе совершенно справедливым¹.

Представление Ф. Миклошича о значении исследуемой категории кажется нам неполным, а потому и в известной мере неточным. Момент первичности и вторичности упоминания лица (или предмета) не охватывает всех моментов, связанных со значением полных и кратких форм. Понятие определенности, по нашему мнению, шире понятия вышеупомянутости. Однако и в границах последнего полная форма употребляется не всегда последовательно — это показывает анализ примеров. Отметим также, что следует различать случаи вышеупомянутости лица (живого существа) и предмета.

Рассматривая приведенные Л. П. Якубинским примеры подробнее, укажем прежде всего, что все они относятся к случаям вышеупомянутости лица (или живого существа), но не предмета. Первый пример относится к употреблению субстантивированного прилагательного (в данном случае причастия). Второй (о бесноватых) — также пример с субстантивированным прилагательным. В нем прилагательное люґта определяет краткое субстантивированное прилагательное бѣґсна. Употребление краткой формы в этом примере может быть объяснено не только фактором первичной упомянутости, но и тем, что, во-первых, при субстантивированном прилагательном в краткой форме не может быть прилагательного определения в полной форме; во-вторых, с наречием, определяющим прилагательное (зѣло), также обычна краткая форма; в-третьих, обособленное определение выступает, как правило, в краткой форме. Таким образом, употребление прилагательного люґта в краткой форме обуславливается в данном случае еще целым рядом факторов. Третий пример (о свиньях) является единственным, зафиксированным нами в текстах, характерным примером на вышеупомянутость лица (живого существа). Пример этот, к сожалению, также не может быть признан классическим, так как в нем в одном из случаев (либо в первом, либо во втором) выступает существительное. В тексте каждого кодекса он повторяется несколько раз:

1-й раз: Мф. 8—30, 31. бѣ же далеко отъ неѣхґ стадо свиной много пасомо бѣси же молѣхґж и глґґце аще изґгониши ны повеи намѧ [и] ити вѧ стадо свиное. М. Э. А. С. (ἦν δὲ μακρὰν ἀπ' αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἀπόστειλον ἡμᾶς εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων).

¹ Л. П. Якубинский. Из истории имени прилагательного, стр. 55.

2-й раз. Мр. 5—11, 12. вѣ же тоу стадо скино паромо велие при горѣ
і молиша и вѣси вѣши гл҃аште порзали ны вѣ скиниѣ, да ва на ванидемѣ.

М. З. (ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τῷ ὄρει ἀγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν λέγοντες πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν).

3-й раз: Лк. 8—32, 33. вѣ же тоу стадо скиноѣ много паромо вѣ горѣ
и молиша и вѣси да повелитѣ имѣ ванити вѣ стадо скиноѣ. . . и ш҃адише же
вѣши ванидѣ вѣ стадо скиноѣ. С. (ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλῃ χοίρων ἰκανῶν βοσκομένων
ἐν τῷ ὄρει καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκεῖνους νισελθεῖν. . .
ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἐνθρόπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους).

Этому последнему примеру в других кодексах соответствует текст без прилагательных: вѣ же тоу стадо скинни много паромо вѣ горѣ
і молиша и да повелитѣ имѣ вѣ ты ванити. . . ш҃адише же вѣши от чька
ванида вѣ скиниѣ. М. З. А. В третьем примере (в Саввиной книге) в трех
случаях полная форма.

Третий пример указывает на известную факультативность употребле-
ния полной и краткой формы прилагательного-определения (по крайней
мере, для писца Саввиной книги) при первом упоминании лица (живого
существа) и свидетельствует о том, что в этом отношении нет полной
четкости в языке старославянских памятников. Вышеупомянутость и
невышеупомянутость, воспринимаемая как определенность и неопреде-
ленность лица (живого существа), может быть поэтому усилена указа-
тельным или неопределенным словом. Такое усиление мы наблюдаем как
раз в примере, где прилагательное выступает в обоих случаях (этот при-
мер, не считая приведенного выше третьего примера из Саввиной
книги, в исследованных текстах — единственный).

Мр. 12—42, 43. і пришедиши едина вдовица оубога вквръже дѣвѣ
лептѣ. . . і призъвавъ оученики своѣя рече имѣ амина гл҃ѣхъ вамѣ вѣко вдовица
си оубога мамножѣе вѣсѣхъ вквръже. М. З. (καὶ ἐλθούσα μία χήρα πτωχή
ἔβαλεν λεπτά δύο. . . καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς ἀμὴν
λέγω ἡμῖν ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἢ πτωχή πλεον πάντων βέβληκεν. . .).

То же — Лк. 21—2, 3. видѣ же и едина вдовица оубога. . . и рече. . .
вѣко вдовица си оубога. М. З. А. С. (εἶδεν δὲ τινὰ χήραν πενιχράν. . . καὶ
εἶπεν. . . ὅτι ἡ χήρα ἢ πτωχή).

Случаи вышеупомянутости предметов в исследуемых текстах более
многочисленны; в них нет строгой последовательности употребления
начала краткой, а затем полной формы.

Мр. 5—3, 4. (чкѣ)и же жилиште имѣаше вѣ гровѣхъ і ни желѣзномѣ
жжема никтоже не можадише его свѣзати за нѣ емоу много кратгы пѣты
і жжи желѣзны свѣзанѣ жшти прѣтравѣахъ са отъ него жже желѣзна
і пѣта жкросѣахъ са. З. (ἄνθρωπος. . . ὅς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς
μνήμασιν, καὶ οὐδὲ ἀλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις
πέδαις καὶ ἀλύσειν δεδέσθαι καὶ διεσπάσθαι ὑπ' αὐτοῦ τὰς ἄλύσεις καὶ τὰς
πέδας συντετριῶσαι). Однако в Мар. к. находим: . . . претравѣахъ са отъ него
жже желѣзна — во всех случаях краткая форма.

Или: Мф. 13—45, 46. подобно естѣ цѣрѣтѣко нѣое чл҃коу иш҃циному
добрѣ висѣрѣ иже обрѣтѣ многочѣнны висѣрѣ ш҃аѣ продастѣ вѣ имѣние
своѣ. С. (πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεῖα τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ ζητοῦντι
καλοὺς μαργαρίτας εὐρῶν δὲ ἓνα πολύτιμον μαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα
ἅσα εἶχεν).

Однако в других кодексах мы находим краткую форму; употребление
ее обусловлено иным фактором, наличием числительного (неопреде-

ленного местоимения) единъ: ниже одрѣтъ единъ многочѣнна висара М.; единъ многочѣнна. З.; единого многочѣнна. А.

Или: Лк. 5—37. и никтоже не вливаетъ вина нова въ мѣхы ветъхы аще ли же ни просадитъ вино новое мѣхы. М. З. (*καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μήγε, ῥήξει ὁ οἶνος ὁ νέος τοὺς ἀσκοὺς*).

Употребление полной формы во втором случае закономерно. Однако в следующем примере в соответствии с греческим оригиналом в обоих случаях краткая форма:

Мф. 9—17. ни вливаютъ вина нова въ мѣхы ветъхы аще ли же ни просадитъ са мѣхи и вино пролетѣтъ са и мѣхи погибаетъ нъ вино ново въ мѣхы новы вливаютъ. М. (*οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μήγε, ῥήγνυνται οἱ ἀσκοὶ καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται· ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς*).

В этом примере быть может в представлении писца речь шла не об одном и том же предмете, о котором говорится во второй раз, а вообще о предмете отвлеченно. Тем не менее, едва ли убедительно такое объяснение; это видно из следующего примера. В том же кодексе и в том же контексте находим:

Мр. 2—22. и никтоже не вливаетъ вина нова въ мѣхы ветъхы аще ли же ни просадитъ вино ново и вино пролетѣтъ са и мѣхи погибаетъ нъ вино новое въ мѣхы новы лифти. М. З. (*καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μή, ῥήξει ὁ οἶνος τοὺς ἀσκοὺς, καὶ ὁ οἶνος ἀπόλλυται καὶ οἱ ἀσκοί*). В греч. тексте вѣон употреблено только один раз.

Закономерно (по теории Миклошича) и употребление краткой формы в следующем примере, где предмет упоминается впервые:

Мф. 13—24, 38. оуподоби са црѣткне небеское цквоу сѣвншоу докро сѣма на сѣлѣ коема. . . следует притча и затем разъяснение этой притчи . . . а село сѣтъ кеса миръ докрое же сѣма се сѣтъ снѣс црѣткнѣ. М. (*ομοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ. ὁ δὲ ἀγρὸς ἐστὶν ὁ κόσμος· τὸ δὲ καλὸν σπέρμα οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας*). Однако в других кодексах в том же контексте, и в первом и во втором случае, употребляется полная форма — докрое сѣма. З. А. 162, 163.

Или: Мр. 4—8, 20. (Из притчи о сеятеле). . . и дрогаетъ паде на земи докрѣ и дваше подъ . . . затем толкование: а еи сѣтъ сѣмни на докрѣ земи ике смышатъ слоко. М. (*καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλὴν, καὶ ἐδίδου καρπὸν. . . καὶ ἐκείνοί ἐσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπυρέντες, οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον. . .*).

В этом примере, и в первом и во втором случае краткая форма.

Можно снова предположить, что в данном примере писец не стремился подчеркнуть того факта, что семя упало именно на ту же (упомянутую выше) хорошую почву, говоря о ней более отвлеченно (вообще на хорошую почву), однако пример из Зографского кодекса (см. ниже) противоречит этому. Нельзя также согласиться и с объяснением А. Вайана. А. Вайан указывает на два случая неизменного употребления краткой формы — в застывших оборотах и в названиях праздников, приводя как раз рассматриваемый нами пример — сѣмни на докрѣ земи (Мар. к. IV—20)¹. Применительно к старославянскому языку очень трудно говорить об устойчивых сочетаниях и оборотах (см. §§ 18, 19). Об этом свидетельствует и следующий пример:

¹ См. А. Вайан. Руководство по старославянскому языку. Русск. пер. М., 1952, стр. 201.

Мр. 4—20. а си сѣтъ сѣани на доврѣ земли. З. (пример, где „хорошая почва“ повторяется во второй раз; лист с примером из Мр. 4—8 — в кодексе утерян).

Однако в том же Зографском кодексе есть примеры, когда в обоих случаях употреблена краткая форма.

Мф. 13—8, 23. дрυγαа же падаѣ на земи доврѣ і даѣхѣ плодѣ... а сѣаное на доврѣ земи сѣ сѣтъ сѣани слово. М. З. (ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν καὶ ἐδίδου καρπόν... ὁ δὲ ἐπὶ τὴν καλὴν γῆν σπαρείς οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνίεις). Аналогично: Лк. 8—8, 15. а дрυгоа паде на земи доврѣ... а еже на доврѣ земи си сѣтъ ике доврома срѣда цема... М. З. А. С. (καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν... τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῆ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ...).

Или: Ио. 19—2, 5. и кони сѣплетѣше кѣнца отѣ трѣниѣ кѣзложиша на глакѣ емоу и кѣ риѣ прѣпрѣданѣ овлѣша... изиде же иѣ кѣнѣ носа трѣнокѣ кѣнца и прѣпрѣданѣ риѣ. А. (καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέδηξαν αὐτῷ τῇ κεφαλῇ καὶ ἰμάτιον πορφυρῶν περιέβαλον αὐτόν... ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω φορῶν-τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυρῶν ἰμάτιον).

Этот пример полностью соответствует положению Миклошича о вышеупомянутости, однако, в других кодексах фиксируем: кони же сѣплетѣше кѣнца трѣниѣ и кѣзложиша на глакѣ емоу и кѣ риѣ прѣпрѣданѣ овлѣ кѣнѣ... изиде же иѣ кѣнѣ носа трѣнокѣ кѣнца и прѣпрѣданѣ риѣ. С.; кѣнца отѣ трѣниѣ; 2-й случай: трѣнокѣ. М. Здесь уже только прѣпрѣданѣ в полной форме и, наконец, в Зографском кодексе фиксируем только краткие формы во всех случаях: і кони сѣплетѣше отѣ трѣниѣ кѣнца кѣзложиша на глакѣ емоу і кѣ риѣ прѣпрѣданѣ овлѣ ша... изиде иѣ кѣнѣ носа трѣнокѣ кѣнца і прѣпрѣданѣ риѣ. З.

Этим почти исчерпываются примеры на вышеупомянутость лиц или предметов в исследуемых текстах. Фактор вышеупомянутости можно считать одним из моментов проявления категории определенности и неопределенности прилагательных в старославянском языке, однако его никак нельзя признать основным, центральным моментом рассматриваемой категории. Само по себе употребление полной формы при вышеупомянутости в старославянском языке — непоследовательно. Это свидетельствует о неустойчивости рассматриваемого фактора в случаях, когда прилагательное выступает в функции определения. При субстантивации употребление сначала краткого, а затем полного прилагательного более закономерно (см. § 45).

В современном сербохорватском и словенском языках употребление кратких и полных форм при первичном и вторичном упоминании лица (предмета) и в принципе то же, что и в старославянском языке, но менее последовательно.

§ 29. Некоторые прилагательные на -скѣ (небесскѣ, земскѣ, морскѣ) были уже рассмотрены выше, в § 13, наряду с прилагательными с другим суффиксом (земанѣ, небесанѣ); однако для более полной характеристики этой группы прилагательных необходимо их специальное рассмотрение в целом.

Выделение прилагательных на -скѣ в отдельную группу можно считать оправданным потому, что эти прилагательные в старославянском

языке, в отличие от современных славянских языков, имели довольно ограниченный и замкнутый круг значений, во многом определявший употребление полной (resp. краткой) формы в атрибутивной функции. Суффикс *-лкѣ*, по справедливому замечанию А. Мейе, „служит для образования прилагательных от существительных, обозначающих место, например *назарскѣлкѣ*... , вне этого главного типа число примеров не очень велико, и здесь уже немало случаев, когда другой суффикс того же значения конкурирует с *-лкѣ* (*члѣкѣчлѣскѣ* „*τοῦ ἀνθρώπου*“ З. М. С., но *члѣкѣчлѣ*, Асс.)“¹. Вне главного, основного типа локативных прилагательных с суффиксом *-лкѣ* в исследуемых текстах зафиксированы почти исключительно прилагательные со значением родовой притяжательности. Прилагательные на *-лкѣ* тесно соприкасаются с другой лексически и морфологически обособленной группой — группой притяжательных прилагательных. Этот факт отмечался рядом исследователей, которые даже включали группу прилагательных на *-лкѣ* в разряд притяжательных прилагательных². Такую классификацию, с точки зрения современного состояния славянских языков, нельзя признать достаточно обоснованной, но в применении к старославянскому языку, учитывая при этом специфику рассматриваемой нами категории, ее можно считать приемлемой³. В современных славянских языках легко выделить немалое число прилагательных на *-ски* и с качественно-относительным значением, притом в них оттенок качественности бывает часто очень значителен. В старославянском языке прилагательные на *-лкѣ* имели почти всегда чисто относительное значение. Прилагательные на *-лкѣ*, образованные от существительных, означающих место, были тесно связаны по своему смысловому значению с притяжательными прилагательными (прилагательными родовой притяжательности), ибо само отношение к месту ощущалось как принадлежность определяемого предмета к этому месту⁴.

В зависимости от семантики существительного (имя собственное или нарицательное и т. п.), от которого образовано прилагательное, значение последнего может быть более или менее конкретным. Этот момент необходимо постоянно учитывать при рассмотрении случаев употребления краткой (resp. полной) формы прилагательного.

а) Прилагательные на *-лкѣ*, образованные от собственных имен существительных означающих место. Прилагательное на *-лкѣ* служит для обозначения названий стран, рек, гор, городов и т. п. (*странѣ*, *землѣ*). Например, Мр. 5—1. *и прижд... къ странѣ гадаринскѣ*. М. З. (*την χώραν τοῦ Γαδρηῶν*); Мф. 15—21. *ѣ отиде къ странѣ тоурѣскѣ и ердонѣскѣ*.

¹ A. Meillet. *Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave*, II p. Paris 1905, p. 330.

² Такого мнения придерживался И. И. Срезневский; прилагательные типа *детский*, *отцовский* он относил к притяжательным (см. его „Мысли об истории русского языка“. СПб., 1887, стр. 58). За ним следовал В. А. Богородицкий; он ставил в один ряд прилагательные *Иванов*, *отцов*, *братнин*, *сельский* (см. его „Общий курс русской грамматики“, изд. 5. М., 1935, стр. 157). Это же положение принимали и некоторые другие русские ученые; из иностранных укажем на Л. Андрейчина (см. сноску в § 11).

³ А. Вайан полагает, что „имя прилагательное на *-скѣ* в известной мере трактуется как притяжательное прилагательное; суффикс *-скѣ* в этом случае образует производные прилагательные от групп в отличие от притяжательных прилагательных на *-вѣ* и др., образуемых от названий отдельных лиц“. А. Вайан. Руководство по старославянскому языку, стр. 235.

⁴ Подобное разграничение особенно трудно и пожалуй даже невозможно провести в таких, например, случаях, как старцы иудейски. Здесь неизвестно как перевести: „старцы иудейские“ (т. е. иудеев) или „старцы Иудеи“ (страны), — возможно и то и другое.

М. З. А. С. (τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος); Мр. 6—53. и прѣдѣлкѣ приидѣ на землѣхъ Һенсаретскѣхъ и приидѣ на ¹. М. З. (τὴν γῆν Γεννησαρέτ).

Почти независимо от греческого оригинала в данных случаях преимущественно выступает краткая форма; полная форма встречается довольно редко и притом непоследовательно, в разночтениях ².

Это же положение отражают и следующие примеры: (прѣдѣла) Мф. 15—39. и приидѣ къ прѣдѣламъ магдаланаскѣмъ. М. З. А.; къ прѣдѣламъ магдаланаскѣмъ. С. (в соответствии с греч. εἰς τὰ ὄρια Μαγδαλάν). (ὄκλας τῆ) Лк. 8—38. и молниѣ и касѣ народа ὄκλας τῆ γαдаринѣσκѣ. М.; γερῳγεννησκѣ. С. А. (τῆς περιχώρου τῶν Γερῳσηνῶν). (гора) Лк. 22—39. и ишедѣ иде по скачаню къ горѣхъ ελεонѣскѣхъ. М. З. (τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν)³. (градъ) Ио. 4—5. Приидѣ же ἡστὴ къ граду самарѣскѣ нарицаема εὐχαρά. М. З.; самарѣскѣ. А. (εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας)⁴. (озеро) Лк. 5—1. и тѣ къ εὐθα

¹ Ср. аналогичный пример: Мф. 14—34. и прѣдѣлкѣ приидѣ къ землѣхъ Һенсаретскѣхъ; С., в соответствии с греч. ἐπὶ τὴν γῆν εἰς Γεννησαρέτ; в других кодексах землѣхъ Һенсаретскѣхъ М. З. А.

² Только краткая форма: Мф. 8—28. и приидѣвшюу емоу... къ странѣхъ Һерѣсенскѣхъ. М. З. А. (εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν). землѣхъ герагенненаскѣмъ. С.; Мф. 11—24. къ землѣ содомскѣ отърадѣнкѣ бѣдетъ. М. З. (ὅτι γῆ Σοδόμων); Мр. 8—10. приидѣ къ странѣ дѣлѣманотутанаскѣ (τὰ μέρη Δαλμανουθᾶ); Лк. 3—1... четвертью вѣстѣ εὐθουѣ и трахенитѣскѣхъ ст(р)аноу. М.; страхонитѣскѣхъ. З. А.; страхотѣскѣхъ. С. (τῆς Ἰτουραίας καὶ Τραχωνιτιδῶν χώρας); Мр. 1—28. и изидѣ слоуѣхъ его агне во вѣскѣ странѣхъ гаанаскѣхъ. М. З. (τῆ περιχώρου τῆς Γαλιλαίας). Разночтения: Лк. 8—26. прѣдѣла на землѣхъ гадаринѣскѣхъ (и). М.; Һенсаретскѣхъ. З.; гадаринѣскѣхъ. А. С. (εἰς τὴν χώραν τῶν Γερῳσηνῶν); Мф. 2—22. отидѣ въ с(р)анѣхъ гаанаскѣхъ. А.; гаанаскѣхъ. ж. С. (εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας); Лк. 3—3. и приидѣ во вѣскѣ странѣхъ Һерданѣскѣхъ. М. З. С.; Һерданѣскѣхъ. А. (τὴν περιχώρου τοῦ Ἰορδάνου); Мф. 10—15. отърадѣнкѣ бѣдетъ землѣ содомскѣ и Һерданѣскѣ. М. содомскѣ и Һерданѣскѣ. З. (γῆ Σοδόμων καὶ Ἰορδάνων); Мр. 1—5. и исхождаше къ нѣмоу вѣскѣ Һерданѣскѣ странѣ. М.; вѣскѣ Һерданѣскѣ. З.; Һерданѣскѣ. А.; Һерданѣскѣ. С. (паса ἡ Ἰουδαία χώρας); Мф. 3—5. исхождаше къ нѣмоу вѣскѣ Һерданѣскѣ. ж. С. и вѣскѣ странѣ Һерданѣскѣ. А.; Һерданѣскѣ. С. (ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου); Ио. 3—22. приидѣ ἡστὴ и оученици его въ Һерданѣскѣхъ землѣхъ. М.; въ землѣхъ Һерданѣскѣхъ. А. (εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν). Отметим единственный случай с полной формой без разночтений: Лк. 1—65: и кыста на вѣскѣхъ страхѣ. . . и въ вѣскѣ странѣхъ Һерданѣскѣхъ. М.; въ вѣскѣ горни Һерданѣскѣхъ. А. (ἐν ὅλῃ τῇ ὄρεινῃ τῆς Ἰουδαίας).

Только краткая форма: Мр. 7—31. ишедѣ ἡστὴ отъ прѣдѣлкѣхъ турѣскѣхъ и сидонѣскѣхъ. МЗАС (τῶν ὄριων Τύρου καὶ Σιδῶνος); Мр. 7—24. кыставѣ идѣ къ прѣдѣлкѣхъ турѣскѣхъ и сидонѣскѣхъ. М. З. (τὰ μεθόρια Τύρου καὶ Σιδῶνος); Мр. 7—31. приидѣ. . . между прѣдѣлкѣхъ декаполѣскѣхъ. М. З. А. С. (μέσον τῶν ὄριων Δεκαπόλεως); Мр. 10—1. приидѣ къ прѣдѣлкѣхъ Һерданѣскѣхъ. М. З. (τὰ ὄρια τῆς Ἰουδαίας); то же — Мф. 19—1, М.

³ В том же контексте соответственно с греч. τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν только краткая форма еще в четырех случаях: Мф. 21—1, М. С.; Мф. 24—3, М. А. С.; Мр. 11—1, М. З., Мр. 13—3, М. З.; и в четырех случаях разночтения: Мф. 24—30. ελεонѣскѣхъ. М. А. С.; ελεонѣскѣхъ. З.; Мф. 14—26. ελεонѣскѣхъ. М.; ελεонѣскѣхъ. З.; Лк. 19—37. ελεонѣскѣхъ. М.; ελεонѣскѣхъ. З.; Ио. 8—1. ελεонѣскѣхъ. М.; ελεонѣскѣхъ. З.

⁴ С существительным градъ только краткая форма: Лк. 1—26. посланѣ кыста. . . къ граду гаанаскѣ. М. З. А. (εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας); Лк. 2—4. кынде же носифѣ стѣ гаанаскѣ из града назарѣтѣска. М. З. А. С. (ἐκ πόλεως Ναζαρέθ); Лк. 4—31. кынде ἡστὴ къ капернаоуѣ въ градѣ гаанаскѣ. М. З. А. (εἰς... — πόλιν τῆς Γαλιλαίας); Лк. 24—49. кы же скѣдѣте къ граду Һерусалимѣскѣ. М. З. А. (ἐν τῇ πόλει Ἰερουσαλήμ); Лк. 5—17. иже бѣхѣ пришлѣн отъ вѣскѣ вѣскѣ гаанаскѣ и Һерданѣскѣ и Һерданѣскѣ и Һерданѣскѣ. М. З.; вѣскѣхъ вѣскѣ и Һерданѣскѣ и Һерданѣскѣ. А. (ἐκ πάσης χώρας τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας); Лк. 9—52. кынде вѣскѣ оамерѣтѣскѣхъ. М. З. (εἰς κώμην Σαμαρειτῶν). Краткая форма не преобладает при названии городов по области или по другому городу, например: Лк. 4—27. нѣманѣ соурѣскѣхъ. М.; соурѣскѣхъ. А. (Ναζαρέθ ὁ Σύρος); Лк. 4—26. къ сарѣфѣ сидонѣскѣхъ. М. А. С. (εἰς Σαρέφτῃ τῆς Σιδωνίας); Мр. 1—9. отъ назарѣта гаанаскаго. М. З. С. (ἀπὸ Ναζαρέτ τῆς

нѣъ при озерѣ ѣнисаретѣцѣ. М. З. А. (παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ). (морѣ) Мф. 15—29. нѣъ иде при мори галлициѣцѣ. М. З. (τὴν θάλασσαν πῆς Γαλιλαίας)¹. (поуѣтѣини). Мф. 3—1. проповѣдалъ къ поуѣтѣини нерданѣцѣ. А. (ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας)².

Таковы случаи употребления прилагательных, образованных от собственных имен существительных, означающих место и выступающих в атрибутивной связи с существительными локативного значения (страна, градъ, морѣ). В них наблюдается отсутствие закономерности в употреблении полной (resp. краткой) формы; преобладающее число примеров зафиксировано с краткой формой, меньшее число аналогичных примеров с полной формой, число разночтений — весьма значительно. Это объясняется тем, что лексическое значение рассмотренных конструкций прилагательное + существительное столь определено, что в этом отношении нет нужды в каком-либо дополнительном показателе (ср. подобное положение с притяжательными прилагательными). Само по себе сочетание типа градъ самарѣцѣ не может означать неединичный, неопределенный предмет. Поэтому полная форма как бы индифферентна к подобным случаям, — она может и наличествовать и отсутствовать, не нарушая этим определенности, единичности, которая заложена в самом лексическом значении данного сочетания³.

То же приблизительно отношение наблюдается в примерах, где определяемое существительное не локативного, а иного значения.

Мф. 1—11. къ прѣселениѣ кавилонѣцѣ. С; къ прѣселени бабилонѣцѣ. А. (ἐπὶ τῆς μετοικεσίας βαβυλῶνος). Мф. 1—12. по прѣселени же кавилонѣцѣ. С; кавилонѣцѣ. А. (τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας)⁴.

Галилаѣцѣ; то же, Мф. 3—13, А.; Мф. 21—11, М. С.; Мф. 2—1. въ вѣнокѣ нюдѣцѣ. С. А. (ἐν βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας); то же, Мф. 2—5, С.; нюдѣцѣ. А.; Лк. 23—51. отъ аримѣцѣ града нюдѣцѣ. М. З. (ἀπὸ Ἀριμαθαίας πολέως τῶν Ἰουδαίας); Ио. 12—21. отъ вид(в)санды галлѣцѣ. М. З. А. (τῷ ἀπὸ Βηθσαιδα τῆς Γαλιλαίας); Ио. 2—1. въ кана галлѣцѣ. М. З.; галлѣ. А. (ἐν Κανᾶ τῆν Γαλιλαίας); то же. Ио. 2—11, М. А.; галлѣ. З. Наконец, случай с разночтением: Ио. 21—2. от кана галлѣцѣ. М. З.; галлѣцѣ. А.

¹ В трех остальных случаях зафиксированы разночтения, в том же контексте: Мф. 4—18. галлѣцѣ. З. А.; галлѣцѣ. С.; то же, Мр. 1—16. галлѣцѣ. З.; галлѣцѣ. М.; Мр. 7—31. на морѣ галлѣцѣ. М. А. С.; галлѣцѣ. З. В аналогичных примерах: Ио. 21—1. Бѣнъ са пакы нѣъ оучникѣ своимъ на мори таверѣцѣ. М. З. А. (τῆς θάλασσης τῆς Τιβερίδος); Ио. 6—1. иде нѣъ на оныя поля морѣ галлѣцѣ таверѣцѣ. М.; таверѣцѣ. З. А. (τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβερίδος).

² Остальные примеры с прилагательными, образованными от собственных имен существительных, означающих место: Мф. 3—6. нѣъ крыцажъ са въ ерданѣцѣ рѣцѣ. С. А. (ἐν τῷ Ἰορδὸνῃ ποταμῷ); то же: Мр. 1—5, М. З. А. С.; Лк. 6—17. множество много людин. . . и отъ нѣрѣма и померѣ тоурѣ и сидѣнѣ. М. А. С.; тѣурѣ. З. (τῆς περὶ τοῦ Γόρρου καὶ Σιδῶνος); Ио. 18—1. на оныя поля потока кѣдрѣ. М. З. А. С. (τοῦ χειμάρρου τῶν Κέδρων); Ио. 9—7. оумынъ са въ коупѣ сидѣнѣцѣ. М. З.; сидѣнѣ. А. (εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ Σιλωᾶ); Лк. 13—4. на наже падѣ стѣлѣ сидѣнѣцѣ. М. З. (ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωᾶ).

³ Ср. подобную непоследовательность в употреблении членной формы с географическими названиями в современном болгарском языке, где член выступает иногда лишь в силу языковой традиции, а не какой-либо строгой закономерности: *Дунавѣтъ*, но *Марица* и т. п. На это же явление указывал Л. П. Якубинский: „Аналогичные явления мы найдем и в языках с ярко выраженной категорией определенности и неопределенности. Ср. во французском яз. Paris — „Париж“ без члена, потому что определенность дана в лексическом значении слова, что „Новгородъ“, но le Havre — „Гавр“ с определенным членом по той же причине, что и „Новый торг“ (История древнерусского языка, М. 1953, стр. 213—214).

⁴ Ср. также: Мф. 1—17. до прѣселени кавилонѣцѣ. . . и отъ прѣселени кавилонѣцѣ. С. А. (в обоих случаях τῆς μετοικεσίας βαβυλῶνος).

Заметим, что в этом случае преобладает полная форма (ср. с греческим оригиналом). Случаи, где определяемое существительное со значением лица, рассмотрены ниже.

б) Несколько иное положение было в тех случаях, когда прилагательное образовалось от нарицательного имени существительного, означающего место (небеса¹, земля², морья³ и т. п.). Здесь почти во всех случаях выступает полная форма (примеры и их статистику см. в § 14). Число примеров с краткой формой исчисляется единицами; характерно при этом, что краткая форма фиксируется как раз в тех примерах, где определенность, единичность предмета — очевидна¹). Прилагательные типа земля², небеса¹ и другие, как указывалось выше, встречаются в исследуемых текстах параллельно с прилагательными землян², небесан¹ и др.; притом различие в суффиксах не отражается в употреблении полной (resp. краткой) формы.

Причину наличия полной формы в конструкциях типа црѣтко небеса¹ское мы усматривали в конкретности их лексического значения, но определенность этих конструкций была не столь четкой, как в примерах типа град² сидонск², — это, видимо, и требовало дополнительного грамматического оформления определенности в виде полной формы.

в) В исследуемых кодексах зафиксированы следующие случаи, когда прилагательное на -ск², образованное от собственного имени существительного, означающего место (город, область и т. п.), выступает в качестве определения к имени собственному, означающему лицо:

Мф. 26—69. и ты еси еси иже галилеимскыи. М. З. А. С.^{88, 105} (μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου); Лк. 3—1. еже иже на десате кто . . . обладоушетоу понтаскоуму пилатоу иудеи. М. З. А. С. (ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου)²; Мф. 26—14. иуда искаротскаи. М. З. А. С. (Ἰούδας Ἰσχαριώτης)³.

В этих случаях последовательно фиксируется полная форма. В них прилагательное выполняет ту же функцию, что и в устойчивых сочетаниях, рассмотренных выше (типа ижеко малево, см. § 19), т. е. в именах, прозвищах и т. п. Полная форма выполняет здесь свою основную функцию индивидуализации, указывает на единичность лица. Важно отметить также, что оттенок притяжательности в данных примерах незначителен.

г) Иное соотношение полных и кратких форм наблюдается в тех случаях, когда прилагательное, образованное от собственного имени существительного, означающего место, выступает в качестве определения к нарицательному существительному со значением лица.

¹ Краткая форма только в двух случаях: Мф. 19—23. не оудеко когатоу винети еже црѣтко неске. С; неске М.; нескне. А. (εις τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν); Мф. 18—35. тако и отец мен неск² стверити вам. М.; нескны А.; нескны. С. (ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος). Здесь же можно привести примеры: Лк. 11—31. црѣца южскаи встанеть на сжд² М., южска. З. (βασιλισσα νότου); то же: Мф. 12—42. южскаа. З. Или: Мф. 23—33. како оубжежите отъ сжда коньскааго М., (ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γέφυρας).

² Ср. также: Мф. 27—2. и прѣдаша и понтаскоуму пилатоу. М. З. А. С. (καὶ παρέδωκαν Πιλάτῳ τ. η̅γεμόνι).

³ В греческом оригинале и с членом и без него: а) без члена: Мр. 3—19. иудж искаротскааго. М. З. (Ἰούδαν Ἰσχαριώτην); Мф. 14—43. иуда искаротскаи. З. (Ἰούδας); Лк. 6—16. иудж искаротскааго. М. З. (Ἰούδαν Ἰσχαριώτην); Ио. 13—2. иудж симонскоу искаротскаоуму. М. З. С. 371—7. (Ἰούδας Σίμωνος Ἰσχαριώτης); Ио. 13—26. иудж симону искаротскаоуму. М. З. (Ἰούδα Σίμωνος Ἰσχαριώτου); б) с членом. Мр. 14—10. иуда искаротскаи. М. З. (ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσχαριώτης); Ио. 12—4. иуда симон искаротскаи. М. З. А. С. (Ἰούδας ὁ Ἰσχαριώτης); Ио. 14—22. иуда не искаротскаи. М. З. А. С. (Ἰούδας οὐκ ὁ Ἰσχαριώτης).

Мф. 27—32. исходание же обрѣтѣж чка кѳринѳиска имѣнемъ симона. М. З. А. С. (ἄνθρωπον Κυρηναίου). Лк. 23—6. каприси и аште чка галиѳиска еста. М. З. (ὁ ἄνθρωπος Γαλιλαῖος)¹.

В этих двух случаях краткая форма — закономерна. Лицо, определяемое прилагательным, ничем не выделяется из числа ему подобных, обладающих тем же свойством лицу (один из киринейцев, один из многих ему равных, аналогично примеру чакка богата).

Специального объяснения требует наличие краткой формы в таких примерах, как: Лк. 23—28. ис ка нима рече дзигтерн имскы не плачите са о мник. М. З. (θυγχετέρες Ἱερουσαλήμ).

Здесь следовало бы ожидать полную форму, как и в примерах, приведенных выше на стр. 86, однако в данном случае, надо полагать, решающую роль сыграл другой фактор, — связь прилагательных на -лска с притяжательными прилагательными.

Эта связь особенно ярко выступает в таких примерах, как црл иуденска, где прилагательное иуденска понималось, видимо, славянским переводчиком, как царь, принадлежащий иудеям, царь иудеев (на это указывает и греческий текст, где фиксируется родительный притяжательный):

Мр. 15—18. радоуи са црлю иуденска. М. З. А. С. (βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων). Ио. 18—39. хощете ли оубо да оглагоушгж камз црл иуденска. М. З. А. С. (τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων); Мф. 2—2. каде еста рожда са црл иуденска С. А. (ὁ τευχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων)².

Здесь, несмотря на обращение (звательный „падеж“) в первом случае и на вышеупомянутость во втором случае, употреблена краткая форма. Краткая форма иуденска выступает довольно последовательно во всех сочетаниях, зафиксированных в исследуемых памятниках, притом большинство из них относятся к случаям, когда речь идет о вполне определенном, единичном предмете или понятии (например пасха иуденска)³.

¹ Того же типа примеры: Мф. 15—22. и се жена хананска отъ прѣдѣла тѣхъ. М. З. А. С. (καὶ ἰδοὺ γυνὴ χαναναῖα); различия зафиксированы в следующих примерах: Мф. 12—41. мжи ниневѣитскн кастагъ на едъ. М. ниневѣитскн. З. (ἄνδρες Νινευεῖται); то же, Лк. 11—32, М. З.; Мр. 6—21. вечеръ творкаше... старѣшннамъ галилнскимъ. А. (καὶ τοῖς πρῶτοις τῆς Γαλιλαίας).

² Всего сочетание црл иуденска всегда с краткой формой прилагательного в различных функциях и падежах (в греческом при этом последовательно формы с членом) зафиксировано в Савв. кн. 12 раз, в Мар. к. — 16 раз, Зогр. к. — 15 раз, в Ассем. к. — 15 раз.

³ Прилагательное иуденска зафиксировано также в следующих случаях: Ио. 3—1. кѣ же чакъ отъ фарескн никодимъ нма емоу канъа иуденска. М. З. А. (ἄρχων τῶν Ἰουδαίων); Лк. 1—5 ка данн народа цѣкрѣ иуденска. М. З. А. (Ἠρώδου βαλεὺς τῆς Ἰουδαίας); Ио 18—12. и слоугы иудескы пасъ нса. М. З. А. С. (οἱ ὑπηρεταὶ τῶν Ἰουδαίων); различие: Ио. 19—21. главж же пастовн архирен иуденскн. М.; иуденскн. З. (οἱ ἀρχιερεῖ τῶς Ἰουδαίων); Лк. 7—3. посла к нмасу старца иуденскн. М. З. С. старца людскы (πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων).

Определяемым существительным является не лицо, а какой-либо предмет или понятие: Ио. 2—6. кѣ же тоу... по очнштению иуденскоу. М. З. А. (τὸν καθαρισμόν τῶν Ἰουδαίων); Ио. 11—55. кѣ же канз пасха иуденска. М. З. (τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων); то же: Ио. 2—13, М. З.; иуденска. А.; Ио. 7—2. кѣ же канз праздник иуденск. М. З. А. (ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων); праздник иуденск еще: Ио. 6—4, М. З.; Ио. 5—1, М. З.; Ио. 19—42. тоу же за параскѣѣнж иудѣискж... положите нса. М. З. А. (τὴν παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων); наконец, страх иуденск. Ио. 20—19. идеж кѣж оученици его съкрани за страх иуденск. М. А. (διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων); то же: Ио. 7—13, М. З. А. и Ио. 19—38, М. З. А.; для этих примеров важно учитывать замечание А. Вайана о том, что „притяжательное

А. Вайан указывает, что „имена прилагательные на -лкъ в том случае, когда они выступают вместо родительного падежа множественного числа, ведут себя как притяжательные прилагательные и склоняются (по крайней мере так было вначале) только по неопределенному склонению: цѣсарѣ индѣискѣ (обычно), звательный падеж цѣсарю индѣискѣ Мф. 27—29 и др., дательный падеж множественного числа — старѣшинамъ галилѣискамаъ, М. VI, 21. М. З. О. (-лкъимъ — Ас). Однако притяжательное значение не отграничено строго от обычного значения производных прилагательных, и определенные (полные — Н. Т.) формы колеблются в своем употреблении с неопределенными и впоследствии стремятся их вытеснить“¹.

Утверждение Вайана, данное в начале приведенной цитаты, вполне применимо для рассматриваемой нами группы прилагательных (типа „индѣискѣ“), но оно не относится ко всем прилагательным на -лкъ без исключения².

д) Конструкции, в которых выступает прилагательное на -лкъ не от существительных локативного значения (или названий народностей), — немногочисленны, но довольно разнообразны.

Почти все они образованы от существительных со значением лица (члкъ, пророкъ и т. п.) и являются прилагательными родовой принадлежности.

Лк. 14—1. и блѣтъ егда баниде ис къ домъ единого кѣнаса фарисеика. М. А. С. (τινος τῶν ἀρχόντων τῶν Φαρισαίων). Краткая форма закономерна после числительного единаъ, выступающего в функции неопределенного местоимения. В таком же примере, как: Мр. 8—15 блѣдѣтъ сѣ отъ кѣса фарисеика. М. З. (τῆς ξύμης τῶν Φαρισαίων),³ она вызвана, видимо, тем же фактором, что и в примере страхъ индѣискѣ.

Однако, наряду с краткой формой, в данной лексической группе выступает и полная: Лк. 1—9. по обычаю иерусалимоу кѣчи сѣ емоу покадити. М. З. А. (κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερουσαλῆμ); Лк. 23—23. и оучитѣхъ глази ихъ и архиепископни. М. З. (αἱ φωναὶ αὐτῶν καὶ τῶν ἀρχιερέων); Мф. 23—29. ѣко увидите гробы пророцкыи. М. (τοὺς τάφους τῶν προφητῶν); Мф. 26—56. да събѣдѣтъ сѣ кѣныи пророцкыи. М. З. А. С. (αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν).

При этом в последних двух примерах употреблена полная форма, несмотря на то, что в греческом ей соответствует родительный притяжательный множественного числа.

прилагательное может иметь объектное значение (пассивное) наряду с обычным субъектным значением (активным): страхъ индѣискѣ, Ио. 19—38 и др. — это не страх, испытываемый иудеями, но страх, который внушают иудеи“ (Руководство по старославянскому языку, стр. 161).

¹ А. Вайан. Руководство по старославянскому языку, стр. 157—158.

² В качестве дополнительного примера можно привести еще: Ио. 7—35. да в раскани индѣиско хощетъ ити. М. З. (τῆν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων). В греческом родительный притяжательный отсутствует: Лк. 23—38. кѣ... же... написано... кѣныи индѣискыи и римскыи и еврейскыи. М. З. А. С.; в Савв. к. грѣчскыи вместо еврейскыи (κατὰ γραμμάτων Ἑλληνικῶν καὶ ρωμαϊκῶν καὶ Ἑβραϊκῶν). У прилагательных, образованных от названий народностей, а также различных социальных групп, греческому родительному притяжательному множественного числа соответствует краткая форма. Однако от существительного пророкъ — полная форма, несмотря на греческий текст. Мф. 26—56. да събѣдѣтъ сѣ кѣныи пророцкыи. М. З. А. С. (γραφαὶ τῶν προφητῶν).

³ Ср. аналогичные примеры: Мф. 16—6. блѣдѣтъ сѣ отъ кѣса фарисеика и садукенска. М. З. (τῆς ξύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων); то же: Мф. 16—11, М. З. и Лк. 12—1, М. З.; и, наконец, Мф. 16—12. не отъ кѣса хлѣбнаго нѣ отъ оученикѣ фарисеика и садукенска. М. З. (τῆς ξύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων), где важно отметить вторичную упомянность.

Таким образом, если прилагательные на -ѣскѣ, образованные от существительных — названий народностей, — довольно последовательно выступают в краткой форме, то прилагательные, образованные от существительных, обозначающих представителей социальных групп, чаще встречаются с полной формой (ср. аналогичное положение с прилагательными локативного значения, образованными от имен собственных и от имен нарицательных).

е) Прилагательное, образованное от существительного члвкѣкъ, чаще всего встречается в сочетании сын члвкѣкъ, притом применительно к одному, определенному лицу — Иисусу.

Мф. 8—20. сын члвкѣкы не иматъ кѣде главы подыклонити. М. З. С.; члвкѣчѣ. А. (ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου).

В подавляющем большинстве примеров фиксируется полная форма, однако есть случаи, когда в аналогичной функции выступает и краткая форма. Такое колебание вообще характерно для прилагательных на -ѣскѣ, занимающих промежуточное положение между притяжательными и качественно-относительными прилагательными¹.

В тех случаях, когда речь идет не о конкретном лице, а о людях вообще (см. первый пример) или о каких-либо предметах или явлениях вообще, свойственных, принадлежащих людям (см. второй и следующие примеры), выступает краткая форма.

Мр. 3—28. ѣко кѣскѣ оуѣноуѣстатъ ел еимѣ члвѣчѣскоуѣ. М. З. (τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων); Мф. 23—4. кѣзлагѣжѣ на племѣта члвкѣка. М. А. (ἐπὶ τοῖς ὄμοις τῶν ἀνθρώπων); Мр. 9—31. ѣко сын члвкѣкы прѣданъ вѣдетъ кѣ рѣцѣ члвчѣцѣ. М. З. С.; члвкѣкомѣ. А. (εἰς χεῖρας ἀνθρώπων)²; то же: Лк. 9—44, М. З.

В приведенных примерах, с одной стороны, нет ярко выраженного обособления уникализации предметов (явлений), с другой стороны, опять-таки ощущается момент притяжательности (ср. греческий родительный притяжательный множественного числа), — это и обуславливает наличие краткой формы³.

¹ В греческом тексте в соответствии с конструкцией сын члвкѣкы или сын члвкѣкъ всегда, без исключения, форма с членом (ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου или другая, в зависимости от падежа). В исследуемых текстах конструкция с полной формой на -ѣскѣ зафиксирована в Савв. кн. — 31 раз, в Мар. к. — 78 раз., в Зогр. к. — 70 раз, в Ассем. к. — 22 раза; с краткой формой: Савв. кн. — 11 раз, Мар. к. — 5 раз, в Зогр. к. — 3 раза, в Ассем. к. не зафиксировано ни одного случая. Этот кодекс отличается от других тем, что в нем широко представлена форма прилагательного с суффиксом -ѣ (члвкѣчѣ, всегда краткая). Это еще один пример, иллюстрирующий близость прилагательных на -ѣскѣ к категории притяжательных прилагательных. Важно отметить также, что все краткие формы на -ѣскѣ зафиксированы только как разночтения, т. е. в других кодексах в том же контексте — полная форма (исключение — один пример: Мф. 20—18. сын члвкѣкъ прѣданъ вѣдетъ М., где нет того же контекста в остальных списках). Разночтения при этом не вызваны какой-либо особой функцией прилагательного; это относится и к конкурирующим формам члвкѣкъ — члвкѣчѣскѣ в Ассеманьевом кодексе.

² Ср. аналогичные примеры: Мр. 7—8. дрѣжите прѣданнѣ члвкѣска. М. З. (τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων); Мр. 7—21. из оутвѣждѣ ко етѣ срѣца члкѣка помышленнѣ неходатѣ. М. З. (τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων); Иг. 12—43. взлѣкнѣша ко начѣ славѣ члчѣжѣ неже славѣ кѣнѣжѣ. М., чскѣ. З.; члчѣжѣ. А., (τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων); Мф. 15—9. кѣ соуѣ же чѣтѣтѣ ма оуѣцѣ оуѣченнѣ заповѣден члвкѣска. М.; заповѣди члвкѣскы. З. (ἐντάλματα ἀνθρώπων); то же, Мр. 7—7, М. З.; Мр. 13—28. онѣ же рече имѣ врагѣ чѣскѣ се сѣтворнѣ. З.; врагѣ члвкѣкъ. М. А. (ἐχθρὸς ἀνθρώπου).

³ Относительно прилагательного людѣскѣ, выступающего только в сочетании кѣнѣжѣнѣкы людѣскы или старѣци людѣскы, см. § 18.

То же положение наблюдается в примерах, где выступают прилагательные мѣжжскѣ, женѣскѣ, дѣтскѣ:

Мф. 19—4. нѣсте ли члвчѣ ꙗко сѣтвори и икони мѣжжескѣ полѣ и женескѣ. М. З.; мѣжж и женѣ. С. (ἄπ' ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ)¹. Мр. 7—28 ꙗко и пи подѣ трапезоѣ ꙗдатѣ отѣ кроупица дѣтескѣ. М. З. (τῶν ψικίων τῶν παιδίων).

ж) Наконец, следует отметить пример с прилагательным, образованным от названия животного:

Мф. 18—6. оунѣ емоу естѣ да обѣсѣтѣ жрѣнокѣ на кли егѣ огаалскѣ. М. (ὄυλος ὀνικός), ср. камня жрѣносѣны § 18 и три примера, когда прилагательное на -скѣ образовано от названий предмета или отвлеченного понятия:

Лк. 20—42. а сѣмѣ дѣвѣ глѣтѣ кѣ книгахѣ псаломѣскѣихѣ. М. З. (ἐν βίβλῳ ψαλμῶν); Лк. 21—34. еда когда отѣжжѣтѣ срѣца баша... печалѣми житенскѣими. М. З. А. С. (καὶ μερίμνας βιωτικαῖς². Ио. 1—13. иже не отѣ крѣки ни отѣ похоти плѣтскѣи, ни отѣ похоти мѣжжскѣи родиша сѣ. М. З.; плѣтскѣи. А. (οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός).

Как видно, в старославянском языке примеры употребления прилагательных на -скѣ от названий предметов и отвлеченных понятий были весьма немногочисленны; впоследствии в отдельных славянских языках число прилагательных на -скѣ активно пополнялось именно за счет образований этого типа.

Таковы случаи употребления прилагательных на -скѣ в исследуемых кодексах. Как видно, они имеют целый ряд своих особенностей: четкая корреляция полных и кратких форм по признаку определенности и неопределенности, наблюдаемая, например, в качественных прилагательных, — в отдельных группах прилагательных на -скѣ отсутствует. Полная форма чаще и почти всегда выступает в тех случаях, когда прилагательное образовано не от имени собственного (типа сидонѣскѣ), а от имени нарицательного с локативным значением; при этом полная форма служит дополнительным грамматическим оформителем определенности. Краткая форма преобладает в конструкциях типа градѣ сидонѣскѣ; в этих случаях наличие полной формы не привносило сверх основного значения прилагательного еще какого-либо оттенка определенности. То же можно сказать и про конструкцию типа црѣ иудеискѣ, где иудеискѣ, воспринималось в качестве притяжательного прилагательного.

Примеров, в которых бы можно было наблюдать четкую корреляцию кратких и полных форм одного и того же прилагательного на -скѣ, исследуемые кодексы не дают. Наличие полной и краткой формы обуславливалось в первую очередь лексическим значением прилагательного³.

¹ Ср. также: Ио. 1—13. ни отѣ похоти мѣжжскѣи... родиша сѣ. М. З. А. (οὐ ἐκ θελήματος ἀνδρός); Лк. 2—23. ꙗко вскѣкѣ младенцѣ мѣжжскѣ пелѣу. М. З. А. С. (ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῦγον).

² Ср. также: Лк. 8—14. ꙗ отѣ в(га)тѣствѣ и сѣстѣми житенскѣими ходѣще подавѣжѣтѣ сѣ. М. З. С. А. (τοῦ καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου).

³ Отметим попутно, что некоторые сторонники теории предикативности не могут объяснить употребление полных и кратких форм прилагательных на -скѣ со своих позиций, — эти прилагательные выпадают из их системы построений. „Наблюдения показывают, — пишет В. Л. Георгиева, — что для времени развитой древнерусской письменности нельзя даже в малейшей мере говорить о зависимости употребления именной или местоименной форм прилагательных данного типа, функционирующих в роли определения, от наличия или отсутствия в этом определении предикативности. Именная форма осталась только в сочетаниях такого типа, который, судя по семантике соответствующих его компонентов, является, очевидно, наиболее древним. Можно предполагать, что именно с этими и им подобными существительными ранее, чем со всеми другими (и еще до появления местоименной формы. — *Разрядка*

Наиболее конкретные по своему значению прилагательные (типа *идонѣкъ*) выступают преимущественно в краткой форме; именно на них падает наибольшее число несоответствий с греческим оригиналом¹.

Прилагательное с краткой формой типа *идонѣкъ* (почти так же как и притяжательное *нѣгрѣкъ*) является благодаря своему лексическому значению не менее определенным, чем прилагательное на *-ѣкъ* с полной формой типа *нѣбѣкъли* (например, в конструкции *отѣца нѣбѣкъли*). Естественно, что подобная двойственность в формальном выражении двух типов прилагательных достаточно конкретного лексического значения не осталась без изменений. Полная форма в качестве грамматического оформления определенности стала все шире проникать в прилагательные типа *идонѣкъ*. Этот процесс мы наблюдаем уже вне границ старославянского языка. Во всех современных славянских языках без исключения прилагательные на *-ѣкъ* выступают лишь в полной форме. Закрепление только полной формы за прилагательными на *-ѣкъ* произошло рано. Даже в болгарском и сербохорватском языках, сохранивших до сих пор краткие формы в атрибутивной функции, уже в XIV—XV вв., надо полагать, прилагательные на *-ѣкъ* имели, в основном, только полную форму².

В современном болгарском языке, утратившем противопоставление полных и кратких форм из-за наличия члена, оказавшегося более ярким выразителем отношений определенности и неопределенности, все прилагательные без члена выступают всегда в краткой форме. Исключением из этого правила являются лишь прилагательные на *-ски*, не имеющие краткой формы. Видимо, это явилось результатом того, что проникновение полной формы в эту группу прилагательных закончилось к периоду, когда категория членных форм окончательно утвердилась в болгарском языке. Если бы этого к тому времени не произошло, мы вправе были бы ожидать в современном болгарском языке для прилагательных на *-ски* того же положения, что и для других прилагательных (форма с членом *българският*, форма без члена *българск*, по типу *червеният*, *червен*).

В современном сербохорватском языке, подобно болгарскому, прилагательные на *-ски* выступают только в полной форме, как и некоторые другие группы прилагательных; например: *сеоски*, *београдски*, *мајчински*, *лавовски*³.

моя, Н. Т.), могли сочетаться прилагательные, обозначающие принадлежность лица или предмета к определенному племени или народности. Привычность употребления в сочетаниях данного типа именной формы, вероятно, и привела ее к более длительному сохранению“ (Указ. соч., стр. 8).

¹ Число этих несоответствий особенно значительно еще потому, что в данном случае часто греческий родительный притяжательный множественного числа с членом передается краткой, реже полной, формой прилагательного на *-ѣкъ*.

² В древнерусском языке почти все прилагательные на *-ѣкъ* имели полную форму; краткая форма сохранилась лишь у прилагательных наиболее конкретного лексического значения. „Примеры с именной формой этих прилагательных составляют лишь около 1/15 общей их массы и наблюдаются, в основном, в „Повести временных лет“ в сочетаниях с существительным „земля“, „племя“, „дети“, „сын“, „язык“, причем сами прилагательные представляют образования от названий племен или народностей (Словенська земля, Хананецко племя и проч.)“, В. Л. Георгиева. Указ. соч., стр. 8.

³ Отметим, что в поэтическом языке (язык народных песен, язык поэзии, подражающей народным песням) возможны некоторые отклонения. Так, множественное число имен., вин., творит. мест. падежи ед. числа прилагательных на *-ски* и в поэтическом языке имеют исключительно полную форму. В родит. и дат. падежах ед. числа возможны в редких случаях отклонения, вызванные часто требованиями версификации. Например у Негоша: *спушки — спушку*, см. об этом: Т. Мареџић. *Jezik slavonskih pisaca*. Rad. 180, 170; Р. Але к с и њ. *Језик Матије Антуна Рељковића*. Ј. С. Ф., X. 107; Д. Вуш о в и њ. *Прилози проучавању Његошева језика*. Ј. С. Ф. IX, 95; С. Матић. *Употреба дужих и крајних придевских облика у народном и Његошевем десетерцу*. „Наш језик“. Београд, 1939, VII, 2—3, стр. 45—47; В живом разговорном и литературном языке эти отклонения не встречаются; см. Т. Мареџић. *Gramatika*. . . str. 198.

Такое положение, видимо, было характерно и для древнесербского языка.

Это объясняется, так же как и для старославянского языка, конкретностью лексического значения данной группы прилагательных и их близостью к притяжательным прилагательным; в сербохорватском языке, однако, связь употребления полной формы с семантикой прилагательного имеет еще большее значение.

§ 30. Единственной группой прилагательных в старославянском, где корреляция полных и кратких форм полностью отсутствует и употребляется исключительно краткая форма, является группа притяжательных прилагательных. Выделение этих прилагательных из общего числа качественно-относительных вызвано, таким образом, не только их семантикой (принадлежность одному конкретному живому существу), но и их морфологическими особенностями, — наличием только именного типа склонения.

Притяжательные прилагательные в старославянском языке несколько обособлены от других прилагательных и в отношении словообразования; для них характерны только суффиксы: *-овъ*, *-ъ*, *-инъ* и *-ьнъ*. Отметим, что эти суффиксы при образовании других, качественно-относительных прилагательных мало используются¹.

При помощи суффикса *-ов(-ев)* образуются притяжательные прилагательные, как от имен собственных, личных, так и от нарицательных, означающих лицо или животное:

Лк. 1—39. *иде къ грѣ... къ градѣ иудокѣ*. М. З. А. С. (*εις πόλιν Ἰούδα*); Лк. 24—44. *късѣмѣ написанимѣ къ законѣ мосѣокѣ*. М. З. А. С. (*εν τῷ νόμῳ μωυσέως*); Лк. 17—26. *и ѣкоже вѣистѣ къ дѣни ноѣкѣ*. М. З. (*εν ταῖς ἡμέραις Νῶε*).

Мф. 26—51. *и оудари раба архиревока*. М. З. С. (*τὸν δούλον τοῦ ἀρχιερέως*); Ио. 3—29. *а друугѣ жениховѣ стоѣа и послушаша его*. М. А. (*ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου*)².

Мф. 12—34. *штгадѣ ѣхиднока како можеге добро глѣти*. М. З. А.; *имѣма аспидока*. С. (*γεννήματα ἐχιδνῶν*)³.

При помощи суффикса *-ъ*, так же как и при помощи суффикса *-овъ*, образуются притяжательные прилагательные от имен собственных, личных; например:

Ио. 8—39. *глѣ имѣ иѣ аште чадѣ авраамѣ вѣистѣ вѣли дѣла авраамѣ творили вѣистѣ*. М. З. А. (*εἰ τέχνα τοῦ Ἀβραάμ ἐστὶ τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραάμ ποιεῖτε*).

¹ Среди качественно-относительных прилагательных широко используется лишь суффикс *-ьн-*, который имеет весьма ограниченное применение среди притяжательных (см. далее). Суффикс *-ин-* вне сферы притяжательных мало употребляется; суффикс *-ъ* крайне редко фиксируется только с прилагательными, образованными от географических названий (см. об этом в сноске на стр. 84), суффикс *-ов-* вне сферы притяжательных прилагательных употребляется редко (травновѣ, истоковѣ).

² Интересен пример: Мр. 3—17. *и наричи има имѣнѣ коанригѣсь ѣки есть снѣ громова*. М. З. (*ὁ ἐστὶν υἱὸς βροντῆς*), где гром понимается как одушевленная сила.

³ Выше указывалось, что отношение к месту ощущалось в древнем языке как принадлежность месту, поэтому прилагательные на *-овъ*, *-евъ*, образованные от названий места, выступают в краткой форме. Здесь выявляется, во-первых, связь с прилагательным на *-ьскѣ*, во-вторых, зависимость от словообразовательного момента — от суффикса. Однако эта связь существует лишь в границах притяжательности (в широком смысле); в тех случаях, когда прилагательное на *-овъ* оказывается не связанным с моментом притяжательности, возможна и полная форма. Например: Ио. 19—5. *изидѣ же ис вѣнѣ неса трѣновѣ вѣницѣ*. М. З.; *трѣнѣнѣ*. С. *трѣновѣ* А. (*ἀκύνθινον στεφανου*); Ио. 4—37. *о самѣ бо есть слово истоковѣ*. М.; *истинѣновѣ*. З. А. (*ὁ λόγος ἐστὶν ἀληθινός*); Мр. 22—19. *покажѣте ми складѣ киньсовѣ*. С.; *кинѣсьнѣ* (*τὸ νόμισμα τοῦ χησού*).

Ио. 4—6. кѣ же тоу стоуденецѣ иѣкобѣ. М. З. (ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ). От имен нарицательных, означающих лицо или животное:

Мф. 10—41. и приемлиа праведника кѣ има праведниче мзѣж праведнича приметѣ. (εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου). Мф. 21—5. и клѣдѣ на оґала и жрѣва сѣна ѣрмавича. М.; сѣна ѣрмачника. С. (ἐπὶ πῶλον οἶον ὑποξύγιου)¹.

Мр. 1—6. кѣ же ионаѣ облачена класѣ велѣбѣжди. М. З. А. С. (τρίχας καμῆλου)².

Прилагательные типа сѣиднокѣ, велѣбѣжда, в иных случаях и женишокѣ, праведнича могут рассматриваться как притяжательные прилагательные родовой принадлежности. Однако в старославянском языке, надо полагать, не было между прилагательными личной и родовой принадлежности столь четкой границы, как это имеет место в современных славянских языках, где все более и более ощущается качественно-относительный оттенок прилагательных родовой принадлежности. Отметим также, что в старославянском языке еще значение родовой принадлежности было на первом плане и лишь через эту принадлежность и осознавался качественно-относительный оттенок (значение) прилагательного, даже в таких случаях, как, например, класѣ велѣбѣжди³. Поэтому притяжательные прилагательные личной и родовой принадлежности с суффиксом *-овѣ*, *-ѣ* и другими суффиксами выступали в краткой форме⁴.

При помощи суффикса *-инѣ* образуются прилагательные от довольно ограниченного числа существительных, преимущественно собственно-личных (случаи образования от имен существительных нарицательных, означающих лицо или животное, в исследуемых кодексах не зафиксированы). Например:

Ио. 1—43. ісѣ рече ты еси симона сѣнѣ ионинѣ. М. З. А. (ὁ υἱὸς Ἰωάννου); Лк. 1—41. и выстѣ ѣко оуґлабѣша елисаветѣ цѣлокание маринѣ. М. З. А. С. (τὸν ἀσπασμὸν τῆς μαρίας)⁵.

¹ В данном примере, в разночтениях, синтаксическая синонимика (притяжательное прилагательное — родительный притяжательный). Отметим, что случаи употребления родительного притяжательного в соответствии с притяжательными прилагательными в других кодексах наиболее характерны для Саввиной книги (см. об этом в книге: В. Погорелов. Из наблюдений в области древнеславянской переводной литературы, стр. 29). III Sborník Filosofické fakulty University Komenského v Bratislavě, 1925, с. 29.

² Вне сферы притяжательных прилагательных суффикс *ѣ* употребляется при образовании прилагательных от собственных имен существительных, означающих место. При этом наблюдается полная синонимика суффиксов *-ьскѣ* и *ѣ*. Ио. 9—7. кѣ купѣли сѣдоуґамскѣ. М. З.; сѣдоуґамѣ. А.; (εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ). Ио. 9—11. нди кѣ клѣпѣк сѣдоуґамѣ. М. З. А. (ὅτι ὑπᾶγε εἰς τοῦ Σιλωάμ). Выше уже отмечались случаи синонимии *члѣтѣ* и *члѣтѣчскѣ* (см. стр. 88). Из области синонимии суффиксов притяжательных прилагательных важно отметить также конкуренцию суффиксов *-овѣ* и *-ѣ* и *-овѣ* и *инѣ* при образовании прилагательных от имен собственных — личных: Лк. 3—34. авраамѣ. М. З., Лк. 19—9. авраамѣ. М. З. А.; Лк. 1—39. ндоуґѣ. М. З. А. С.; Лк. 3—26. ндинѣ. М. З.; см. об этом также А. Meillet. Études sur l'étymologie. . . , t. II. Paris, 1905, p. 370.

³ См. об этом в кн.: А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике, т. III. Харьков, 1899, стр. 514—522.

⁴ В качестве единственного исключения можно привести пример: Ио. 5—2, ісѣ же в ѣрѣтѣхѣ на сѣнѣ клѣпѣ. М. З.; овчин. А. (ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα). Возможно, что он указывает уже на начало процесса формального разграничения лично-притяжательных и притяжательных родовых с усиленным качественно-относительным оттенком.

⁵ Прилагательные на *-инѣ* образуются исключительно от существительных основ на *-а*, в то время как с суффиксом *-овѣ*, например, возможно образование от существительных и других основ.

Наконец, при помощи суффикса *-ьнъ* образуются притяжательные прилагательные от существительных нарицательных, означающих лицо.

В исследуемых кодексах зафиксировано только прилагательное от существительного *господѣ — господана:*

Мф. 28—2. *анѣа ко гна сшедѣ е нѣсе.* М. З. А. С. (*ἄγγελος γὰρ κυρίου*); Лк. 1—9. *кѣчи са емоу покдичи бшедѣшиу бѣ црква гнѣж.* М. З. (*εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου*).

Таковы основные случаи употребления притяжательных прилагательных в старославянском языке. Наличие исключительно краткой формы во всех примерах определяется самой природой притяжательных прилагательных; по своему значению они существенно отличаются от всех остальных качественно-относительных прилагательных. Качественно-относительные указывают на свойство предмета или лица, притяжательные — на его принадлежность. Поэтому, как отмечает В. В. Виноградов, „притяжательные прилагательные лишены оттенка качественности и и сама прилагательность их условна“¹. „Прилагательные притяжательные, — пишет далее В. В. Виноградов, — подобно указательным местоимениям, несут функцию индивидуализирующего, обособляющего указания на принадлежность одному существу, единичному обладателю. Общности качества, выражаемого прилагательным качественно-относительным, здесь противостоит значение индивидуализирующего выделения предмета“².

Таким образом, сама природа притяжательных прилагательных, само их лексическое значение выполняет в известном роде ту же роль, что и полная форма при качественно-относительных прилагательных. Эта индивидуализация, обособляющее указание на принадлежность единичному обладателю, делает, естественно, излишним еще какое-либо формальное указание на нее. Лексическая определенность притяжательных прилагательных была столь ярка, что не возникла необходимость в грамматическом оформлении определенности. Отметим, что и в этом случае снова наблюдается зависимость употребления полной или краткой формы от лексического значения прилагательного.

В отдельных славянских языках судьба притяжательных прилагательных была различна. Тем не менее, можно отметить один общий процесс их развития, — в тех языках, где нарушалась корреляция полных и кратких форм качественно-относительных прилагательных в атрибутивной функции, наблюдалось вслед за этим проникновение полных форм в разряд притяжательных (лично-притяжательных) прилагательных. Однако этот процесс ни в одном славянском языке не достиг своего предела. Дальше всех пошел современный польский язык: в нем краткие формы притяжательных прилагательных употребляются лишь в составе сказуемого (*ojców, żonin, matczyn*), во всех остальных случаях выступает полная форма. В современном чешском языке притяжательные прилагательные (так же, как и в польском, лично-притяжательные только с суффиксом *-ův, -in* не могут выражать родовой принадлежности) склоняются

¹ В. В. Виноградов. Русский язык, стр. 191.

² Там же, стр. 192; ср. это положение с еще одним высказыванием В. В. Виноградова, где та же мысль раскрывается несколько подробнее: „Прежде всего бросается в глаза некоторое сходство между ними (притяжательными прилагательными. — Н. Т.) и такими местоименными прилагательными, как: *мой, твой, наш, ваш, тот, этот*. Между обоими этими разрядами обнаруживается тесная смысловая связь. Оба они не только выделяют предмет, но и индивидуализируют его посредством непосредственного указания на него самого или посредством указания его владельца“. „Этой особенностью притяжательные и указательно- или притяжательно-местоименные прилагательные резко отличаются от всех других. Они выполняют функцию указания (в широком смысле этого слова), а не качественного определения“ (стр. 191).

по смешанному склонению, где одни падежные окончания имеют формы именного склонения (краткие), другие — местоименного (полные). Русский язык сохраняет краткие формы, также только для притяжательных личной принадлежности, и то не последовательно, — в косвенных падежах часто выступает полная форма¹. В сербохорватском языке, подобно русскому, в именительном и винительном падежах лично-притяжательные прилагательные имеют только краткую форму; в косвенных падежах изредка возможны и полные формы². При этом существует довольно четкое разграничение притяжательных прилагательных личной и родовой принадлежности и в плане словообразования: лично-притяжательные прилагательные выступают всегда с суффиксом *-ов*, *-ин*, родовые с суффиксом *-ски* (ср. *лавов* — никогда не *лавови*, но *лавова*, а иногда *лавовог* и *лавовски* — всегда *лавовски*, *лавовског* и т. д.)³.

Отметим, наконец, что у притяжательных (лично-притяжательных) прилагательных в отдельных славянских языках никогда не было и не могло быть корреляции полных и кратких форм, так как это исключалось лексическим значением этих прилагательных.

Полная форма проникала в разряд притяжательных прилагательных лишь вслед за активным расширением сферы употребления полных форм в разряде качественно-относительных, проникала часто по аналогии с последними и являлась лишь средством более четкого морфологического обособления категории прилагательных вообще.

§ 31. Таким образом, краткие и полные формы прилагательных в атрибутивной функции выражают отношения определенности и неопределенности существительного-предмета, к которому относится прилагательное. Корреляция полных и кратких форм в старославянском языке не шла по линии атрибутивности и предикативности или энергичности и неэнергичности признака предмета. Активным членом корреляции была полная, определенная форма прилагательного, указывающая на то, что предмет, к которому относится прилагательное, выделен из общего числа или подобных предметов, обладающих тем же качеством, индивидуализирован и воспринимается как единственный в своем роде, отличный от множества равных ему по роду. Поэтому полная форма употребляется и в тех случаях, когда другими языковыми средствами подчеркивается это неравенство (с указательным местоимением, звательный „падеж“), когда нужно подчеркнуть, что предмет единичен и не имеет себе подобных (с числительным *ѣдинъ* „единственный“), и в тех случаях, когда это неравенство вытекает из того, что конструкция „прилагательное + существительное“ означает фактически иной предмет или понятие (во фразеологических единствах — термин родства, названия болезней и т. п.), наконец, и в тех случаях, когда просто выделяется предмет по указанному принципу. Зафиксированы также отдельные примеры употребления полных форм и в так называемой нейтральной позиции; в ряде положений не всегда можно провести четкое разграничение полных и кратких форм (укажем, что наибольшее число разночтений по кодексам относится именно к этим случаям). Краткая форма, в отличие от полной, указывает на то, что существительное, определяемое прилагательным, ничем не отличается от множества равных ему по роду. Она выступает и в тех случаях, когда нужно подчеркнуть это равенство (с числительным *ѣдинъ* „один из многих“, с местоимением *каждъкъ*),

¹ См. В. В. Виноградов. Русский язык, стр. 195.

² См. Т. Maretić. Gramatika i stilistika. . . , str. 197—198.

³ Некоторые ученые предполагали наличие подобного четкого соотношения и в старославянском языке, однако вышеизложенные факты старославянского языка не подтверждают этого полностью. Подобное соотношение выявлялось лишь в общем плане, четкого разграничения не было.

и в тех случаях, когда это равенство не подчеркивается, но вытекает из того, что предмет не выделяется из ряда ему подобных (с глаголом подобаги, в составе родительного части и др.), наконец, она преобладает в нейтральных позициях. Краткая форма прилагательного чаще всего просто указывает на то или иное свойство (качество) предмета, не давая ему при этом какой-либо дополнительной характеристики.

В связи с этим основным значением кратких и полных форм момент вышеупомянутости выступает как второстепенный, подчиненный, как частный случай более универсальной категории определенности прилагательных. При вторичном упоминании предмета часто возникает необходимость в его уникализации (в указании, что предмет именно тот, а не другой), но в иных случаях такое выделение не обязательно. Отсюда — случаи употребления краткой формы при вышеупомянутости.

Одной из характерных особенностей старославянского языка, сохранившейся в полной мере в современном сербохорватском языке, является тесная связь полной формы с прилагательными определенных лексических групп. Семантика прилагательного в иных случаях играла огромную, подчас решающую роль при употреблении исключительно полной формы. К таким прилагательным относились темпоральные, локативные и некоторые другие группы прилагательных. В дальнейшем в отдельных славянских языках (в том числе и в сербохорватском) сфера прилагательных, имеющих только полную форму, расширялась. Без учета семантического момента нельзя объяснить наличие одной полной формы, а тем самым и отсутствие корреляции в целом ряде случаев, так же как и ее отсутствие в группе притяжательных прилагательных.

3. КРАТКИЕ И ПОЛНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В ПРЕДИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ

§ 32. Выступая в качестве составной части сказуемого, прилагательное выполняет особую, отличную от рассмотренной выше, синтаксическую функцию: прилагательное переходит из сферы атрибутивных отношений, основных для прилагательного, в сферу предикативных отношений, при которых оно, продолжая обозначать качество или свойство существительного (подлежащего), оказывается тесно связанным с глаголом (сказуемым). С формальной стороны, при этом прилагательное лишается одного из характерных для атрибутивной функции признаков: наличия двух форм, полной и краткой. В составной части сказуемого в старославянском языке выступает лишь краткая форма.

По определению акад. А. А. Шахматова, „предикативными отношениями называем изъяснительные, т. е. содержащие утверждение или отрицание чего-либо. Кроме этих отношений, существующих между субъектом и предикатом, между представлениями могут быть отношения атрибутивные, т. е. такие отношения, которыми одни представления определяются как свойства или качества других представлений; атрибутивными являются отношения между представлениями, входящими в состав одного сложного, нерасчлененного представления, ибо расчленение ведет к выделению из него субъекта и предиката стоящих между собой в предикативных отношениях“¹.

При утверждении или отрицании какого-либо свойства или качества предмета, лица (субъекта), т. е. в тех случаях, когда глагол указывает на наличие (resp. отсутствие), возникновение (resp. исчезновение) свойства, качества субъекта, выраженного прилагательным, входящим в состав сказуемого, нет необходимости, вернее возможности, одновременно

¹ А. А. Шахматов. Синтаксис русского языка. Л. 1941, стр. 29.

характеризовать субъект с точки зрения его определенности или неопределенности. Такая характеристика может быть дана только в пределах атрибутивных отношений, ибо определенность (resp. неопределенность) субъекта не лексически может быть выражена исключительно при условии нерасчлененности этих двух моментов.

Этим объясняется наличие только одной, краткой формы прилагательных в их предикативном употреблении в старославянском языке.

§ 33. Отсутствие противопоставления полных и кратких форм прилагательных в составном сказуемом во многом облегчает задачу изложения фактического материала. Нет нужды приводить все примеры целиком или хотя бы большую их часть; достаточно указать на основные типы синтаксических конструкций с именем прилагательным в предикативной функции.

1. Конструкции с глаголом связкой (быти, ꙗма) со значением настоящего, прошедшего, будущего времени, повелительного и условного наклонения.

В этих конструкциях глагол в большинстве случаев лишен своего лексического содержания, — он выполняет формальную роль, обозначая категорию времени и отношение признака, выраженного прилагательным, к подлежащему, и является так называемой незначащей связкой.

а) Глагол-связка в настоящем времени:

Ио. 13—10. гла емоу иъ измъвенъ не тѣкоуоуѣ тѣко ност оумити естѣ во весѣ чистѣ і бы чисти есте. М. З. А. С.; Мр. 4—40. рече има чѣто тако страшни есте како не имете вѣры. М. З.; Ио. 4—35. вѣздеѣте очи ваши и видите нивѣи ѣко плавы сѣтѣ къ жатѣѣ юже. М. З. А.

В приведенных примерах прилагательное обозначает признак постоянный, временно присущий предмету. Однако такое значение прилагательного в составе сказуемого нельзя считать единственно возможным; нередки случаи, когда с глаголом-связкой, особенно если он стоит в третьем лице, при вневременном настоящем, прилагательное обозначает признак, постоянно присущий предмету, независимо от момента речи. Такие конструкции выступают обычно в предложениях, сообщающих какое-либо умозаключение обобщающего порядка. Например:

Лк. 20—38. въ же нѣстѣ мрътвѣхѣ на живѣхѣ вѣи во томоу живи сѣтѣ. М. З.; Ио. 7—6. гла же има и вѣрма мое не оу приде а вѣрма ваше вѣсегда естѣ готово. М. З. А.

В последнем примере постоянность признака подчеркивается обстоятельственным словом — наречием вѣсегда.

б) Глагол-связка в настоящем времени с союзом „да“ (в функции повелительного наклонения):

Мф. 23—26. фарисею сѣпе очисти прѣжде ванѣтрѣнее стеклѣници і по-рѣспидѣ да вѣдетѣ и ванѣцѣнее има чисто. М.

в) Глагол-связка в будущем времени:

Лк. 11—34. егда оубо око твоє просто вѣдетѣ і вѣсе тѣло твоє сѣтѣло вѣдетѣ. М. З.

г) Глагол-связка в прошедшем времени:

Лк. 16—19. чѣкъ же единъ вѣ богатѣ. М. З. С. С.; Ио. 21—7. епен-дигомѣ прѣпоѣдѣ сѣ вѣ во нагѣ. М. З. А. С.

д) Глагол-связка в повелительном наклонении:

Мр. 5—34. иъ же рече еи дѣшти... иди сѣ миромѣ і вѣди цѣла оуѣ раны твоѣ. М. З.

е) Глагол-связка в условном наклонении:

Ио. 9—41. аще висте слѣпи вѣли. М. З. А.

Во всех приведенных примерах с будущим и прошедшим временем и повелительным наклоном отсутствует значение постоянной присутности признака, выраженного прилагательным в составе сказуемого, лицу или предмету, выраженному существительным-подлежащим; признак либо должен еще возникнуть (будущее время, повелительное наклонение), либо дается указание на то, что он был присущ предмету в прошлом или на всем протяжении его существования (чѣмъ же единъ вѣ когата) или в определенный отрезок времени (спендигомъ прѣпоѣга сл кѣ ко нагъ), либо, наконец, просто указывается на возможность того или иного признака для данного предмета (. . . аще висте слѣпи вѣли).

§ 34. Конструкции, в которых прилагательное входит в состав сказуемого в сочетании с глаголом движения или пребывания в состоянии.

В этих конструкциях глагол сохраняет свое лексическое содержание, разделяя с прилагательным предикативную функцию и является так называемой знаменательной связкой. Лексическое содержание глагола без прилагательного в большинстве случаев оказывается неполным, действие (состояние), выражаемое глаголом, не раскрытым до конца (например: Мф. 20—6. чѣто стѣитѣ едѣ вѣга дѣна прѣзднѣ. М. А. С.), что указывает на неразрывную связь глагола с прилагательным, входящим в состав сложного сказуемого. В иных случаях, однако, взаимосвязь может ощущаться слабее (Мф. 21—5. се цѣрѣ тѣои гадѣтѣ тѣвѣ крогѣкѣ. М. С., где прилагательное крогѣкѣ может при желании рассматриваться даже как обособленное определение), — при этом лексическое содержание глагола оказывается более полным, независимым. Некоторые исследователи поэтому усматривают в данной функции прилагательного полупредикативность или так называемую „разделенную предикативность“. Однако введение третьего понятия (категории, как полагают некоторые исследователи) — полупредикативности, помимо атрибутивности и предикативности, для данного исследования оказалось бы, по нашему мнению, излишним и запутывающим дело; конструкции „глагол со значением движения (состояния) + прилагательное“ следует относить к предикативному употреблению прилагательного¹, различая лишь большую или меньшую степень лексической знаменательности глагола.

Мф. 19—22. слышавъ же юноша евоко се отидѣ печальнѣ. С.; отидѣ скръвѣ. М.; Мф. 20—6. і гла имѣ чѣто стѣитѣ едѣ вѣга дѣна прѣзднѣ. М. А. С.; Ио. 9—2. оучителю кѣто стѣрѣши сл ли или родитѣлѣ его да слѣпѣ роди сл. М. З.; Лк. 1—22. і тѣ вѣ помакѣ имѣ і прѣвѣкаашѣ нѣмѣ. М. З.

Те же отношения наблюдаются и в примерах, где выступает причастная форма глагола.

Мф. 20—3. видѣ ны на трѣжницѣ стѣяща прѣзднѣ і тѣмѣ рѣчѣ. М. С.

В случаях, когда лексическая знаменательность ослаблена (например: прѣвѣкаашѣ нѣмѣ), функция глагола приближается к функции глагола-связки. В тех случаях, когда лексическая знаменательность не ослаблена, в зависимости от порядка слов можно говорить о близости функции прилагательного, входящего в состав сказуемого, к функции обособленного определения.

Отметим также, что во всех приведенных примерах прилагательное выражает временный, преходящий признак.

§ 35. Конструкции, в которых прилагательное выступает в сочета-

¹ Укажем, что в этом отношении разногласий среди исследователей нашего вопроса нет. Те, кто усматривает в данной конструкции полупредикативность, не находят возможным рассматривать эту функцию прилагательного как атрибутивную.

нии с причастием настоящего времени *сѣи*, *сѣиши*, *сѣи* (или прошедшего времени *сѣяхъ*, *сѣяши*, *сѣяхъ*), образующим обособленный оборот.

В этой конструкции прилагательное выступает чаще всего в функции так называемого второго именительного; при этом оно „выражает не какое-либо другое, а именно, то качество предмета, которым объясняется соответствующее действие этого предмета, выраженного в сказуемом“¹. Такой оборот можно считать своеобразным „второстепенным сказуемым“ сохраняющим с основным сказуемым тесную смысловую и причинную связь и зависящим от него. Функция причастия *сѣи* приближается в данном обороте к функции незначительной связки в рассмотренном выше составном сказуемом.

Мф. 12—34. како можете до^ро гла^ти зѣи сѣице. М. З.; аж^кави сѣице. С.; Лк. 2—25. і се вѣ чѣзъ вѣ имѣѣ сѣиже има сѣице і чѣзъ сѣ п^равдѣнъ и чѣстивъ чѣа оутѣхъ издрѣка. М. З. С.; Ио., 3—4. гла кѣ немоу никодимъ како мѣжетъ чѣкѣ родити[А] старъ сѣи. М. З.

§ 36. Несколько иные отношения наблюдаются в тех случаях, когда рассматриваемые конструкции относятся к дополнению, где прилагательное выступает в функции так называемого второго винительного. Например:

Лк. 18—24. онъ же слышавъ ее прискрѣбена вѣста вѣ ко когата сѣло видѣвъ же і прискрѣбена сѣица рече. С.; в других кодексах второй именительный: прискрѣбена вѣкѣ. З.; прискрѣбена вѣкѣши. М.

Важно отметить единственный случай, где зафиксирована полная форма: Ак. 10—30. остакаше і сѣѣ живого сѣи отиде С. В других кодексах краткая форма: остакаше і сѣѣ живъ сѣи. М. З.

Отмеченная нами полная форма могла возникнуть в результате значительного обособления второго винительного от первого винительного, — в данном контексте употребление прилагательного в сочетании с *сѣи* приближалось к случаям вышеупомянутым. Ср. чѣзъ единъ сѣхождаше отъ ісма кѣ сѣи і кѣ разкоиника кападе иже и сѣкакаше и ѣзкѣ кѣ вложаше отидѣ остакаше і сѣѣ живого сѣи. . . Нужно признать, однако, что такое объяснение едва ли достаточно убедительно.

§ 37. Конструкции, в которых прилагательное в сочетании с причастием *сѣи* образует оборот, именуемый дательным самостоятельным.

Конструкция с дательным самостоятельным не находится в зависимости от подлежащего или сказуемого главного предложения. Между главным предложением и рассматриваемым оборотом существует только соотносительная во времени связь.

В этой конструкции причастие довольно четко выступает в роли так называемой незначительной связки.

В исследуемых текстах зафиксирован единственный пример: Мр. 8—1. кѣ тѣи дѣни пакѣ многоу сѣи тоу народу. М. З. Приведем также характерный пример из Супрасльской рукописи: . . . како ко иматѣ сѣтрѣпѣти толѣкѣ пѣтѣ вѣдѣноу сѣи тоу и горѣноу. Супр. 31—10.

§ 38. Особо отметим конструкции, в которых прилагательное выступает в функции второго косвенного падежа (второй винительный и др.). В этих конструкциях прилагательное указывает на признак предмета, выявляющийся лишь посредством действия, выраженного сказуемым. Связь прилагательного с глаголом не позволяет рассматривать данную функцию прилагательного как чисто атрибутивную.

¹ В. Л. Георгиева. Указ. соч., стр. 107.

На это указывал А. М. Пешковский: „...Особенность всех этих сочетаний по сравнению с типом б (прилагательное+ существительное) (т. е. чисто атрибутивными отношениями. — Н. Т.) состоит в том, что падеж прилагательного здесь не подчинен падежу существительного, к которому оно относится, а подчинен прямо глаголу, наравне с самим существительным. *Муж жену любит здоровую* — ощущается как *любит жену* + *любит здоровую*, а не как *любит здоровую жену*... В связи с этим между прилагательным и существительным устанавливается особое отношение предикативности, приближающее это сочетание к сочетанию *муж жену любит, когда она здорова*. Вторые падежи так и называются часто „предикативными“, наравне с именительным и творительным предикативными, хотя, конечно, прав у них на такое название, собственно, нет, так как в состав сказуемого они не входят“¹.

В старославянском языке в этой функции всегда выступает краткая форма прилагательного.

Лк. 3—4. оутготовайте пѣтъ гнѣ правы творите стѣза его. М. З. С.;
Ио. 5—11. онъ же стѣкѣшта намъ иже ма стѣтвори цѣла. М. З.

§ 39. Таковы, в основном, случаи употребления прилагательных в предикативной функции. Предикативное употребление прилагательных в старославянском языке в плане поставленной проблемы не дает многообразного материала: как видно из приведенных примеров, прилагательное в составе сказуемого всегда выступает в краткой форме.

Это явление объяснялось исследователями различно. Так, например, сторонники теории „предикативности“ (Истрина и др.), естественно, и в данном случае правильно, объясняли наличие краткой формы связью прилагательного с глаголом (сказуемым), и ошибочно, по нашему мнению, они в „предикативности“ видели нередко единственную причину употребления краткой формы и в атрибутивной функции.

Сторонники теории „определенности и неопределенности“, со своей стороны, давали часто неполное, спорное объяснение исследуемому вопросу. Так, Л. П. Якубинский полагал, что употребление исключительно кратких прилагательных „в качестве сказуемого-предиката, т. е. в предикативной функции... объясняется тем, что предикат в именном сказуемом выступает сам по себе, как признак, приписываемый или открываемый в уже известном, определенном предмете; в этом случае существительное, к которому относится прилагательное (подлежащее), оказывается всегда определенным для высказывающегося. Раз я приписываю в именном сказуемом какой-нибудь признак какому-то предмету, ясно, что этот предмет мне уже известен. Член здесь решительно излишен; он никогда не ставился в подобных случаях“². С таким утверждением трудно согласиться. Можно указать на целый ряд случаев, когда в именном сказуемом приписывается признак какому-либо неопределенному, не выделенному из числа других ему подобных, предмету. При этом неопределенность предмета (подлежащего) может быть подчеркнута каким-либо неопределенным словом (ср., например, *какъ единъ бѣ когатъ*. Лк. 16—19 и др.). Предмет, выраженный подлежащим, может быть и определенным и неопределенным; на это указывает и употребление с ним в качестве атрибута указательных и неопределенных местоимений, а также полных и кратких прилагательных³.

¹ А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1938, стр. 309.

² Л. П. Якубинский. Из истории имени прилагательного, стр. 57.

³ Отметим еще раз, что в нашем понимании „определенность“ и „известность“ не одно и то же. Критерий „известности“ слишком широк и слишком зависим от раз-

Другое объяснение дает А. Белич. „Как известно, — пишет он, — предикатом выявляется в сознании (мышлении), что-то новое, выражается новая связь субъекта с каким-либо свойством или действием. Отсюда неопределенный вид (т. е. краткая форма. — *Н. Т.*), употребляющийся в сказуемом, означает нечто проходящее, случайное, впервые опознанное и т. д., так что по отношению к нему определенная (полная. — *Н. Т.*) форма должна обозначать свойство постоянное, являющееся составной частью самого предмета нашей мысли“¹. В отличие от мнения Л. П. Якубинского, полагавшего, что прилагательное в предикате относится к известному („определенному“) предмету (подлежащему) и потому не нуждается в формальном выражении определенности, А. Белич считает, что прилагательное в предикате всегда выражает временное свойство и потому выступает в краткой („неопределенной“) форме.

Однако принимать момент временности и постоянства признака определяющим употребление краткой формы в предикативной функции для всех случаев едва ли правомерно, так как в предикате прилагательное отнюдь не всегда выражает временное, преходящее свойство. Выше были приведены примеры, когда прилагательное выражает постоянное, неизменное свойство предмета. Правда, такие примеры встречаются в текстах значительно реже, чем примеры с прилагательным, выражающим временное свойство, однако мы не должны недооценивать их роль и значение в развитии исследуемой категории.

Постоянство и временность признака в предикате в старославянском языке формально не противопоставлялись. Такое противопоставление в разряде качественных прилагательных, и то далеко не всегда последовательное и четкое, возникло позднее в русском языке после проникновения полной формы в предикат².

В старославянском этого не было по той причине, что полные и краткие формы несли другую нагрузку в области атрибутивных отношений, а именно выражали определенность и неопределенность. При таком положении употребление полной формы в составе сказуемого оказывалось невозможным; полная форма проникла в сказуемое (в отдельных славянских языках) лишь тогда, когда в атрибуте были утрачены значения определенности и неопределенности.

Таким образом, причину отсутствия полных форм прилагательных в составе сказуемого, по нашему мнению, нужно находить прежде всего в том, что основным значением полной формы в старославянском языке было значение определенности, которое относилось не к прилагательному („определенность свойства“), а к определяемому существительному („определенность предмета“). Определенность эта имела в основном значение уникализирующее. Функция полной формы была близка в этом отношении к функции указательного местоимения (примерно: *dobrá žena* = хорошая эта женщина). Представление определенности и представление предмета не могут быть расчлененными, ибо определенность входит в состав одного сложного, нерасчлененного представления, представления конкретного (выделенного) предмета. Такие отношения,

личных субъективных моментов, чтобы на нем можно было основываться. Опириая критерием „известности“, мы оказываемся бессильными в определении границ его действия. (Что такое „известность“? — общеизвестность, известность говорящему, известность для группы лиц?).

¹ А. Белич. „Јужнословенски филолог“, кн. XIII. Београд, 1933—1934, стр. 216. (Рец. на книгу Г. Гуннарсона „*Recherches syntaxiques...*“).

² См. Н. Ю. Шведова. Полные и краткие формы имен прилагательных в составе сказуемого в современном русском литературном языке. „Уч. зап. МГУ“, вып. 150. Москва, 1951.

как указывалось в начале настоящей главы, возможны лишь в сфере атрибутивной¹.

Предикативные отношения неминуемо ведут к разрыву двух представлений (здесь представления предмета и его качества), к отнесению одного из них к субъекту, другого к предикату. Определенность предмета не может быть выражена в сфере предикативной², не считая чисто лексических возможностей.

§ 40. История проникновения полных форм прилагательных в предикат в отдельных славянских языках подтверждает наши основные выводы в отношении старославянского языка. В этом плане наибольший интерес представляет материал современного русского и сербохорватского языков, сохранивших, правда, не в полной мере, употребление кратких прилагательных в предикативной функции. В западнославянских языках (польском, чешском, словацком), а также в украинском и западно-белорусских говорах произошел процесс закрепления в предикате только полной формы (за исключением единичных случаев). Интересующий нас материал современного и древнерусского языка достаточно полно изложен в ряде работ³; поэтому нам представляется целесообразным отметить лишь некоторые наиболее важные моменты, связанные с процессом проникновения полной формы в состав сказуемого. Некоторые исследователи производили наблюдения над развитием отношений кратких и полных форм прилагательных в предикативной функции, не учитывая одновременно изменений, происходящих в атрибутивной функции, не устанавливая их взаимосвязи. А между тем, очевидно, что полная форма начала проникать в предикат лишь после того, как в атрибуте оказалось нарушенным противопоставление полных форм кратким, как бы ни объяснять это противопоставление, — различием по линии определенности и неопределенности или „предикативности“ и атрибутивности. Только — когда старая система корреляции в атрибутивной функции была нарушена, когда в атрибуте стали почти безраздельно господствовать полные формы и значение определенности и неопределенности для полных и кратких форм стерлось, в предикат стала активно проникать полная форма. Это произошло довольно поздно, не ранее XVI в. (первые единичные случаи употребления полных форм в предикате относятся к XV в.). Однако прежние значения (определенности и неопределенности) не исчезли полностью: полные и краткие формы, присущие уже только качественному прилагательному, оказавшись в предикате связанными с глаголом (с действием или состоянием), естественно, изменили

¹ Отметим также, что в атрибутивной сфере возможна расчлененность, подобная предикативной. Таковы случаи так называемого обособленного определения, при котором возникают синтаксические отношения, нарушающие единство сложного, нерасчлененного представления. В этих случаях в старославянском языке последовательно фиксируется краткая форма — и не кѣди ми подражатѣль славоу и грѣшнуоу глагоу в'егда и не твѣрѣдию. Мак. глаг. листок. 1—10.

² Ср. положение, по которому в современном русском языке и в других славянских языках указательное местоимение не может быть именной частью составного сказуемого (например, рус. — *книга — эта, дом — тот*, или серб. *књига је ова, дом је онај*). В просторечии известны подобные выражения: „девица — та“, или „девица — еще та“, обычно с восклицательной интонацией, но в них указательное местоимение прилагательное выступает в роли качественного прилагательного. Расчлененными могут быть представления качества и предмета, но никак не определенность предмета.

³ См. следующие работы: Н. Ю. Шведова. Возникновение и распространение предикативного употребления членных прилагательных в русском языке XV—XVII вв. „Докл. и сообщ. ИРЯЗ АН СССР“, вып. 1, 1948 (автореферат канд. диссерт.); см. также саму диссертацию — М. 1948 г.; а также указ соч. Н. Ю. Шведова. Полные и краткие формы. . . ; Указ. соч. В. Л. Георгиевой. Синтаксические функции. . . ; указ. работу Г. Гуннарсона „Recherches syntaxiques. . .“

свое значение и стали выражать первые — постоянное, вторые — временное свойство. Поэтому противопоставление кратких и полных форм сохранили только прилагательные, способные выступать в качестве временных эпитетов¹. Значение постоянного (resp. временного свойства, как указывалось, являлось характерным в ряде случаев для полных (resp. кратких) форм в атрибутивной функции, но оно не было тогда основным, решающим; главным оставалось значение определенности и неопределенности. В предикате отношения изменились: связь с глаголом выставила в качестве основных значения постоянства и временности признака.

Однако развитие полных и кратких форм в составе сказуемого пошло дальше. В современном русском языке, в отличие от языка XIX и XVIII вв., все чаще употребляется полная форма и при обозначении временного свойства. В прошедшем и будущем временах временность и постоянство свойства обозначаются в современном языке также творительным и именительным падежом полных форм. Краткая форма, употребляемая только в составной части сказуемого и потому неизменяемая по падежам, стала выделяться в особую категорию — категорию состояния, порывая тем самым связь с категорией прилагательных². Между краткими и полными формами возникает значительная семантическая дифференциация. Этим знаменуется новый, последний этап в процессе развития значений кратких и полных форм в предикате.

Таким образом, процесс становления новых соотношений кратких и полных форм в составе сказуемого начинается только после того, как оказывается окончательно нарушена корреляция полных и кратких форм в атрибутивной функции. При этом в предикате на первых порах возникает новая корреляция, видоизмененная и суженная (в связи с характерными особенностями предикативной функции и ограничением круга прилагательных с двумя формами исключительно качественными прилагательными), но все же связанная по значению с предыдущей (новая корреляция по принципу временности и постоянства свойства). Таковы, в общих чертах факты из истории русского языка.

Сербохорватский язык также отошел от того состояния, какое мы наблюдаем в старославянском языке. Однако в нем, в отличие от русского, не нарушена корреляция полных и кратких форм в атрибуте. Полные и краткие формы выражают отношения определенности (resp. неопределенности)³. Активизация полных форм связана, повидимому, с лексическим значением прилагательных. В сербохорватском языке краткую форму утратили относительные прилагательные на *-ски*, локативные и темпоральные прилагательные, прилагательные, выражающие отношение к различным частям тела, к определенным единичным предметам, а также некоторые другие, в том числе и ряд качественных (*мали* и др.)⁴. Важно подчеркнуть, что в современном сербохорватском языке, в отличие, например, от русского, нет ни одного прилагательного, которое бы в предикативной функции имело только краткую или полную и краткую, а в атрибутивной только полную форму. В тех случаях,

¹ "... в кругу имен прилагательных лишь временные эпитеты, лишь обозначения временных свойств имеют полную и краткую форму". В. В. Виноградов. Русский язык, стр. 262.

² См. в статье: Н. С. Поспелов. „Соотношение между грамматическими категориями и частями речи в современном русском языке. „Вопросы языкознания“, 1953, № 6, стр. 62—63.

³ В этом мнении сходятся все исследователи сербского языка — А. Белич, Т. Маретич, Л. Стоянович, М. Решетар и др. Оно отражено и в сербской грамматической терминологии: „одређени вид“ — определенный вид (полная форма), „неодређени вид“ — неопределенный вид (краткая форма).

⁴ См. Т. M a r e t i ć. Gramatika i stilistika, str. 459, а также § 17 настоящей работы.

когда в предикате краткая форма, в атрибуте употребляется и полная и краткая; но, если в атрибуте употребление краткой формы невозможно, в предикате тоже выступает только полная форма¹.

Полные формы в предикате, таким образом, не сосуществуют с краткими, а вытесняют их параллельно с вытеснением их атрибута; краткая форма одновременно исчезает и в предикате и в атрибуте. Так, в современном сербохорватском языке в предикате не возникает той корреляции кратких и полных форм, которая характерна для русского языка (XIX — отчасти XX вв.). Естественно, нет и условий для перехода кратких прилагательных в категорию состояния. Это происходит потому, что сербохорватский язык сохраняет противопоставление полных и кратких форм в атрибутивной функции (корреляция определенности и неопределенности), хотя для некоторых прилагательных и не во всех падежах (из-за совпадения окончаний именного и местоименного склонений и характера ударения)².

Некоторые данные старославянских памятников позволяют сделать предположение, что в старославянском языке начинался процесс, который позднее нашел свое более полное выражение в сербохорватском языке, т. е. начиналась указанная выше одновременная утрата кратких форм и в атрибутивной и в предикативной функциях.

Нами зафиксирован лишь один пример с употреблением полной формы прилагательного в предикативной функции:

Мф. 20—16. тако вѣдѣхъ послѣднии прѣвни и прѣвни послѣднии. М. А. (οὗτως ἔβουθα οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι).

Прилагательные локативного и темпорального значения, образованные от наречий, в атрибутивной функции в краткой форме не зафиксиро-

¹ Другими словами, если относительное прилагательное может иметь краткую форму в предикате (например прилагательное *необорив* (и), а. о. — бесспорный, не-преоборимый), — *овај доказ је необорив* — (это доказательство бесспорно, т. е. неопровержимо), то полная форма в предикате будет уже невозможна. Нельзя сказать: *Овај доказ је необориви*. В современном сербохорватском языке краткие и полные формы в предикате не могут существовать, подобно тому как это имеет место в современном русском языке: *это доказательство бесспорно* — *это доказательство бесспорное*. Притом в данном случае, т. е. когда в предикате употребляется исключительно краткая форма, в атрибутивной функции в им. (вин.) падеже должна обязательно сохраняться корреляция двух форм (*необориви доказ*; *необорив доказ*; например, *Необориви доказ натерао га је да призна своју кривицу* ([это] неопровержимое доказательство заставило его признать свою вину), наряду с *само необорив доказ може да га натера да призна своју кривицу* (только неопровержимое доказательство может заставить его признать свою вину). Если же в атрибутивной функции во всех случаях употребляется лишь полная форма (например прилагательное *тајни*, а, о — тайный — *тај и ортак ми је рекао* (тайный компаньон мне сказал), наряду с *за тај посао може да се нађе тајни ортак*. (Для этого дела можно найти тайного компаньона), т. е. противопоставление в атрибуте отсутствует, — в предикате краткая форма невозможна и употребляется лишь одна полная форма. Поэтому нельзя сказать: *овај ортак је тајан*, а можно сказать лишь — *овај ортак је тајни* (этот компаньон — тайный). То же положение наблюдается и с относительными прилагательными на -ски и другими группами относительных прилагательных, перечисленными выше. Качественные прилагательные в этом отношении ничем не отличаются от относительных. Нужно отметить только, что число качественных прилагательных, имеющих исключительно полную форму, весьма незначительно. Так, в атрибутивной функции возможно: *он је метнуо на главу црни шешир и изишао* (он одел черную шляпу — эту, определенную — и вышел); *црни шешир му је врло добро стојао* (черная шляпа — вообще — ему очень шла). В предикативной функции: *његов шешир је био црн* (его шляпа была черная) форма — *је био црни* — невозможна. Параллельно этой группе примеров можно привести следующие: *он је метнуо на главу свој мали качкет и изишао* (он одел свою маленькую кепку и вышел); *мали качкет му је врло добро стојао* (маленькая кепка ему очень шла) и, наконец: *његов качкет је био мали* (его кепка была маленькой).

² Об ударении см. Буро Д а н и ч и ћ. Српски акценти. Београд-Сремски Карловци, 1925.

рованы (§ 13). В предикативной функции другие прилагательные этой группы (кроме *покладливый*) не обнаружены. Можно также предположить, что указанная группа прилагательных вообще не имела краткой формы.

4. КРАТКИЕ И ПОЛНЫЕ ФОРМЫ СУБСТАНТИВИРОВАННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

§ 41. Прилагательное, субстантивируясь, переходит из сферы выражения атрибутивных отношений в сферу выражения предметных отношений. При этом и с формальной стороны прилагательное лишается некоторых признаков своей категории и приближается к категории существительного. Переходя в существительное, субстантивированное прилагательное не теряет в полной мере связи с категорией прилагательного потому, что при субстантивизации, как правило, название предмета заменяется названием его наиболее характерного и постоянного свойства, затем уже само это свойство начинает обозначать предмет¹. В зависимости от того, насколько утрачено значение свойства (качества), можно говорить о той или иной степени субстантивации прилагательного.

Нужно отметить, однако, что не всякое прилагательное, не во всех случаях может быть субстантивировано. Для субстантивации необходимы известные условия. Основным и в большинстве случаев решающим условием нужно считать наличие определенного лексического ряда субстантивированных прилагательных².

При рассмотрении субстантивированных прилагательных применялись различные классификации в зависимости от того, с какой стороны исследовалась данная категория. Так, при изучении самого процесса субстантивации отмечались обычно четыре основных момента перехода прилагательных в существительные: 1) прилагательные с начальной субстантивацией; 2) атрибутивно-субстантивные прилагательные; 3) прилагательные с завершающейся субстантивацией; 4) прилагательные с законченной субстантивацией. При рассмотрении семантической стороны данной категории устанавливаются различные ряды субстантивированных прилагательных. А. Пешковский разграничивает субстантивированные прилагательные еще по одному признаку. „Можно сказать, — утверждает А. Пешковский, — что в прилагательном есть намек на предмет, и если предмет настолько известен, что одного намека достаточно, или если, напротив, он неизвестен, но говорящий не хочет сделать его

¹ На этот процесс впервые обратил внимание А. Потехин. Он писал: „Я думаю, что во всяком языке, имеющем прилагательное, эта часть речи может указывать на носителя признака и в этом смысле обозначать его“. — „Из записок по русской грамматике“, т. I—II, стр. 97; см. также т. III, стр. 49—50, 59—64. Основные положения А. Потехина были развиты А. Шахматовым („Субстантивация — переход в существительные самих названий признаков“. — „Синтаксис русского языка“, стр. 455 и далее) и А. Пешковским („Вообще в прилагательных признак ведь изображен не сам, а как заложенный в предмете, и потому в нем заключено и смутное указание на самый предмет, в котором заложен данный признак“. — „Русский синтаксис в научном освещении“, стр. 146).

² О принципе классификации по лексическим рядам см. Л. Б. Перльмуттер. Переход прилагательных в существительные. „Русский язык в школе“, 1948, № 1, стр. 12—21. См. также диссерт.: И. М. Подгаецкая. Переход прилагательных и причастий в существительные в истории русского литературного языка XVIII—XX вв. М. 1950. „Пешковский рисует процесс субстантивизации как прикрепление прилагательных к существительным. В целях экономии существительное в дальнейшем не употребляется в речи. Но не всегда языковая практика подтверждает эту теорию. Почему не субстантивизируется, например „вечная ручка“? Потому что нет других названий для ручки. А какая еще бывает ручка? Для субстантивации нужно, чтобы были ряды“. Например, ряд комнат: ванная, столовая, передняя, прихожая, кладовая и т. п. См. Л. Б. Перльмуттер. Указ. соч., стр. 14.

известным, а хочет только намекнуть на него — существительное опущено¹. В одних случаях, полагает А. Пешковский, „существительное опущено потому, что оно было хорошо известно разговаривающим... в других случаях мы употребляем прилагательные в смысле существительных нарочно, чтобы не думать о каком-нибудь определенном предмете, а только о своих предметах, имеющих данный признак“². Разграничение это близко по своей сущности к классификации по принципу „определенности“ (единичности) и „неопределенности“ (неединичности), и если при исследовании материала современного русского языка оно едва ли имеет первостепенное значение, то при разрешении нашей проблемы такое разграничение крайне важно.

Поэтому при рассмотрении материала старославянского языка для выяснения значений кратких и полных форм прилагательных наиболее правильным принципом классификации нам представляется следующий:

1. распределение субстантивированных прилагательных по рядам;
2. обнаружение прилагательных с единичным и неединичным значением внутри каждого ряда субстантивированных прилагательных.

Степень субстантивации отмечается лишь в отдельных случаях, так как с одной стороны, для старославянского языка она трудно определима, с другой, — она не является решающим фактором при употреблении полной (геср. краткой) формы прилагательного. В той же мере безразлично, в качестве какого члена предложения (подлежащего или дополнения) выступает субстантивированное прилагательное; более важным является учет различных других синтаксических и лексических связей отдельных субстантивированных прилагательных в атрибутивной функции.

Отметим также, что не всякое прилагательное, выступающее самостоятельно, без существительного, можно считать субстантивированным. Есть такие случаи, как например:

Ио. 2—10: гла̄ емоӯ вѣткѣ члѣкѣ прѣжде̄ доброе̄ вино̄ полагаатѣ і егда̄ оупиѣтѣ ед̄ тогда̄ тачѣ. М. З. А.; Лк. 23—30, 31. глатѣ̄ горамѣ̄ ... зане̄ аште̄ къ смирѣ̄ дрѣвѣ̄ сӣ творатѣ̄ къ соудѣ̄ что̄ вѣдетѣ. М. З.

Здесь налицо обычное опущение существительного, допущенное во избежание вторичного повторения одного и того же слова.

§ 42. Наиболее многочисленной является группа субстантивированных прилагательных со значением лица. Разнообразии лексических значений прилагательных, входящих в состав этой группы, дает возможность установить еще ряд подгрупп (лексических рядов) внутри общего лексического ряда лица. Таковыми являются: субстантивированные прилагательные, характеризующие лицо по индивидуальным качествам, по физическим качествам, по социальному положению, по степени родства, по локальному и темпоральному признаку и др.

§ 43. В исследуемых кодексах зафиксированы следующие субстантивированные прилагательные, характеризующие лицо по качествам характера: вѣрнѣи, некрѣнѣи, грѣшнѣи, добрѣи, благѣи, злыи, кроткѣи, милостивѣи, правдѣи, неправдѣи, мѣдрѣи, прѣмѣдрѣи, разумѣи, ниции (дѣснѣ), чистѣи (срдѣцѣи).

Субстантивированные прилагательные со значением неединичности: Лк. 16—10. вѣрнѣӣ къ малѣ̄ и къ мнозѣ̄ вѣренѣ̄ естѣ і неправдѣӣ къ малѣ̄ и къ мнозѣ̄ неправденѣ̄ естѣ. М. З. А. С. (ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ... ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἀδικός).

¹ А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении, М. 1938, стр. 346.

² Там же, стр. 146.

В приведенных примерах прилагательные вѣрными и неправедными обозначают лицо в обобщенном смысле — тот, кто верен (генерализующая функция)¹, — в атрибутивной функции в этом случае обычна краткая форма.

В той же функции выступает прилагательное злыми в примере: Мф. 5—45. Ико слышце словѣ снѣвѣтъ на злого и на добраго и дждитъ на праведныи и обидальныи. С.

Если же субстантивированное прилагательное, обозначающее в единственном числе лицо в обобщенном смысле, заменяется соответствующим субстантивированным прилагательным во множественном числе, то обычно фиксируется краткая форма (вообще злые, вообще добрые). Сравните тот же пример:

Мф. 5—45. ѣко слышце словѣ снѣвѣтъ на злыи и благыи и дждитъ на праведныи и на неправедныи. М.; то же З., где зафиксировано праведныи (ἐπι πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς... ἐπι δικαιοὺς καὶ ἀδικοὺς); здесь уже преобладает краткая форма, но ее нельзя считать единственно возможной для данного случая. Сравните тот же пример в Ассем. к., где во всех случаях зафиксирована полная форма (злымиа, благыиа, праведныиа, неправедныиа). Число колебаний в данном положении достаточно велико, значительная часть разночтений относится именно к этому случаю употребления субстантивированных прилагательных. Например:

Мф. 11—25. ѣко оутанаъ еси се отъ прѣмѣдрѣи хъ и разоумныи хъ. М. З. (ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν). В том же контексте:

Лк. 10—21. ѣко оутанаъ еси се отъ прѣмѣдръ и разоуменъ². М. З. А. С. 31, 128. (ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν).

Отметим случай, где краткая форма субстантивированного прилагательного выступает наряду с существительными:

Мф. 23—24. сего ради се азъ снѣа къ вамъ пркыи и прѣмѣдрыи и книжники. М. А. (σοφοὺς...).

Краткая форма выступает вместо существительного (единственный случай разночтения такого рода).

Лк. 6—32. и грѣшныи ко кбвѣцаа и хъ лѣбѣтъ. С. (οἱ ἀμαρτωλοὶ).

В других кодексах грѣшныи — М. З. А., в том же кодексе далее грѣшныи — Лк. 6—33.

Краткая форма употреблена после прилагательного в атрибутивной функции:

Мр. 6—13. и мазаахъ олемъ многыи неджжыи и ицѣлаахъ. М. (πολλοὺς ἀρρώστους); Мр. 1—34; и ицѣли многыи неджжыи имъшгѣ различныи кса. М. (πολλοὺς κακῶς ἔχοντας).

В Зографском кодексе в обоих случаях полная форма неджжыиа.

В употреблении краткой и полной формы субстантивированных прилагательных данного ряда со значением неединичности трудно устано-

¹ Ср. в современном болгарском языке в той же функции последовательно употребляется постпозитивный член: *умният винаги побеждава*.

² Отметим также случай разночтения в так называемых „заповедях блаженства“; Мф. 5—5. блаженни кротцыи яко ти наследѣтъ земьж. С. А.; кротцы. З.; Мф. 5—8. блаженни чисти срдцемъ яко ти къ бзврѣ. С. З.; чисти. А.; Мф. 5—3. блаженни нищии дхъмъ яко... С. З.; нищии. А. Без разночтения зафиксирован лишь один пример: Мф. 5—7. блаженни милостивии яко ти... С. З. А.

вить четкую закономерность: наряду с краткой формой выступает и полная:

Мр. 6—56. и тможе колиждо взхождаше кз влси ли кз грды ли кз села на рсплтихъ полагаахъ недъжжнннн. М. З. (τοὺς ἀσθενούτας); Ио. 6—2. и по нема идѣше народа много тко видѣахъ знамениѣ тже творѣше на недъжжнннхъ. М. З. А. (ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων).

Полная форма в рассматриваемом положении является в общем более употребительной¹.

Последовательное употребление полной формы зафиксировано в случаях при противопоставлении одного субстантивированного прилагательного (во множественном числе) — другому, при этом оба прилагательных вместе означают определенный круг лиц, взятый целиком (для данного контекста).

Мф. 13—47, 48, 49. пакли подобно естѣ цр҃ствіе небѣское неководу кзвръженоу кз море и отз клѣкого рода извзракъшио... сѣдѣше избраша добрннн кз свѣды, а злннн изкрягъ конз (тѣ калѣ... тѣ сапрѣ)... тако кждетѣ кз сконзачанне кѣка изидѣтѣ анѣн и отзлжчатѣ злннн отз срѣды праведнннхъ. М. З. С. (τοὺς πονηροὺς τῶν δικαίων).

Данный пример отличается от остальных приведенных выше: в нем субстантивированные прилагательные означают не злых и праведных вообще, а злых и добрых в определенных конкретных условиях, взятых при этом полностью: здесь значение неединичности отсутствует. То же приблизительно положение наблюдается в примерах, где субстантивированное прилагательное выступает наряду с определительным местоимением клсѣ².

Лк. 13—17. и клси люднє радоваахѣ сѣ о клѣхъ слвкнннхъ блкнннштннхъ отз него. М. З. С. (ἐπὶ πάντων τοῖς ἐνδόξοις).

С местоимением клсѣ зафиксировано лишь одно разночтение, вызванное, вероятно, тем, что определение клсѣ относится более к словам тже срѣтѣж, а не к субстантивированным прилагательным злннн, дсррнн, которые несколько обособлены:

Мф. 22—10. свѣзраша клсѣ тже сврѣтѣж злннн же и дсррнн. М. (πάντας... πονηροὺς τε καὶ ἀγαθοὺς); в Ассеманиевом кодексе полная форма: злннн и дсррнн.

В таком примере, как: Мф. 25—1 по 9. тгда оуподобитѣ сѣ цр҃ствіе небѣское десяти дѣкѣ... патѣ же вѣ отз нихъ боуи и патѣ мждрѣ... боуѣ ко премннн сѣѣтнннннннн скѣѣ не взвннн сѣ скѣѣ обѣ. а мждрннн при-

¹ Помимо изложенных примеров, приведем остальные: Мф. 13—43. тгда праведннн проскѣтѣтѣ сѣ тко слвкннн. М. З. А. (οἱ δίκαιοι); Мф. 23—29. тко зждѣтѣ грѣкы преслѣскннн и красннѣ ракы праведнннхъ. М. (τῶν δικαίων); Лк. 1—17. обратнн срѣдѣца отцннн на члѣдѣ и прннннннннн кз мждрѣстѣ праведнннхъ. М. З. А. (ἀπειθεῖς... δικαίων); Лк. 14—14. взѣдѣстѣ ко ти сѣ ко вскрѣшеннн правднннхъ. М. З. (τῶν δικαίων); Лк. 12—46. и прѣтнштѣ частѣ нго сѣ невѣрнннн положнтѣ. М. З. (τῶν ἀπίστων); Лк. 6—35. тко тѣ благѣ естѣ на невѣзлѣгѣдѣтнннн и злннн. М. З. А. (ἐπὶ τοὺς ἀχάριστους καὶ πονηροὺς).

² Сюда же относятся случаи, когда местоимение всѣѣ отсутствует, но сам контекст указывает на то, что в данных условиях речь идет обо всех вместе взятых лицах с определенными индивидуальными качествами. Для этих случаев характерна полная форма: Лк. 10—8, 9. и вѣ нже г(д)радѣ колиждо вхѣднтѣ... цѣнтѣ недъжжннн нже сѣтѣ кз немѣ. М. З. (τοὺς ἐν αὐτῇ ἄστενεῖς); Мф. 14—14. и ншѣдѣ не видѣ народа много и многѣ о нихъ и нсѣѣн недъжжннн нихъ. М. З. А. С. (τοὺς ἀρρώστους).

БѢША СЛѢИ... БОУА РѢША МѢДРЫИМЪ... ОТВѢЩАША ЖЕ МѢДРАИ ГЛѢЩА.
 М. З.; БОУА РѢША МѢДРЫИМЪ. С. А. (αἱ γὰρ μωραὶ λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας... αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαιον αἱ ἐς μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπαν... ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι...), наблюдается вторичная упомянутость лица; однако, как видно из примера, полная форма в этих условиях выступает не всегда последовательно¹. Для рассмотренного примера нужно признать также момент неполной субстантивации.

Значение единичности, полная субстантивация и вышеупомянутость характерны для следующего примера, взятого, из другого лексического ряда:

Ио. 5—7. ОТВѢЩА ЕМОУ НЕДѢЖЪИ. М. З. А. (ὁ ἀσθενῶν); предыдущий контекст: БѢ ЖЕ ТΟΥ ЕДИНЪ ЧАКЪА Н І СМЪ ЛѢТЪ ИМЪ КЪ НЕДѢЖЪ СВОЕМА. Здесь зафиксирована только полная форма без различий.

При обращении (звательный „падеж“) довольно последовательно употребляется полная форма:

Лк. 1—28. КАШЕДЪ КЪ НЕН АНѢСЪ Рече радуи СЪ БЛАГОДАТНАѢ ГЪ СЪ ТВОЕЖ. М. З. А. (χαῖρε κεχαριστομένη); Лк. 4—34. БѢМА ТЪ КТО ЕИ СЪТЪ БЖИ. М. З.; СЪТЪ А. (ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ).

Разночтение зафиксировано лишь в одном примере:

Лк. 24—25. І ТЪ Рече КЪ НИМА: Ѡ НЕГЪМЪИГЪНАА И МѢДЪНА СРДЦЕМЪ. М.; МѢДЪНАА. З. А. (ὁ ἀνόητος καὶ βραδείς τῇ καρδίᾳ).

Колебания в употреблении полной или краткой формы вызвано противодействием двух факторов. Звательный „падеж“ требует полной формы, а при обстоятельственном определении в творительном падеже (срдцемъ) выступает обычно прилагательное в краткой форме.

Флексия звательного „падежа“ единственного числа на -е редко употребительна.

Лк. 12—20. Рече же емоу БЪ БЕЗОУМАНЕ КЪ СМЪ НОЦА ДШЖ ТВОЖ ИСЪТЪ СМѢТЪ ОТЪ ТЕБЕ. М. З. А.; БЕЗОУМАН. С. (ἄφρων), ср. БОУЕ (см. ниже, § 44).

После указательного местоимения всегда, без исключения, выступает полная форма субстантивированного прилагательного:

Мф. 27—24. НЕ ПОКИНЕНЪ ЕМЪ ОТЪ КЪКЪ ЕГО ПРАВЕДНААГО. М. А. С.; ПРАВЕДНААГО. З. (τούτου τοῦ δικαίου).

§ 44. В исследуемых кодексах зафиксированы следующие субстантивированные прилагательные, характеризующие лицо по физическим качествам: ГЛУХИ, СЛѢПИ, ХРОМИ, НѢМАИ и др.

Употребление краткой и полной формы вызвано в основном теми же факторами, что и в предыдущем лексическом ряду субстантивированных прилагательных.

Субстантивированные прилагательные со значением неединичности выступают и в краткой и в полной форме. В этом положении зафиксировано значительное число колебаний.

Мр. 7—32. І ПРИКЪСА КЪ НЕМОУ ГЛУХА ГЖГНИКЪ І МОЛѢХЪ (κωφὸν καὶ μουλάλον). М. С.; ГЛУХЪ ГЖГНИКЪ. З.; ГЛУХА И НѢМА. А.; Лк. 7—21. І МНОГОМЪ СЛѢПОМЪ ДАРОВА ПРОЗРѢНИЕ. М. З. (τυφλοῖς πολλοῖς); Лк. 4—19.

¹ Ср. также: Мф. 21—40, 41. егда же оубо придетъ гнь винограда чьто сътворитъ дѣла телема тѣма. зъма зъкѣ погоубитъ ѿ и винограда прѣдестъ никѣма дѣла телема. М. А.; зъма. С. (κακῶς κακῶς ἀπολέσει αὐτοῦς). Здесь, однако, нет вторичной упомянутости самого субстантивированного прилагательного.

проповѣдѣтѣ пѣньникомъ отъпоуштеніе і сѣпѣимѣ проздрѣніе¹. М. А. С. (τυφλοῖς); Ио. 10—21. ии глаахж... еда вѣсѣ можетѣ сѣпомѣ очи откѣрѣти. М. З.; сѣпѣимѣ. А. (τυφλῶν); Ио. 5—3. кѣ тѣхѣ лежаще множаство болаштинѣхъ сѣпѣнѣ, хромѣ, соухѣ чащѣинѣхъ движениѣ воде. М. З. А. (πλῆθος τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν ξηρῶν.); Мф. 15—30. і пристѣпнша кѣ нему народи ма(но)зи имѣиѣ сѣ секож хромѣ, нѣмаі и сѣпѣі и вѣсѣзнаі і ині маголі. М. З. (χολοῦς, τυφλοῦς, κωφοῦς, κυλλοῦς).

Употребление краткой формы в последнем примере закреплено, повидимому, наличием причастия имѣиѣ, за которым следуют субстантивированные прилагательные (ср. § 9)².

Число примеров, где субстантивированное прилагательное выступает с уникализированным значением, незначительно. К ним можно отнести случаи употребления субстантивированного прилагательного во множественном числе с определительным местоимением всѣ.

Мр. 1—32. приношаахж кѣ нему всѣ недѣжжаныѣ и вѣсѣзнаѣ. М.; только: всѣ надѣжжаныѣ. З. (πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαίμονιζομένους), а также:

Мф. 4—24. і прикѣса емоу всѣ болаштаѣ различными недѣжгі і страстами ѡдражмаі і вѣсѣзнаѣ и мѣсѣчаныѣ зѣлы недѣжгі имѣшта і ослабленѣ жилами і исцѣлѣнѣ. З. (δαίμονιζομένους). Случаи вышеупомянутости:

Мф. 9—32, 33. се прикѣса чѣвкѣ нѣма вѣсѣнѣ і изгнаноу вѣсоу прогла нѣмаі. М. З. А.; гложѣ, вѣсѣноуѣнѣ сѣ, гложѣ. С. (ἄνθρωπον κωρὸν δαίμονιζόμενον... ὁ κωφός); Ио. 11—37. еднн же отѣ ниѣхѣ рѣша не можаше ли сѣ откѣрѣзѣи очи сѣпоуемоу сѣтворити да и сѣ не оумѣретѣ. М. З. А.; сѣпѣиѣю. С. (τοῦ τυφλοῦ). Речь идет о предшествующем прозрении слепого (см. Ио. 11 гл.).

Естественно, что краткая форма в первом примере чѣвкѣ гложѣ не выражает индивидуализации лица (какой-то из многих глухих, вообще глухой, лицо упомянутое впервые). Однако в исследуемых кодексах есть случаи, где эта единичность выступает достаточно ярко: Мф. 12—22.

¹ Этот пример может быть растолкован и как „всем слепым прозрение“, тогда в нем уже нельзя усматривать значения неединичности, полная форма вполне закономерна. См. первый пример, где есть определение многѡма (не всем). Это же объяснение применимо к случаю: гери же неправдѣнымѣ и домѣштимѣ кѣ ты днн, встречающимся в исследуемых текстах трижды: Мф. 24—19, М. А. С.; Мр. 13—17, М. З.; Лк. 21—23, М. З. (ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχρούσις καὶ ταῖς θηλασοῦσαις).

² Остальные примеры: с краткой формой: Мф. 21—14. пристѣпнша кѣ нему хромн и сѣпѣнн кѣ цркѣ и исцѣлѣнѣ. М. (τυφλοὶ καὶ χωλοὶ); Лк. 14—13. нѣ егда тѣршиши пирѣ зѡки ништаѣ малѣмошти хромн сѣпѣнн. М. З. (χολοῦς τυφλοῦς). С полной формой: Лк. 7—22. кѣже видѣста и слышѣста кѣко сѣпѣнн прозиражѣ хромнн ходѣтѣ. . . гложѣнн слышѣтѣ. М. З. (τυφλοὶ... χωλοὶ... κωφοὶ); Мр. 7—37. днѣвѣкаж сѣ гложѣ доверѣ всѣ творитѣ (і) гложѣ тѣ творитѣ слышѣти і нѣма глати. М. З. А. С. (τοὺς κωφοῦς... καὶ ἀλάλους); Лк. 14—21. рече ракоу своѣмоу. . . і ништаѣ и вѣдѣнымѣ и хромнымѣ и слѣпымѣ вѣведи сѣмо. М. З. А. С. (τυφλοῦς... χωλοῦς). Для этого примера также можно предположить наличие момента единичности — собери всех нищих, бедных, хромых и слепых. Лк. 5—31. не трѣбоуѣжѣтѣ сѣдрѣвнн врача нѣ болашнн. М. З.; сѣдрѣвнн. А. (οἱ ὑγιζίνοντες); то же, только полная форма без разночтения: Мф. 9—12. М. А. С., Мр. 2—17, М. З. А. С. (οἱ ἰσχύοντες). С разночтениями: Мф. 15—31. кѣко народоу днѣвнн сѣ видѣше нѣма гложѣ вѣдѣнымѣ сѣдрѣвнн і хромнымѣ ходѣштѣ сѣпѣпымѣ видѣштѣ. М.; нѣма хромнн, слѣпнн. З. (κωφοῦς... χωλοῦς); Мф. 11—4.5. шедѣше вѣзвѣстѣти ноановнн сѣпѣнн прозиражѣ і хромнн ходѣтѣ. . . и гложѣнн слышѣтѣ. М. А. хромнн. З. (τυφλοὶ... χωλοὶ... κωφοὶ).

ТЪГДА ПРИКЪСА КЪ НЕМОУ ВЪСЪНЪЖИМА СЪ СЛѢПЪ И НѢМЪ И ИЩЕЛИ И КЪ СЛѢПЪ И НѢМЪ ГЛАШЕ И ГЛАДАШЕ. М. В Зографском кодексе СЛѢПЪ и ГЛОУЧЪ — при вторичном упоминании. (Τότε προσηνήχθη αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφὸς καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν ὥστε τὸν κωφὸν λαλεῖν)¹. И тем не менее, несмотря на вышеупомянутость, употреблена краткая форма. Отметим, однако, что при подобных условиях полная форма встречается гораздо чаще краткой².

При обращении (звательный „падеж“):

Мф. 23—17. БОУИ и СЛѢПИИ КТО КОЛЕИ ЕСТЬ ЗЛАТО ЛИ ЛИ ЦРКВИ. М. (μοῦροι καὶ τυφλοί); аналогично — Мф. 23—19, М. Единственное число с флексей е:

Мф. — 5—22. иже речеть коуе повиненъ естъ геωνѣ ωγнанѣи. З. (μορέ).

К рассматриваемому лексическому ряду можно отнести и субстантивированные прилагательные, характеризующие лицо по отношению к жизни или смерти. Таковы: живи и мрътви. Почти во всех случаях, как и в тех, где выражается индивидуализация лица, так и в тех, где она не выражена, выступает полная форма³. Например:

Лк. 7—15. і съде мрътви и начатъ глаго. М. З. А.⁴ (ὁ νεκρὸς) — вторичное упоминание после слов се изнсаахъ сумерсиа снѣ. Лк. 24—5. рѣсте къ нимъ, чѣто ищете живаго съ мрътвии. М. З. А. (τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν) — обращение ангела к женам мироносицам.

Мф. 10—8. колица цѣлите мрътвиа вскрѣшите. М. З. С. (νεκρούς);

Лк. 7—22. ѣже видѣста... фко... прокаженни очиштажтъ съ гложни сали шатъ мрътвии встажтъ. М. З. (νεκροί).

Закреплен лишь один случай разночтения: Ио. 5—25. фко градеть година и нинѣ естъ егда мрътвии оуслышатъ гласъ сна вжитъ. М. А.; мрътви. З. (οἱ νεκροί).

¹ Ср. болгарский текст: „тогази му доведохъ единого вѣснумъ, слѣпъ и нѣмъ; и го исцѣли, штоо слѣпый и нѣмый и говорѣше и виждаше“.

² Ср. также примеры: Мф. 8—28, 33. сарѣте и дѣла ѣсна отъ жали исходаши лютѣ сѣло и шдаше въ града. възвѣстиша вскѣ и о ѣснаю. М. З. А.; в ѣснаю жши са. С. (δύο δαιμονιζόμενοι... τὰ τῶν δαιμονιζομένων); Мр. 8—22, 23. і прѣса къ немоу слѣпа и моуѣхъ и да и коснѣтъ і емъ за ржжъ слѣпаго. М. З. (τυφλόν... του τυφλού); Лк. 8—36. възвѣстиша же нимъ и видѣвшии како спаса са ѣсна ова. М. З. А.; ѣсна С. (ὁ δαιμονισθεὶς); Лк. 11—14. встѣ же ѣсоу изгнансѣ прегла нѣмы. М. З. (ὁ κωφός) и уже приведенный пример: Ио. 5—7. отвѣтша емоу неджиты. М. З. А. (ὁ ἀσθενῶν).

³ Ср. также: Ио. 11—41. възвѣсти же камень идеже ѣ лежѣ мрътви. С.; сумеры. М.

⁴ С субстантивированным прилагательным живи — два случая: один — приведенный выше, другой — Мф. 22—32. и есть къ мрътвихъ нѣ живихъ. М. (ζῶντων); аналогично — Мр. 12—27, М. З. и Лк. Лк. 20—38, М. З. С субстантивированным прилагательным мрътви — 32 случая: 4 приведенных и 28 остальных. Укажем на основные: Ио. 5—21. фко ко оцъ вскрѣшатъ мрътвиа и живитъ. М. З. А. (τοὺς νεκρούς); Мф. 22—31. о вскрѣши же мрътвихъ и есть ли члн. М. (τῶν νεκρῶν); аналогично — Мр. 12—26, М. З., Мф. 23—27. внжтрѣдъ же пѣни сѣтъ костни мрътвихъ. М. (τῶν νεκρῶν); Лк. 16—30. нѣ и ште къ то отъ мрътвихъ идѣтъ къ нимъ. М. З. А. С. (ἀπὸ νεκρῶν); Лк. 20—37. а ѣже встажтъ мрътви. М. З. (οἱ νεκροί); Мф. 8—22. і е гласъ емс. . остави мрътвиа по рети свохъ мрътвихъ. С; своа мрътвиа. М. З. А.; то же: Лк. 9—60, М. З. А. С. (ἵψες τοὺς νεκρούς θάψαι τοὺς ἐχθρῶν νεκρούς); Ио. 20—9. подаватъ емоу отъ мрътвихъ вскрѣжити. М. А. Кроме того, зафиксированы еще аналогичные примеры, всего 21: в Мар. к. — 20 раз, в Зогр. к. — 17 раз, в Ассем. к. — 16 раз, в Савв. кн. — 6 раз.

§ 45. В исследуемых кодексах зафиксированы следующие субстантивированные прилагательные, характеризующие лицо по социальному признаку богатыи, бѣдѣны, нищии, силѣныи, крѣпкѣи, сѣмѣренѣи и др.

Краткая форма зафиксирована только от прилагательных богатыѣ и нищѣ: Мр. 10—25. оудскѣ естѣ келѣвѣдоу еквоѣ игѣлиѣ оуши проти неже богатоу вѣ црствѣе вѣже вѣннѣи. М. З. (ἡ πλοῦσιον); аналогично. Мф. 19—23, М. А. С. и Лк. 18—25, М. З. А. С. Мр. 19—23. тѣко не оудскѣ богатоу вѣннѣи вѣ црствѣо нѣкѣо. С.; вѣннѣтѣ богатыѣ. М. (πλούσιος).

Здесь краткая форма прилагательного выступает в генерализующей функции (ср. примеры в § 43, где зафиксирована полная форма), значение единичности отсутствует. Нет значения единичности и в следующих примерах;

Мр. 12—41. и мнози богатыи вѣмѣтѣахъ многа. М. З. (πολλοὶ πλούσιοι); Лк. 6—24. обаче горе вѣмѣтѣ богатыимѣ. М. З. (τοὶς πλούσιοις).

Прилагательное нищѣ выступает в полной форме, притом необходимо отметить, что почти все примеры относятся к случаям неединичности:

Мф. 26—11. вѣсѣгда во нищѣа имѣте сѣ совоѣѣ. М. З. А. С. (τοὺς πτωχοὺς). В том же контексте: Мр. 14—7, М. З. и Ио. 12—8, М. З. А. С.; Лк. 14—21. и нищѣа и бѣдѣнѣа и хромѣа и слѣпѣа вѣвѣди сѣмо. М. З. А. С. (τοὺς πτωχοὺς); Лк. 14—13. нѣ егда тѣвориши пѣрѣ зоби нищѣа, маломощѣи, хромѣи, слѣпѣи. М. З. (πτωχοὺς ἀναπήρους)¹.

Для других прилагательных данного лексического ряда характерна также полная форма:

Лк. 1—52. низложѣи силѣнѣа сѣ прѣстола и вѣзнѣе сѣмѣренѣа. М. З. (δυνάστης... ταπεινός); Лк. 11—21. егда крѣпкѣи оурѣжа сѣ хранитѣ свои двора. М. З. (ὁ ἰσχυρός); Мф. 20—25. и величѣи овладаѣтѣ малинѣи. М. (οἱ μεγάλοι). Здесь в трех примерах прилагательное выступает в значении неединичности, так же как и в первом случае следующего примера.

Мр. 3—27. никтоже не можетѣ сѣздѣа крѣпкааго вѣшедѣ вѣ дома его расхѣтитѣ аште не прѣжде крѣпкааго сѣвѣжетѣ и тѣгда дома его расхѣтитѣ. М. З. (τοῦ ἰσχυροῦ... τὸν ἰσχυρόν). Аналогично — Мф. 12—29, М. З. Второй случай — уже вторичная упомянность лица. Вышеупомянность также и в примере:

Лк. 16—19 по 22. чѣкѣ же единѣ вѣ богатыѣ... нищѣ же бѣ единѣ... и желѣашѣ насытитѣ сѣ отѣ кроуницѣ падаѣштинѣхъ отѣ трапѣзы богатыадо... вѣстѣ же оумѣрѣти нищѣмоу... оумѣрѣтѣ же и богатыи. М. З. А.; оумѣрѣтѣ же и богатыи чѣ. С. (τοῦ πλουσίου... τὸν πτωχόν... ὁ πλούσιος). В Саввиной книге вторичная упомянность закреплена указательным местоимением.

Значение единичности зафиксировано в примере:

¹ Приведем остальные примеры: Лк. 4—18. благоѣститѣ нищѣимѣ (всем?) послѣ ма М. А. С. (πτωχοῖς); Лк. 7—22. тѣже видѣста... мѣртѣви вѣстѣтѣ нищѣни благоѣстоуѣтѣ. М. З. (πτωχοῖ); Ио. 12—5. чѣсо ради мѣро се не продано вѣстѣ на тѣ пѣлѣкѣ и дано нищѣимѣ. М. З. А. С. (πτωχοῖς); примеров, аналогичных этому, зафиксировано еще шесть: в Савв. кн. — 2 раза, в Мар. к. — 6 раз, в Зогр. к. — 2 раза: в Ассем. к. — 3 раза. Важно отметить также пример, где, казалось бы, налицо разночтение: Ио. 12—6. се же рече кѣ яко о нищѣихъ печѣше сѣ но яко тѣтѣ кѣ. С. З.; нищѣихъ. М. А. (τῶν πτωχῶν). Есть основание полагать, что в данном случае не колебание, — полная и краткая форма, — а стяжение гласных в слове „нищихъ“, об этом свидетельствует и предшествующий контекст: Ио. 12—15. чѣсо ради мѣро се не продано вѣстѣ... и дано нищѣимѣ.

Лк. 1—49. ѣко сѣткори мѣнѣ величѣт снзѣнѣи і сѣкто има его. М. З. А. (ὁ θυνατός).

Субстантивированные прилагательные в сравнительной степени зафиксированы лишь в именительном падеже единственного числа, где краткая и полная форма совпадают.

Лк. 7—28. мѣни же кѣ цѣрѣтѣи кожи колни его сѣтѣ. М. З. (ὁ δὲ μικρότερος); аналогично — Мф. 11—11; Лк. 11—22. а понеже кѣтѣи его ашѣдѣ пѣвѣдѣтѣ. М. З. (ισχυρότερος).

С указательным местоимением последовательно полная форма:

Мф. 25—45. понеже не сѣткористѣ единомуу отѣ снхѣ мѣнѣи снхѣ ни мѣт сѣткористѣ. М. З. А. С. (ἐπὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων); то же и при положительной степени:

Мр. 9—42. иже аще сѣвѣдѣтѣ единого отѣ мѣнѣи снхѣ вѣтѣру ижѣтѣи снхѣ вѣ мѣ. М. З. (τῶν μικρῶν τούτων); то же: Мф. 18—6, М.; Лк. 17—2, М. З.; аналогично — Мф. 18—10, М. А. С.; Мф. 18—14, М. А. С.

§ 46. В исследуемых кодексах зафиксировано следующее субстантивированное прилагательное, характеризующее лицо по степени родства: иначѣдѣи.

Ио. 1—14. видѣхомѣ сѣвѣж его сѣвѣж ѣко иначѣдѣего отѣ оца. М. З. А. (μονογενούς). (Ср. § 19).

К этому же лексическому ряду можно отнести и субстантивированные прилагательные, характеризующие лицо в отношении его близости или отдаленности от других лиц. Таковы: тоуждѣи, блѣжѣни (искрѣни).

Ио. 10—4, 5. егда сѣоѣ оѣца ижѣдѣтѣ. . . оѣца по немѣ ижѣтѣ ѣко вѣдѣтѣ глѣдѣ его по тоуждѣемѣ же не ижѣтѣ иѣ вѣжѣтѣ отѣ него. ѣко не знѣжѣтѣ тоуждѣи снхѣ глѣдѣ. М.; штюжѣдѣго. З.; тоуждѣдѣго. А. (ἀλλοτρίω. . . τῶν ἀλλοτρίων); Лк. 10—27. вѣзѣкѣи блѣжѣнѣдѣго сѣоѣго тако і сѣмѣ сѣ. С., искрѣнѣдѣго. М. А.; подѣоѣтѣ. З. (τὸν πλησίον). То же: Мф. 5—43, М. З. А. С.; Мф. 19—19, М. А. С.; Мф. 22—39, М. А. С.; то же, где и в Зографском кодексе искрѣнѣдѣго: Мр. 12—31, М. З. А.; аналогично — Мр. 12—33, М. З. А.

Во всех случаях зафиксирована полная форма, хотя значения единичности в рассмотренных примерах нет. Отметим, что прилагательное блѣжѣни образовано от предлога-наречия блѣзѣ; можно полагать, что краткая форма от него в старославянском языке была невозможна (ср. § 13). Ягич в словаре Маринского кодекса дает только блѣжѣни. Прилагательное блѣжѣни можно отнести также к лексическому ряду, обозначающему лицо по локальному признаку.

§ 47. Субстантивированное прилагательное, характеризующее лицо по темпоральному признаку, — дрѣкѣлѣни:

Мф. 5—27. слѣшѣтѣ ѣко рѣчено вѣтѣ дрѣкѣлѣнѣмѣ. М. З. (τοῖς ἀρχαίοις); то же: М. 5—33, М. З.; Лк. 9—19. оѣи же (рѣшѣ) ѣко рѣкѣ единѣ дрѣкѣлѣнѣи снхѣ вѣскрѣсѣ. М. З. (τις τῶν ἀρχαίων); аналогично — Лк. 9—8, М. З.

Субстантивированное прилагательное дрѣкѣлѣни, так же как и блѣжѣни, известно было, видимо, только в полной форме. У Ягича в словаре только дрѣкѣлѣни.

Субстантивированные прилагательные, характеризующие лицо по локальному признаку: вѣшѣдѣни, нижѣдѣни, пѣслѣдѣдѣни.

Мф. 20—16. тако вѣжѣтѣтѣ пѣслѣдѣдѣни рѣзѣви і рѣзѣви пѣслѣдѣдѣни. М. З. (οἱ ἔσχατοι); то же: Мр. 10—31, М. З.; Мф. 20—8. і даждѣ имѣ

мѣздѣ наченѣ отъ послѣднихъ до прѣвѣихъ. (*τῶν ἐσχάτων*); аналогично: Ио. 8—9, М.; Ио. 8—23. глѣдше имѣ вѣ отъ нижнихъ естѣ азъ отъ вышнихъ есмѣ. М. З. А. В Зографском кодексе только отъ вышнихъ (*ἐκ τῶν κάτω. . . ἐκ τῶν ἄνω*); то же: Ио. 8—23, М. З. А.; Лк. 19—38. мирѣ нѣбсе и слава вѣ вышнихъ. М. З. (*ἐν ὑψίστοις*); аналогично — Лк. 2—14, М. З. А. С.; Мф. 21—9, М. С.

Субстантивированные прилагательные данного лексического ряда выступают всегда в полной форме, независимо от того, выражают они единичность лица или нет (сравн. § 13).

Случай единичности:

Лк. 1—31. наречешн имѣ емоу игъ еѣ вѣдетѣ велии и гнѣ вышнѣаго наречетѣ еѣ. М. З. А.; аналогично — Лк. 1—76, М. З. А., Лк. 6—35, М. З. А. (*ὑψίστου*. Л. 1—32); Лк. 1—35. ахъ етѣ надетѣ на та и сила вышнѣаго оскнитѣ та. М. З. А. С. (*ὑψίστου*).

С указательным местоимением:

Мф. 20—14. хоштѣ же емоу послѣднимоу дати ѣко и тѣбѣ. М. А. (*τούτω τῷ ἐσχάτῳ*); Мф. 20—11—12. рѣпѣтаахъ на гнѣ глѣште како еѣа послѣднѣа единѣ чагѣ етѣворѣша. М.; ѣко еи послѣднн. А. (*οἱ ἐσχάτοι*).

К рассматриваемому лексическому ряду можно причислить также и субстантивированное прилагательное домаштѣннн.

Мф. 10—36. крази чѣкоу домаштѣннн его. М. З. (*οἱ οἰκιακοί*). У Ягича в словаре только домаштѣннн.

§ 48. Вне приведенных выше шести лексических рядов осталось субстантивированное прилагательное: стрѣнднн.

Мф. 27—7. еѣвѣтѣ же етѣворѣше коупиша имѣ еѣо еѣжделѣннкоѣ вѣ погрѣбаннн стрѣндннн М. З. А. С. (*τοῖς ξένοις*).

Таковы случаи употребления субстантивированных прилагательных, означающих лицо в исследуемых кодексах.

§ 49. Группа субстантивированных прилагательных с предметным значением крайне малочисленна. В исследуемых кодексах зафиксировано всего три примера:

Лк. 5—11. и извѣзше корабѣ на соухо и остаеше вѣсе вѣ еѣдѣ его идѣ. М. З.; на землѣ А. (*ἐπὶ τὴν γῆς*).

А. Вайан объясняет наличие краткой формы в данном примере тем, что считает его застывшим оборотом¹. Тем не менее, нет основания считать данный оборот извѣзше на соухо — фразеологическим единством или сращением. Скорее можно сблизить данную конструкцию краткого прилагательного с предлогом с конструкциями наречного характера (типа вѣ малѣ, из лихѣ — см. § 54), однако считать ее устойчивым наречным выражением едва ли правомерно. Основную причину наличия краткой формы в конструкции на соухо нужно искать в том, что субстантивированным качественным прилагательным является не какой-то конкретно выделяемый предмет, а предмет вообще (вообще суша, а не море).

Ио. 21—5. глѣ же имѣ иѣ дѣти еѣа что еѣнѣднн имѣте. М. З. А. С. (*τι προσέχον*); то же: Лк. 24—41, М. А.; Мф. 21—20, 21. оученици днѣиша еѣ глѣште како еѣе оуеѣше смоковннн. . . аѣе имѣте кѣрѣ и не оуеѣжманннте еѣ не ѣкмо смоковнннннн етѣворите нѣ аште и горѣ еи речете дѣвннн еѣ. . . М. (*τὸ τῆς συκῆς*).

¹ А. Вайан. Указ. соч., стр. 201.

Краткая форма во втором примере также закономерна, она вызвана наличием вопросительного местоимения *что*, употребленного в функции неопределенного местоимения. В третьем примере субстантивированное прилагательное — полупредметного, полуабстрактного значения (ср. болгарский перевод „делото на смоковницата“). Оттенок абстрактности значения придает форма среднего рода, обязательная для всех субстантивированных прилагательных с абстрактным значением. В этом отношении в двух последних примерах субстантивированные прилагательные предметного значения близко примыкают к абстрактным субстантивированным прилагательным (см. § 51).

§ 50. Группа субстантивированных прилагательных, означающих отвлеченные понятия, более многочисленна. Характерным внешним признаком этой группы является форма среднего рода. „Форма среднего рода имени прилагательного, — замечает В. В. Виноградов, — употребленная в значении существительного, приобретает широкое обобщенно-абстрактное значение“¹. Степень абстракции может быть большей или меньшей (как, например, у притяжательных прилагательных), в зависимости от лексического значения субстантивированного прилагательного, однако, отвлеченность значения, обобщенность является основным семантическим моментом, объединяющим всю группу субстантивированных прилагательных, делающим затруднительным их дальнейшее подразделение на более частные лексические ряды².

Случаи колебания зафиксированы почти у всех субстантивированных прилагательных абстрактного значения, за исключением тех, которые и в атрибутивной функции выступают только в полной форме. Таковы, например, *книжтрянне* и *кништганне*, образованные от наречий места.

Мф. 23—25, 26. *Горе вамъ книжници. . . ꙗко очищавате кницинне стъкланици ꙗ паропидѣ. . . фарисею ꙗже не очисти прѣжде книжтрянне стъкланици ꙗ паропидѣ да бѣдетъ и кницинне има чисто.* М. (το ἔσωθεν. . . τὸ ἐντὸς. . . τὸ ἔκτος).

Некоторую степень конкретности субстантивированным прилагательным в этом примере придает родительный притяжательный — „стъкланици ꙗ паропидѣ“. Аналогично — Лк. 11—39—40. *рече гъ къ немуꙗ нинѣ вы фарисѣи кништганне стъкланици и мнѣ очищавате а книжтряннѣ баша паша ꙗже хъштенне и злобы кезоумани не име а еста сътворилъ кништганне ꙗ книжтрянне сътвори.* М. З. В этом примере субстантивированные прилагательные в последних трех случаях — более абстрактного значения.

Большая абстрактность значения субстантивированного прилагательного наблюдается в следующем примере:

Мф. 13—52. *какъ книжника. . . подобенъ еста члвоку домобитоу же износитъ отъ сѣкровица своего нока и ветъхаа.* М.; *новѣт.* З. А. С. (*καὶνὰ καὶ παλαιά*)³.

¹ В. В. Виноградов. Русский язык, стр. 63.

² Такое дальнейшее подразделение теоретически было бы возможно, но практически оно бы ничего не дало. Ср. *новѣи* и *книжтряннѣ*; если бы мы рассматривали эти прилагательные в атрибутивной функции, мы бы отнесли их в различные разряды.

³ Ср. другой пример с меньшей абстрактностью значения субстантивированного прилагательного: Мр. 2—21. *и никтоже приставиннѣ плата не ꙗвѣна не приставѣвати ризѣ ветъсѣште аще ли же ни вѣзьмѣте конецъ отъ нѣмъ носѣе отъ ветъхааго ꙗ герши дѣра бѣдетъ.* М. З. (τὸ κεινόν). Здесь из контекста ясно, что речь идет о предмете, тем не менее, обобщенно-абстрактное значение прилагательного не исчезает. Таков же пример: Мф. 11—8. *нъ чѣсо извидѣте видѣтъ члвкъ ли въ макъки ризи свѣтѣна. се име макъка носати въ домахъ цѣр (нхъ).* М. З.; *макъкаѣ.* А. (τὰ μακκά).

§ 51. Наконец, примеры с субстантивированными прилагательными вполне абстрактного значения:

Ио. 3—12. аште земѣна рѣхъ камъ и не вѣроуоуте како аште рѣжъ камъ нека вѣроуоуте. М.; земѣнаа, некааа. А. (τὰ ἐπίγεια . . . τὰ ἐπουράνια); Мф. 6—7. не дадите стаго промъ. М.З.А.; ацѣнна. С. (τὸ ἄγιον); Лк. 16—12. і аште въ тоуджема вѣрѣни не вѣисте вѣше кѣто камъ дѣстъ. М.З.А.С. (ἐν τῷ ἄλλοτρίῳ); Мф. 13—11. ꙗко камъ дано естъ разумѣти танна црствѣ некааго. М.З. (τὰ μυστήρια); аналогично — Мр. 4—11, М.; Лк. 5—26. ꙗко видѣх(мъ) дикѣна днѣсл. М.З.С.; дикѣнаа. А. (παράδοξα).

Все примеры, за исключением последнего, относятся к случаям, где отсутствует уникализация, что вообще более свойственно для данного лексического ряда прилагательных.

К случаям уникализации нужно отнести пример с указательным местоимением: Мф. 5—37. лихое ко сѣж отъ неприѣзни естъ. М.З. (τὸ δὲ περισσόν), здесь, естественно, употреблена полная форма субстантивированного прилагательного.

§ 52. Особую группу составляют субстантивированные качественные прилагательные: благо, добро, зло. Краткая и полная форма этих субстантивированных прилагательных вступает в тесное взаимоотношение с существительными добро, благо, зло; факты старославянского языка, а также древнерусского, древнесербского и других славянских языков не позволяют нам рассматривать в отдельных случаях существительные добро, благо, зло наравне с другими субстантивированными прилагательными среднего рода данного лексического ряда¹. Существительные добро, благо, зло нельзя считать субстантивированными прилагательными, — они восходят, видимо, к той эпохе, когда еще категория прилагательного не выделилась полностью из категории существительного: в ту пору, очевидно, имя (существительное—прилагательное) не имело столь отвлеченного значения и должно было означать более конкретные понятия и предметы.

Субстантивированные прилагательные типа зло, добро „обозначают не всякое лицо и не обобщенно все лица, обладающие данным качеством, а обобщенно все и лица и предметы, обладающие тем или иным признаком“². Для данного лексического ряда субстантивированных прилагательных, таким образом, характерно „отсутствие определенной субстантивности (определенности)“². Определяя для субстантивированных прилагательных типа зло, добро и существительных типа зло степень их определенности (определенной субстантивности), можно установить следующую градацию: 1. субстантивированные прилагательные краткой формы зло; 2. субстантивированные прилагательные полной формы добро; 3. существительное зло — от меньшей степени определенности к большей. Такая градация возможна, ибо семантического

¹ В данном случае я полностью присоединяюсь к мнению В. Л. Георгиевой по этому вопросу. Ею выдвинуто положение об „омонимичности“ именной формы субстантивированного прилагательного добро и существительного добро. См. упомянутую диссертацию.

² В. Л. Георгиева. Указ. соч.

³ И. П. Лысков. О частях речи. М., 1926, стр. 29. Эту определенность нужно понимать в несколько ином плане, чем определенность и неопределенность исследуемой нами категории прилагательных. И. П. Лысков говорит об определенной субстантивности, далее он добавляет: „Это принуждает нас сравнить их (субстантивированные прилагательные типа разумсе, добро, вечное. Н. Т.) с безличными глаголами типа светает, под которыми нельзя мыслить никакого подлежащего“. (Там же, стр. 29).

разрыва между субстантивированными прилагательными злаго и злао (также добро, добро) и существительным злао (также добро) не произошло, — «омонимия» оказалась неполной, относительной. Например:

Лк. 6—45. благы чакъ отъ благо закровишга срдца своего износитъ благое. М. З. (τὸ ἀγαθόν); Мф. 12—35. добра чакъ отъ добраго закровишга износитъ добра. М. З. А.; блага. С. (τὰ ἀγαθά); Мф. 7—11. колами паче отца ваша иже естъ никогда дастъ блага прослцимъ его. М. З. (ἀγαθά).

Случай разночтения:

Лк. 16—25. рече же акраамъ члдо помѣни ѣко взсприемъ еси ты блага твое въ животѣ твоемъ. М. С. З.; блага твое. А. (τὰ ἀγαθά); Ио. 5—29. и изиджтъ сътвориши блага въ вскръшение животю. М. А.; блага. З. (τὰ ἀγαθά).

Пример употребления существительного наряду с субстантивированным прилагательным полной формы:

Лк. 12—17, 18, 19. и машкѣ аше къ себѣ гдѣ что сътвори ѣко не имамъ кзде сверати... плода моухъ и рече се сътвори разорж житѣ ница мога и болша свиждж и сверж тоу къ ѣ жита моѣ и добро моѣ и рекж дши моѣ дше имашн много добро лежаще на мѣ та много. М. З.; добро моѣ. А. С. (τὰ ἀγαθά μου... πολλὰ ἀγαθά).

Пример с существительным:

Лк. 14—34. добро естъ солъ, аште же солъ окоуѣ атъ о чемъ огоитъ с. М. З. (καλόν).

Те же отношения наблюдаем и с субстантивированным прилагательным злаго.

Полная форма:

Мф. 12—35. злаи чакъ отъ злаго закровишга износитъ злаа. М. З. А.; лжката. С. (πονηρά); Лк. 6—45. злаи чакъ отъ злаго закровишга срдца своего износитъ злао. М. З. (τὸ πονηρόν); Ио. 5—29. и изиджтъ сътвориши блага въ вскръшение животю а сътвориши злаа въ вскръшение сждоу. М. З. А. (τὰ φαῦλα); Лк. 16—25. рече же акраамъ... ѣко взсприемъ еси ты блага твое къ животѣ твоемъ и лазаръ такожде злаа. М. З. А. С. (τὰ κακά).

Краткая форма при отрицании ничлсже выражает неопределенность, неконкретность субстантивированного прилагательного:

Лк. 23—41. и къ оубо къ пакъ дж достонна ко дѣломъ наи всприемъ а с ничлсже зла не сътвори. М. З. А. (οὐδὲν ἄτοπον).

Существительное злао:

Лк. 23—22. онъ же третницеж рече къ нимъ что во сътвори злао. М. З. (κακόν); Ио. 3—20. къ ѣ во дѣлаи зла ненавидитъ сѣ та. М. А. (ὁ φαῦλα).

С указательным местоимением:

Мр. 7—23. къ ѣ си зла из жтръ исходатъ и скрънатъ чѣ ка. М. (πάντα ταῦτα τὰ πονηρά).

Таковы все примеры, в которых употребляются прилагательные и существительные типа добро, добро. Как видно из самого контекста и из сравнения с греческим оригиналом, существительные типа добро употребляются для передачи более конкретных понятий, их значение уже и потому определеннее значения субстантивированных прилага-

тельных типа *дсврѣсѣ*, охватывающего все лица и предметы, обладающие данным свойством. Колебания наблюдаются только при употреблении субстантивированных прилагательных (*дсврѣсѣ* или *дсврѣо*), при употреблении существительных колебаний не зафиксировано. Характерно, что с указательным местоимением употреблено именно существительное *дсврѣо*, а не субстантивированное прилагательное, пусть даже полной формы, имеющее широко обобщающее значение. Вообще случаи употребления указательных местоимений с субстантивированными прилагательными, означающими отвлеченные понятия, редки (см. единственный случай, § 43). Это можно считать характерным для данного лексического ряда.

§ 53. Более конкретное значение имеют притяжательные прилагательные, что объясняется их грамматической природой, так как они „не только выделяют предмет, но и индивидуализируют его посредством непосредственного указания на него самого или посредством указания на владельца“¹. Однако и в данном случае средний род указывает на широкую обобщенность, на меньшую конкретизацию значения, чем в атрибутивной функции.

Зафиксированы следующие примеры:

Мф. 22—21. *тагда гла имъ въздадите оубо кесарека кесареви ꙗвжитъ бгви*. М. А. С. (*τὰ Καίσαρος*); то же: Мр. 12—17, М. З.; Лк. 20—25. *въздадите оубо кесарекоу кесареви ꙗже сътъ вжитъ бви*. З.; *оубо ꙗже сътъ кесарека*. М. (*τὰ Καίσαρος*).

Особый интерес представляет последний пример. Нужно отметить, что он является единственным случаем в исследуемых кодексах, когда притяжательное прилагательное имеет полную форму². Не случайно, что полная форма появилась сначала именно в данном положении, т. е. при субстантивации. Притяжательное прилагательное в атрибутивной функции, как говорилось выше, столь определенно по своему лексическому значению, что нет нужды в дополнительном его определении. При субстантивации же, когда принадлежность предмета сама по себе должна выражать субстанцию, оказалось возможным закрепить это отношение полной формой. Полная форма уже в старославянском языке стала носить в себе момент не только определяющий, но в известной мере и субстантивирующий.

§ 54. Особняком стоят наречные выражения, возникшие из субстантивированных прилагательных. К ним относятся зафиксированные в исследуемых текстах *о малѣ*, *о дснжж*, *о мѣвжж* (*о шнжж*):

Наречные образования типа *о малѣ* (*вѣ малѣ*) можно считать характерными для старославянского и других славянских языков. Краткая форма субстантивированного прилагательного среднего рода послужила основой для их образования³.

Мф. 25—21. *рече емоу гдъ его доврди рабе... о малѣ вѣ вѣренъ надъ мнози чѣ поставж*. М. З. А. С. (*ἐπὶ ὀλίγα*); Лк. 16—10. *вѣрны вѣ малѣ*

¹ В. В. Виноградов. Русский язык, стр. 191.

² Подобные случаи можно отметить и в других, уже более поздних памятниках старославянского языка. Например: *Христосовоу образу*. Супр. 289—14; *Христове рождество*. Клоц. сб. 1—894; *Христове изъ мрътвухъ порожденье*. Клоц. сб. 897.

³ Такой морфологический тип наречий широко представлен в современных славянских языках. В. В. Виноградов отмечает: „Бросается в глаза, что нет наречий этого типа, обнаруживающих в своем составе нечленные формы множественного числа и нечленные формы женского рода единственного числа. Кроме того, в большей части этих наречий этимологически различается форма среднего рода единственного числа. Все это говорит о том, что наречия такого типа возникли из субстантивированных именных форм прилагательных“. „Русский язык“, стр. 352.

и къ маѣностѣ кѣренѣ есѣга. М. З. А. С. (ἐν ἐλαχίστοφ); Ио. 16—15, 16. сего ради рѣхѣ камѣ фко сѣга моего приметѣ и къзвѣститѣ ка(ма). къ малѣ и к томоу не видите мене и пакли къ малѣ и оузрите ма. М. З. А. С. (μικρόν).

Выступая в предложении в качестве обстоятельного слова, не согласующегося с именем, а лишь примыкающего к нему (равно как и в отдельных случаях к глаголу), наречие выполняет функцию качественного определения или обстоятельного отношения. Однако эта определительная функция наречия существенно отличается от функции прилагательного. Грамматические категории, характеризующие прилагательное, по справедливому замечанию А. А. Шахматова, „не сопутствуют сами по себе представлению о прилагательных; этому представлению сопутствует неизбежно представление о субстанции, определяемой, характеризуемой прилагательным... представление о прилагательном вызывает неизменно представление о субстанции как носителнице тех пассивных признаков, которые выражаются прилагательным“¹. Если же говорить о наречии, то ясно, что в нем такое представление о субстанции отсутствует, поэтому наречие не может определять субстанцию со стороны ее определенности или неопределенности, единичности или неединичности. Естественно, что при образовании наречий от прилагательных в их основу легли краткие формы.

Того же типа наречие из лиха, например:

Мф. 27—23. они же из лиха кпипѣхѣ глѣшѣте. М. З. А. С. (περισσῶς), однако, нельзя твердо установить, лежит ли в основе этого наречия краткое субстантивированное прилагательное или существительное лихс, такого же типа, как и существительное добро, зло.

Наряду с рассмотренными, в старославянском языке были известны также наречные выражения, образованные от прилагательных полной формы. Таковы о деснѣжѣ, о лѣвѣжѣ, например:

Мф. 22—44. рече гѣ гвн моемоу едн о деснѣжѣ мене. М. З. А. (ἐκ δεξιῶν); Мф. 25.33 і поставитѣ оубѣ о деснѣжѣ себе. М. З. А. С. (ἐκ δεξιῶν)².

Число подобных примеров с полной формой значительно; с краткой формой зафиксировано лишь два случая:

Мф. 25—34. тѣгда рече гѣ црѣвѣ шѣстимѣ о деснѣжѣ его. М. З. С.; о деснѣ. А. (ἐκ δεξιῶν); Мф. 20—33. а еже сѣсти о деснѣ и о шѣжѣ мене нѣстѣ маѣ сего дати. М. (ἐκ δεξιῶν).

Наречное выражение о лѣвѣжѣ зафиксировано только в полной форме:

Лк. 23—33. окоу оуко о деснѣжѣ, а другога о лѣвѣжѣ. З. С.; о шѣжѣ. М.; о шюжѣ. А.³ (ἐξ ἀριστερῶν).

¹ А. А. Шахматов. Указ. соч., стр. 490.

² Так же еще в 14 случаях: Мф. 26—64, М. З. А. С.; Мф. 27—38, М. З. А. С.; Мр. 10—37, М. З. А. С.; Мр. 10—40, М. З. А. С.; Мр. 12—36, М. З. А.; Мр. 14—62, М. З.; Мр. 15—27, М. З. А. С.; Мр. 16—5, М. З. А.; Мр. 16—19, М. А.; Лк. 1—11, М. З. А.; Лк. 20—42, М. З.; Мк. 22—69, М. З.; Лк. 23—32, М. З. А. С.; Ио. 21—6, М. З. А. С.

³ В Мариином и Ассем. кодексах употребляется лишь синоним: шюн (шюн). Наречное выражение о лѣвѣжѣ зафиксировано также в следующих примерах: Мф. 27—38. едного о деснѣжѣ и едного о лѣвѣжѣ. С.; шѣжѣ. М.; шюжѣ. З.; шюжѣ. А.; Мр. 15—27. едного о деснѣжѣ а другога о лѣвѣжѣ его С.; шюжѣ М. З., шюжѣ. А.; Мр. 10—40. нѣ сѣсти о деснѣжѣ мене и о лѣвѣжѣ нѣстѣ маѣ дати. С. З.; о шюжѣ. М.; о шюжѣ. А.; Мр. 10—37. еднѣ о деснѣжѣ тѣе а другога о лѣвѣжѣ тѣе. С. З.; о шюжѣ. М.; о шюжѣ. А.; Мф. 25—33. и поставитѣ... козланѣ о лѣвѣжѣ. З.; о шюжѣ. М. А.; о шюжѣ. С.; Мф. 25—41 тѣгда рече и сѣстѣ о (шѣ)шѣжѣ. М.; о шюжѣ. З. А. С.; М. 20—21. да сѣдѣтѣ... еднѣ о деснѣжѣ тѣе и еднѣ о шюжѣ тѣе. М.

Наличие полной формы в приведенных выше примерах легко объяснимо. Наречные выражения о дѣснѣжѣ, о лѣкѣжѣ являются по сути дела эллипсами (о дѣснѣжѣ стрднѣжѣ). На это указывает и неизменная для данной группы форма винительного падежа единственного числа женского рода. В функции же определения для прилагательных данного лексического ряда характерно абсолютное преобладание полной формы (см. § 15).

§ 55. Таковы случаи употребления полных и кратких форм субстантивированных прилагательных в старославянском языке. Рассмотрение примеров показывает, что в тех случаях, когда субстантивированное прилагательное означает лицо или предмет, выступающий в контексте как единичный, уникализированный, наличествует полная форма, независимо от того, к какому лексическому ряду относится данное субстантивированное прилагательное. Здесь, при употреблении полной формы прилагательного, выступающего в роли существительного, отражается действие тех же закономерностей, что и в атрибутивной функции. С указательным местоимением, с определительным местоимением къаъ, при обращении (звательная форма) последовательно употребляется полная форма.

В остальных случаях, которые мы обозначили вслед за А. Пешковским как случаи неединичности, употребляются обе формы прилагательного. Краткая форма вполне последовательно выступает лишь тогда, когда неопределенность лица или предмета (выраженного субстантивированным прилагательным) подчеркнута каким-либо другим неопределенным словом (например, єдинѣ—єдинѣ ницѣ, ср. то же явление в атрибутивной функции). В атрибутивной функции, в так называемой нейтральной позиции, как мы отмечали выше, возможно употребление и полной и краткой формы при общем преобладании последней (если не принимать во внимание прилагательные, имеющие исключительно или почти всегда полную форму).

Рассмотрев употребление полных и кратких форм субстантивированных прилагательных в случаях, когда единичность предмета не выражена (т. е. случаи, соответствующие неопределенности и нейтральности в атрибутивной функции), мы вынуждены отметить преобладание полных форм. Однако удельный вес полных форм по отношению к кратким неодинаков в различных лексических рядах. Здесь приходится еще раз подчеркнуть связь употребления полной (resp. краткой) формы прилагательного с семантикой последнего. Наибольший процент кратких форм зафиксирован в лексическом ряде, характеризующем лицо по его физическим качествам (слѣпа, хромѣ), затем по индивидуальным качествам (прѣмѣдрѣ) и социальному положению (богатѣ). Отметим, что в основном в краткой форме выступают качественные прилагательные и такие относительные, как хромѣ, слѣпа и т. п.

В лексических рядах, характеризующих лицо в отношении его родства (иночадѣ), его близости или отдаленности от другого лица (ближнѣи), в рядах, характеризующих лицо по темпоральному (древнѣи) и локальному признаку (вѣшнѣи, послѣднѣи), зафиксирована только полная форма. В эту обширную группу входят относительные прилагательные с более конкретным лексическим значением (ср. аналогичное явление в атрибутивной функции).

Субстантивированные прилагательные с предметным значением — немногочисленны. Но и здесь в употреблении полных и кратких форм также достаточно четко сказались отношения определенности и неопределенности, единичности и неединичности (ср. примеры на соухѣ, єдинѣдно и ємококѣничѣноє).

Субстантивированные прилагательные абстрактного значения отражают в равной мере, как и другие субстантивированные прилагательные, зависимость употребления полной (resp. краткой) формы от указанных выше первостепенных факторов (например, с указательным местоимением полная форма: *лихосе љѣж*) и от лексического значения прилагательного (*кѣжѣтранѣе*, *кѣжѣшанѣе* — только полная форма). Важно отметить только, что для этого лексического ряда характерно в общем незначительное число кратких форм в случаях неединичности.

Общее рассмотрение функций субстантивированных прилагательных двух форм позволяет сделать следующие выводы: во-первых, употребление кратких (resp. полных) форм обуславливается теми же факторами и дает в основном те же результаты, что и в атрибутивной функции; во-вторых, единственным и наиболее существенным отличием в употреблении рассматриваемых форм при случаях субстантивации прилагательных от их употребления в атрибутивной функции является больший удельный вес, большая распространенность полных форм прилагательных в примерах неединичности.

На это отличие уже обращали внимание многие исследователи, полагая даже, что субстантивация в старославянском языке требовала и своего формального выражения в виде полной формы. Исследуемый материал показывает, что в древних старославянских кодексах зафиксировано значительное число субстантивированных прилагательных в краткой форме. Основываясь на фактах старославянского языка, можно лишь говорить о процессе, ведущем к закреплению полной формы в качестве единственной формы для субстантивирования прилагательных. Этот процесс получил свое окончательное завершение в современном сербохорватском и других славянских языках¹.

Прилагательное при субстантивации не просто указывает на качество (свойство) предмета, оно именно, — по меткому замечанию А. Потехни, „в этом смысле и обозначает его“².

Указание на качество (свойство) не отсутствует, но и не является единственной функцией прилагательного, которое одновременно выражает и субстанцию, принимая на себя и ее функции. Качественный (относительный) признак и субстанция даны в одном прилагательном (ср. „старый“ и „старый человек“, где во втором случае „старый“ — лишь качественный признак, а „человек“ — субстанция). Естественно, что такой признак никак не может считаться временным, непостоянным для субстанции, а постоянство признака ведет к большей определенности последней. Однако, как уже указывалось, постоянство, так называемая „определенность“ признака, не есть еще определенность предмета (субстанции). Центр тяжести рассматриваемой категории определенности и неопределенности лежит не в признаке, а в субстанции. Предмет может оставаться неопределенным, не выделенным из числа других предметов, и в том случае, если мы знаем, что он обладает каким-либо постоянным, „определенным“ качеством (свойством). Отсюда —

¹ В сербо-хорватском языке субстантивированное прилагательное выступает лишь в полной форме (*стари, чупави, бели, црни*). Это отмечает и Т. Маретич: „Только определенная форма, я полагаю, употребляется в тех случаях, когда прилагательное выступает без существительного, но относится к существительному, которое хорошо известно, например: али безазлени све прима драге воље, Даничич, письма 128. (см. Т. Maretić, Gramatika i stilistika. . . , str. 458). С местоимением *сваки*, с числительным *један* употребляется однако и краткая форма: *сваки жив га је жалио* (И. Андрић). В современном болгарском языке субстантивированное прилагательное, как правило, употребляется с членной формой (*старијат, рошавият, белијат, чернијат*); только с указательным местоимением и с неопределенным местоимением *един (някой)* — краткая форма (*един черен, този черен*).

² А. Потехниа. Из записок по русской грамматике, ч. I, II, стр. 97.

возможность кратких форм при субстантивированных прилагательных. В современном сербо-хорватском языке, отчасти и в других славянских языках, полные и краткие формы выражают уже несколько иные отношения: постоянность и временность признака становятся здесь более решающими факторами при употреблении той или иной формы¹. Старославянский язык указывает нам лишь на начало этого процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

§ 56. Результаты наблюдений над употреблением полных и кратких форм прилагательных отдельно в атрибутивной и предикативной функциях и при субстантивации изложены соответственно в конце каждой главы. При этом наиболее важными для понимания исследуемой категории оказались выводы второй главы (атрибутивная функция); выводы из двух последующих глав лишь подтвердили уже полученные результаты, позволили глубже охарактеризовать категорию кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке. Это позволяет нам, подводя окончательные итоги, остановиться только на главном, опуская все более частные и второстепенные моменты.

Полные и краткие формы прилагательных в старославянском языке выражали отношения определенности и неопределенности существительного, к которому относилось прилагательное. Корреляция полных и кратких форм не шла, таким образом, по линии атрибутивности и предикативности или „энергичности“ и „неэнергичности“ признака.

Параллельное изучение полных и кратких форм прилагательных с учетом контекста и других языковых моментов, фиксирующих их характер (наличие указательных местоимений, числительных *ѣдинъ*, обстоятельственных слов, наречий и т. п.), помогло определить основное значение рассматриваемой категории.

Активным членом корреляции является полная, определенная форма прилагательного (*дъврѣмѣн*). Она обозначает, что предмет, к которому относится прилагательное, выделен из общего числа ему подобных предметов, обладающих тем же качеством, уникализирован (или, по терминологии И. Курца и других, индивидуализирован), воспринимается как один, единственный в своем роде. Именно этот момент — уникализация и неуникализация — и является основным содержанием, основным значением категории определенности и неопределенности. Остальные моменты, такие, как, например, вышеупомянутость, эмфаз и тому подобное, являются лишь частными случаями, частными проявлениями основного значения².

Краткие формы, в отличие от полных, выступают как нейтральные, „неопределенные“ в том смысле, что они не выполняют роли полных форм, не выделяют определяемый предмет из ряда ему подобных, обладающих тем же качеством. Они лишь наделяют предмет тем или иным свойством (качеством), не давая ему при этом какой-либо дополнительной характеристики.

Таково основное значение кратких и полных форм прилагательных.

¹ Ср. отношения полных и кратких форм в предикативной функции в современном русском языке. „В кругу имен прилагательных лишь временные эпитеты, лишь обозначения временных свойств имеют полную и краткую форму“ (В. В. Виноградов. Русский язык, стр. 262); „Краткие формы обозначают качественное состояние, протекающее или возникающее во времени; полные — признак, мыслимый вне времени, но в данном контексте, отнесенный к определенному времени“ (там же, стр. 263).

² При вторичном упоминании предмета может возникнуть необходимость в его выделении („тот же самый“, „тот, о котором шла речь, а не другой с подобными качествами“), а может и не возникнуть. Отсюда и случаи употребления краткой формы при вышеупомянутости.

Однако нужно указать, что на конкретном материале старославянского языка оно в ряде случаев представляется более сложным. Во-первых, отсутствие специальной неопределенной формы, подчеркивающей значение, противоположное определенной форме, приводит к тому, что полные и краткие формы прилагательных в иных случаях не оказываются полярными, ни в каких случаях не перемежающимися, не сталкивающимися формами. Между этими двумя категориями, впрочем как и между другими синтаксическими категориями (например различными прошедшими временами), в некоторых функциях нельзя провести абсолютно четкой границы. Среднее, нейтральное положение характеризуется часто не только краткой, но и полной формой.

Во-вторых, рассматриваемая нами категория определенности и неопределенности в старославянском языке была свойственна исключительно прилагательным и не распространялась на те случаи, когда существительное выступало самостоятельно без атрибута. И здесь лексическое значение прилагательных в свою очередь играло огромную, подчас решающую роль. Ряд прилагательных (притяжательные на -скъ, -инъ, отчасти притяжательные на -ккъ) благодаря определенности (конкретности, единичности) своего лексического значения вовсе не нуждались в наличии полной формы и не имели ее; ряд прилагательных в силу большей конкретности своего лексического значения (темпоральные, локативные и др.) почти всегда принимали полную форму и тем самым не имели достаточно четкой корреляции двух форм.

Вскрытие тесной связи полной формы с отдельными, семантически выделенными группами прилагательных, является вторым наиболее важным выводом нашей работы, дополняющим вышеизложенное определение значения полных и кратких форм. Без учета этого фактора (т. е. семантики прилагательного), без этой существенной поправки определение основного значения исследуемой категории в старославянском языке было бы слишком общим, абстрактным, а потому в некоторых случаях неверным.

Связь полных форм с прилагательными определенных лексических групп в дальнейшем, в истории отдельных славянских языков крепла и активизировалась, разрушая и упраздняя в этих группах корреляцию полных и кратких форм. Сама корреляция (и в других группах прилагательных) в отдельных славянских языках нарушалась и видоизменялась, уступая место новым отношениям.

Примечание от автора: В настоящей статье, завершенной почти три года тому назад, к сожалению, не приняты во внимание следующие ценные труды: К. Hořálek, *Evangeliáře a čtveroevangelia*, Praha 1954 (важно для § 3 и др.); М. Brodowska-Honowska, *Uwagi o prostej i złożonej odmianie przymiotników staro-cerkiewno-słowiańskich*, „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego“ Nr 9. Filologia str. 265—267 (важно для § 1, 2 и др.); М. Brodowska-Honowska, *Staro-cerkiewno-słowiańskie przymiotniki o sufiksie—owъ na tle porównawczym*, там же str. 205—223 (важно для § 30 и др.). Эти работы, безусловно, следует учесть будущему исследователю нашей темы.

С. Б. БЕРНШТЕЙН

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ЮЖНЫХ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ В РОССИИ И В СССР¹

Южные славянские языки издавна привлекали к себе внимание русских славистов. Еще в XVIII в. М. В. Ломоносов в своих лингвистических исследованиях широко использовал данные южных славянских языков, указывая на особую их близость к русскому языку. Гораздо лучше всех своих современников он понял характер взаимоотношений между славянскими языками и первый дал их научную классификацию².

Большой интерес именно к южным славянским языкам определялся двумя обстоятельствами. Южнославянские народы (болгары и сербы), начиная с XIV—XV вв., жили в условиях жестокого политического, экономического и культурного гнета. Богатая феодальная культура Болгарии и Сербии, очень близкая русской культуре того времени, была уничтожена турецкими завоевателями. Однако, несмотря на террор турецких властей, янычар, местных феодалов и греческого духовенства, болгарский и сербский народы сохранили свои языки, свое национальное самосознание, свои обычаи и свой уклад жизни. В течение почти пяти столетий болгарский и сербский народы боролись за свободу, наступление которой они всегда связывали с помощью великого русского народа. Русский народ никогда не был безучастен к южным славянам. Начиная с XVIII в., когда борьба болгар и сербов за свою государственность становится особенно напряженной и упорной, интерес к судьбам южных славян, к их культуре и языку обнаруживается во всех слоях русского общества. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в трудах первых русских славистов конца XVIII—начала XIX в. особенно большое место уделяется именно южным славянам.

Была и другая причина, обусловившая особенный интерес к южным славянским языкам, главным образом к болгарскому языку. С начала XIX в. начинается углубленное изучение старославянской письменности и старославянского языка. На длительный срок эти проблемы остаются центральными проблемами русского славяноведения. Труды выдающегося русского ученого — акад. А. Х. Востокова (1781—1864), начиная с его знаменитого „Рассуждения о славянском языке“, определили направле-

¹ В статье дана история изучения болгарского, македонского, сербо-хорватского и словенского языков. Оценка изучения данных языков в плане сравнительной грамматики будет дана в отдельной статье. Автор считал целесообразным выделить и изучение старославянского языка.

² Подробнее см. в статье: П. С. Кузнецов. О трудах М. В. Ломоносова в области исторического и сравнительного языкознания. „Уч. зап. МГУ“, в. 150, 1952, стр. 4—44.

ние и характер научной разработки этих вопросов. Прежде всего нужно было установить диалектную основу старославянского языка. Неудачный опыт чешского лингвиста И. Добровского, утверждавшего, что старославянский язык являлся древним сербско-болгарско-македонским языком, лучше всего свидетельствовал о необходимости основательного изучения южных славянских языков. К этому же толкала и новая „паннонская“ теория В. Копитара о словенском происхождении старославянского языка. В трудах К. Ф. Калайдовича (1792—1832), М. Т. Каченовского (1775—1842) и других первых русских славистов, посвященных изучению старославянской письменности и старославянского языка, были поставлены такие научные проблемы, которые действительно требовали знания южных славянских языков. Часто выдвигались теории (например теория Каченовского о сербской основе старославянского языка), которые очевидно противоречили фактам и очень скоро отвергались.

Большое значение для изучения истории болгарского языка имели труды А. Х. Востокова. Он первый обнаружил надежные критерии для разграничения собственно старославянских текстов от среднеболгарских.

Первым русским ученым, целиком посвятившим себя изучению культуры и языка болгарского народа, был Ю. И. Венелин, сыгравший определенную роль не только в истории русского славяноведения, но и в истории болгарского возрождения. Ю. И. Венелин (1802—1839) — закарпатский украинец — первоначальное образование получил в Ужгороде. В 1823 г. он поселился в Кишиневе, где имел возможность близко познакомиться с языком и бытом болгарских переселенцев. Именно здесь, в Кишиневе, у Венелина впервые зародился интерес к этому малоизвестному в то время славянскому народу и его языку: „Очень много болгар жило в Кишиневе; Венелин ознакомился с ними, собирал сведения о крае и народе, задавал себе вопросы об их истории: так постепенно готовилось и определялось будущее великое дело“¹. В 1825 г. Венелин покинул Кишинев и переехал в Москву. Здесь началась научная работа Венелина в области истории, народного творчества, языка болгарского народа, а также славянских древностей вообще. Венелин нашел радушный прием у профессоров Московского университета, главным образом у историка М. П. Погодина, оказавшего молодому ученому серьезную моральную поддержку.

В 1829 г. вышел из печати труд Венелина „Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к россиянам“, сыгравший большую роль в истории болгарского национально-культурного возрождения. В этом историческом труде имеются отдельные разделы, посвященные языку. Так, автор указывает на особую близость болгарского языка к сербскому. „Вообще язык сей более всего подходит к сербскому“². Однако это результат более позднего длительного соседства. По мнению Венелина, болгарский язык является одним из наречий русского языка. „Итак, русский язык разделяется на три главные наречия: великорусское, малорусское и волгорусское, т. е. болгарское“³.

Обоснованию этой теории Венелин посвятил всю свою короткую жизнь. Она лежит в основе главного лингвистического труда Венелина,

¹ П. Бессонов. Введение к книге Ю. Венелина „Древние и нынешние болгаре“, изд. 2. М., 1856, стр. VI.

² Ю. И. Венелин. Древние и нынешние болгаре, изд. 2, М., 1856, стр. 5.

³ Там же, стр. 184.

оставшегося ненапечатанным: „Грамматика нынешнего болгарского наречия“¹. Подходя к описанию фактов живого языка с предвзятой теорией, Венелин дал искаженное представление о современном болгарском языке. Грамматика получила отрицательный отзыв А. Х. Востокова, который справедливо указал, что основная концепция автора является ложной.

Во время своей поездки на Балканы в 1830—1831 гг. Венелин производил наблюдения над живым болгарским языком, изучал албанский язык, собирал древние славянские рукописи. Самым значительным итогом его заграничной поездки была подготовка к изданию валахских и молдавских грамот, изданных Академией наук уже после смерти Венелина². Это издание не утратило своего значения до сих пор. „Венелин дал в основном верную характеристику языка славянских грамот Валахии, указал на отличие этого языка от языка молдавских грамот, обратил внимание на сербские элементы в языке грамот, сделал много ценных и глубоких замечаний по общим и отдельным частным вопросам валахской дипломатики. В своих комментариях он обнаружил поразительно глубокое знание многих частных вопросов истории и быта Придунайских княжеств. В истории изучения славянской письменности в Валахии и Молдавии труд Венелина сыграл первостепенную роль“³.

До сих пор в науке существуют различные оценки роли Венелина в истории русского славяноведения. Многие ученые (Бессонов, Златарский и др.) дают восторженную оценку его деятельности. В противоположность им акад. И. В. Ягич расценивает его деятельность скорее отрицательно. Ягич указывает на отсутствие специальной филологической подготовки у Венелина, на неосновательность его этногенетических и лингвистических теорий, даже на отсутствие серьезных знаний в области славяноведения. „Когда, благодаря настоятельным требованиям Погодина, Московский университет обратил свои взоры на Венелина, пригласив его составить программу, по которой он читал бы лекции по славяноведению в Московском университете, он составил, правда, „конспект преподавания истории славянского языка и литературы“, но эта программа вышла настолько неудачной, конфузной, что факультет не принял ее... Итак, надежды Венелина на получение кафедры по славяноведению в Москве рухнули. Не лучше повезло ему с грамматикой (болгарского языка. — С. Б.)“⁴.

Несмотря на основательность многих соображений Ягича, нельзя признать справедливой его общую оценку научной деятельности Венелина. Выдающийся для своего времени труд Венелина — „Влахо-болгарские или дако-славянские грамоты“ — не утратил своего значения до сих пор. Исторические труды Венелина при всех своих недостатках содержали много ценного и способствовали пробуждению национального самосознания болгарского народа. Лингвистические труды Венелина породили интерес к изучению болгарского языка не только в России, но и в самой Болгарии.

Существенным препятствием в деле серьезного изучения славянских языков было отсутствие в университетах специальных кафедр. Лишь в Московском университете очень недолго существовала кафедра

¹ См. подробный разбор рукописи „Грамматики“ в статье М. В. Луниной. Грамматика нынешнего болгарского наречия Ю. И. Венелина. „Славянская филология“, изд. МГУ, 1951, стр. 108—123.

² „Влахо-болгарские или дако-славянские грамоты“. СПб., 1840.

³ С. Б. Бернштейн. Разыскания в области болгарской исторической диалектологии, т. 1. Москва, 1948, стр. 23—24.

⁴ И. В. Ягич. История славянской филологии. СПб., 1910, стр. 453.

славянской словесности, на которой, однако, не было ни одного слависта¹.

Положение изменилось в 1835 г., когда был принят новый университетский устав, согласно которому в университетах должны были быть открыты кафедры „истории и литературы славянских наречий“. Попытки привлечь к работе в России крупных славянских ученых по разным причинам не осуществились. Нужно было подготовить своих специалистов. С этой целью решено было послать молодых филологов на длительный срок в славянские страны.

От Московского университета был командирован О. М. Бодянский (1808—1877), ученик Каченовского. Там он пробыл с 1837 по 1842 г., занимаясь главным образом языками и культурой западных славян. По возвращении Бодянский в течение длительного срока читал лекции по славянскому языкознанию. Научная деятельность Бодянского была связана в основном с изучением старославянской письменности, истории славян. Он много переводил на русский язык (главным образом труды П. Шафарика). Общую оценку деятельности Бодянского дал в 1941 г. В. И. Пичета. Он писал, что „О. М. Бодянский не сумел стать крупным пропагандистом и защитником изучения славянства“². Однако эта оценка ошибочна. Это написано о человеке, который создал первую в России крупную школу славистов, филологов и историков (Новиков, Майков, Котляревский, Кочубинский, Дринов, Гильфердинг, Дювернуа и многие др.) и своей огромной издательской деятельностью немало способствовал развитию славяноведения не только в России³.

Петербургский университет командировал в славянские страны П. И. Прейса (1810—1846), ученика А. Х. Востокова. И. Прейс основное внимание уделил изучению западных славян и их языков. Ознакомился он и с южными славянами (сербами), совершив вместе с Срезневским летом 1841 г. путешествие по Далмации, Черногории и Хорватии. Деятельность его в Петербургском университете была очень кратковременной.

Харьковским университетом был командирован молодой юрист И. И. Срезневский (1812—1880), который, кроме юриспруденции, интересовался и славяноведением. Так, в 1832 г. он издал словацкие песни. В славянских странах он пробыл с 1839 по 1842 г. В отличие от Бодянского и Прейса, Срезневский уделил больше внимания южным славянам (сербам, хорватам и особенно словенцам).

Во время пребывания среди словенцев Срезневский основательно познакомился с их главными наречиями. В 1841 г. он опубликовал в ЖМНП (XXXI) работу „О словенских наречиях“. „Это был первый опыт научного решения вопроса о словенской диалектологии в полном его объеме. Считая преждевременным делать какие-либо широкие обобщения, Срезневский в данном труде ограничился описанием всех известных ему наречий с приблизительным определением занимаемой каждым территории и указанием характеристических особенностей“⁴.

¹ В. И. Пичета ошибочно пишет, что этой кафедрой руководил Каченовский. „Благодаря настойчивости профессора Московского университета Каченовского в 1811 г. в Московском университете была учреждена кафедра славяноведения, которую занимал сам Каченовский, но кафедра существовала недолго и вскоре была закрыта“ (К истории славяноведения в СССР. „Историк-марксист“, 1941, № 3, стр. 37). В действительности же кафедру занимал проф. Гаврилов. Каченовский был преемником проф. Чеботарева по кафедре русской истории. Позже, после 1835 г., Каченовский возглавил новую кафедру — кафедру истории и литературы славянских наречий.

² В. И. Пичета. Указ. соч., стр. 38.

³ Подробнее см. ниже в статье Н. А. Кондрашова.

⁴ Т. Флоринский. Лекции по славянскому языкознанию, ч. 1. Киев, 1895, стр. 503.

В работе 1845 г. „Обозрение черт сродства звуков в наречиях словенских“ (ЖМНП, XLVIII) Срезневский уже стал на путь широких обобщений, установив восемь основных наречий словенского языка: Верхнекраинское, Нижнекраинское, Словинское, Резьянское, Зильское, Забельское, Штирийское и Угро-Словенское. Нужно сказать, что современная классификация словенских наречий в своих основных чертах восходит к классификации Срезневского. Педагогическая и научная деятельность Срезневского, связанная с 1847 г. с Петербургским университетом, представляет собой блестящую страницу в истории изучения русского языка и древнеславянской письменности. Следует вспомнить многочисленные издания древних славянских текстов, среди которых многие были южнославянского происхождения. В „Сведениях и заметках о малоизвестных и неизвестных памятниках“ И. И. Срезневского найдем интересную сербскую запись 1277 г., сказание об Иоанне Евангелисте в древнем сербском списке XII в., македонскую книгу апостольских чтений XIII в., грамоты болгарских царей, разнообразные болгарские записи и мн. др. При всех своих недостатках эти издания сыграли большую роль в изучении южнославянской письменности и древних южнославянских языков. Не будучи славистом в узком смысле этого слова, Срезневский подготовил ряд выдающихся русских славистов, в частности и специалистов по южным славянским языкам.

От Казанского университета в славянские страны поехал В. И. Григорович (1815—1876), уже выступавший в печати с работами по славянской филологии (главный труд „Краткое обозрение славянских литератур“. Казань, 1841). В отличие от Бодянского, Пирейса и Срезневского, Григорович заинтересовался главным образом болгарями, что связано было с его специальными занятиями в области византиноведения. Значительно больше своих товарищей он занимался вопросами языка и собрал ценный для своего времени диалектологический материал. В январе 1843 г. Григорович приехал в Москву, чтобы окончательно выработать план своего заграничного путешествия. Здесь он посетил Герцена, который в своем дневнике писал: „Вчера явился ко мне знакомый профессор Казанского университета Григорович, — отродно уж самое юношески благородное желание изъявить свою симпатию людям — так сказать — людям движения. Но еще отраднее видеть профессора славянских языков в Казани, твердо смотрящего на свой предмет с точки зрения современной науки. Мне дорого было и его внимание, и узнать, что за Волгой есть такой благородный представитель гуманизма“¹. Григорович пробыл за границей с лета 1844 по лето 1847 г. Он посетил Афон, Солунь, значительную часть Македонии, многие районы Болгарии. „Для совершения такого путешествия по Турции в те годы нужно было иметь много мужества, смелости и хитрости, и в то же время обладать большим терпением в перенесении лишений“². Во время этого путешествия Григорович собрал много ценнейших славянских рукописей, среди которых на первое место нужно поставить знаменитое Марииинское четвероевангелие XI в., хранящееся в рукописном собрании публичной библиотеки им. Ленина в Москве. Многие из собранных рукописей впоследствии были тщательно изучены русскими учеными и дали важный материал для истории болгарского языка. Кроме Болгарии, Григорович посетил Румынию, Венгрию, был в Вене, в Венеции, совершил краткое путешествие по Далмации, Черногории и Хорватии, затем через Прагу и Берлин вернулся на родину.

¹ А. И. Герцен. Собр. соч., т. II. М., 1954, стр. 259.

² И. В. Ягич. Указ. соч., стр. 344.

Уже в 1848 г. в „Ученых записках Казанского университета“ Григорович напечатал „Очерк путешествия по европейской Турции“ — труд, заложивший основы болгарской диалектологии (второе издание вышло в Москве в 1877 г. во время русско-турецкой войны).

В своем „Очерке“ Григорович часто сообщает о том, что он знакомился с языком жителей различных районов. Можно предположить, что в его дневнике было записано немало ценных сведений об особенностях отдельных говоров. К сожалению, в „Очерке“ он не сообщил об этих своих наблюдениях. Видимо, они не представляли чего-либо цельного. „При невозможности останавливаться долго на одном месте, в городах господство греческого языка, в селах отчуждение и разные опасения, лишали меня часто, в минуту лучших ожиданий, желаемых приобретений. За Балканами часто препятствовало мне, что те, с которыми я обращался, как более образованные, употребляли, вместо природного, искусственный язык. Особенно сопровождали меня трудности при собирании песен народных... В одном месте стыдились, в другом не понимали меня, в ином принимали меня за человека, от которого уходить надо... Только в домашнем быту их, при участии женского пола, который, как известно, очень робок, возможно было мне соображать о лексикальном богатстве и постоянных его формах“¹.

Тем не менее, Григорович впервые в науке сумел обнаружить важнейшие особенности македонских говоров и установить ряд основных диалектных классификационных признаков болгарского языка.

1. Григорович указал, что Ж в македонских говорах обычно произносится как *а*: *рака, пат, маж*. „В восточном наречии оно (т. е. Ж. — С. Б.) еще сохранило оттенок древнего произношения в глухом тоне, который изобразил бы знаком почти равным *ǎ*“². Григорович впервые указал также на некоторые местные особенности в произношении ж. „В Дебре и близ Солуны слова, в которых употреблялось славянское ж, имеют часто *о*; например, я слышал близ Солуны — *пот*, от Дебрян: *мож, пот, рока, голоб, мока, копел, юзык, юже, тожим*“³. Эти наблюдения Григоровича имеют большое значение. Но еще большее значение для науки имело сообщение Григоровича о сохранении в Корче в Бобоштице ринезма. „Болгаре на юге от Битоля и Охридского озера, в Корче, Бобоштице сохранили в некоторых словах полный ринезм, так, в слове *мъндр* (*mendr*) и в приветствии *да бѣдешъ жив* (*da bodeš živ*) слышал я сам этот звук“⁴.

Впервые от русского ученого слависты узнали, что в южной Македонии сохраняются следы древнего произношения на месте старых Ж и Ѧ. Значительно позже, в 1863 г., в болгарской газете „Съветник“ (№ 29) были обнародованы тексты из села Висока (близ Солуны), в которых встречались слова со следами носовых. Систематическое изучение этого вопроса началось в 1865 г. статьей М. Гаталы, напечатанной во второй книге журнала „Кпѣжевник“. После него на эту тему писали Миклошич, Ягич, Дринов, Теодоров-Балан, Матов, Драганов и др. Обстоятельно это явление впервые было изучено В. Облаком в 1892 г. Он показал, что на месте старых носовых в настоящее время находим сочетание носового с гласным. Сохраняется носовой только в середине слова. Им же была указана территория, на которой можно обнаружить следы носовых: это район Солуны (юго-восток Македонии) и район Костура-Корчи (юго-запад Македонии). Позже на эту тему писали

¹ В. И. Григорович. Очерк путешествия по европейской Турции. М., 1877, стр. 162—163.

² Там же, стр. 164.

³ Там же, стр. 165.

⁴ Там же.

А. Стоилов, Кузов, Мазон, Малѣцкий и Мирчев. Все исследователи этого важного вопроса славянской фонетики отмечали, что начало его изучению было положено русским славистом Григоровичем.

2. Григорович обратил внимание на то, что в Македонии глаголы всех классов в 1 лице единственного числа оканчиваются на *-м*: *менем, любим*. Эта характерная особенность западноболгарских говоров отсутствует в говорах восточной Болгарии. И это наблюдение Григоровича в дальнейшем подтвердилось. Лишь часть родопских говоров представляет результат обобщения по окончанию нетематических глаголов. В своем известном труде «Das Ostbulgarische» проф. Л. Милетич в полном согласии с Григоровичем указал на этот характерный отличительный признак говоров западных от восточных¹.

3. На месте старого *ѣ* в македонских говорах Григорович отметил *е*. И это важное наблюдение также подтвердилось. В дальнейшем была установлена граница восточного и западного произношения *ѣ* (Никополь, Плевен, Луковит, Этрополе, Пазарджик, Пещера, Батак, Разлог, Мелник, Солунь). К западу от этой линии на территории Македонии и Западной Болгарии старое *ѣ* изменилось в *е*.

4. Григорович первый обратил внимание на изменение звука *х* в *в* (*ѣ*) в формах аориста и имперфекта в македонских говорах. „Звук *х* переходит в *в* и *ѣ*, например, *найдов, зедоф* или *зедов, немаф, сториѣ*“². В этом же пункте Григорович отметил изменение группы *вн* в *мн* (*рамни* из *равни, мнуче* из *внуче*).

5. В „Очерке“ отмечены характерные для македонских говоров многочисленные изменения групп согласных: *сенал* из *седнал, стреде* из *среде, стрebro* из *сребро*; обращено внимание на утрату звука *х* в интервокальном положении: *имаа* из *имаха*, на наличие билабиального *в* и др.

6. Григорович первый указал на характерную морфологическую особенность македонских говоров — употребление окончания *-т* в 3 лице единственного числа настоящего времени. Он обратил внимание на аналитический строй болгарского имени, на употребление постпозитивности члена, отметив, что вообще употребление его неопределенно. Интересно, что Григорович не обнаружил членных форм для отдаленных и близких предметов (*рибана* — *рибава*).

7. Характерной особенностью македонских говоров Григорович считал употребление частицы *ке* в будущем времени. И в этом случае он оказался прав, несмотря на то, что эта форма позже была обнаружена в отдельных восточноболгарских говорах.

8. Одной из интереснейших синтаксических особенностей македонских говоров является широкое употребление вспомогательного глагола *имам* и страдательного причастия (например, *имам видено* „я видел“ и т. д.). Этой синтаксической особенности посвящено несколько исследований (Г. Поповой, Д. Лазаревича, Б. Гавранка и др.). Впервые в науке об этом факте сообщил Григорович: „Самое частое употребление глагола *имам* как вспомогательного слышал и вблизи Водены Битоля, например, там говорят: *имам шетано, — имам пеяно, фатено*, т. е. я пришел, схватил, прочел“³.

„Очерк“ Григоровича представляет собой богатое собрание фактов по македонской топонимии. Ценность „Очерка“ состоит в том, что он содержит материал первой половины XIX в. Известно, что в течение последних ста лет македонская топонимия претерпела существенные изменения.

¹ Lj. Miletič. Das Ostbulgarische. Wien, 1903, S. 40.

² В. И. Григорович. Указ. соч., стр. 164.

³ Там же, стр. 165.

„Очерк“ Григоровича является выдающимся трудом, положившим начало научному изучению македонских и болгарских говоров.

Во время своего путешествия Григорович приобрел большое число славянских рукописей, написанных главным образом в Македонии. „Он домогся-таки до памятников, — писал И. И. Срезневский, — никем из исследователей дотоле не виденных и никому не известных, сделал описи их, выметки из них, а некоторые и приобрел в собственность. Вместе с тем, собрал также как новости много сведений местных, частью о народе и народных преданиях, частью о разных местностях, важных для древней истории славян и для славянского языка. Книга его о путешествии по Турции остается и вероятно еще надолго останется важным источником первоначальных сведений по политической истории, по истории христианства и письменности, по палеографии и дипломатике южнославянских языков“¹.

Открытие специальных кафедр, длительные заграничные командировки молодых ученых, установление тесных связей с крупнейшими представителями славянской науки — все это сказалось самым благоприятным образом на развитии русского славяноведения. В конце 40-х и в 50-е годы появляется ряд крупных трудов, посвященных изучению южнославянских языков.

Наиболее значительным трудом за этот период следует признать монографию акад. П. С. Билярского (1817—1867) — „О среднеболгарском вокализме по патриаршему списку летописи Манассия“ (СПб., 1847, второе изд. в 1858 г.). Ученый очень широких и разнообразных научных интересов, Билярский под влиянием Прейса приступил к изучению языка одного из болгарских списков летописи Манассия. Специальный интерес к среднеболгарским памятникам определялся стремлением исследователя изучить взаимосвязь старославянского языка с новоболгарским языком. В своем исследовании Билярский справедливо указал, что вопрос этот остается еще нерешенным. Приведя мнение Бессонова о том, что старославянский и болгарский язык, несмотря на их близость, все же различные языки, Билярский спрашивает: „Кто же, спрашивается, подвергал подробному и отчетливому исследованию отношения между болгарским и церковным, чтобы отзывать об этом так решительно?“² Автор справедливо указывает, что ответ на поставленный вопрос можно будет получить только в том случае, если тщательно исследовать памятники среднеболгарской эпохи, связывающие старославянские тексты с произведениями новоболгарского языка. Труд П. С. Билярского — первое серьезное исследование языка одного среднеболгарского памятника, осветившее ряд важных и трудных проблем из истории болгарского языка.

П. С. Билярский остановился на изучении позднего среднеболгарского памятника (XIV в.). Автор избрал этот период потому, что ему важно было изучить памятник, который бы „еще не потеряв свойств древнего языка“, имел бы „определенные особенности своего времени“, которые приближали бы его „к позднему состоянию болгарского языка“³. В этом отношении выбор был сделан вполне удачно. Текст болгарского перевода летописи Манассия содержит некоторые отступления от старого церковного языка, вызванные воздействием народного болгарского языка XIV столетия.

¹ И. И. Срезневский. На память об О. М. Бодянском, В. И. Григоровиче и П. И. Прейсе, первых преподавателях славянской филологии. „Зап. А. Н., II Отд.“, т. XXXI, стр. 99.

² П. С. Билярский. О среднеболгарском вокализме по патриаршему списку летописи Манассия, изд. 2. СПб., 1858, стр. 10.

³ Там же, стр. 22.

В исследовании Билярского дается подробное описание редуцированных, носовых, *ѣ*, гласных *е, о, а, оу, ѵ, и*.

„Несмотря на то, — пишет Билярский, — что самые древние памятники церковнославянской письменности не представляют в себе безошибочного употребления полугласных, мы имеем полное право предполагать, что при начале письменности живое употребление хранило полугласные звуки (т. е. редуцированные. — *С. Б.*) еще в полной силе и свежести. Только употребление в устах народа могло побудить творца нашей письменности к изобретению особых начертаний для звуков, не имевших ничего подобного в известных ему языках. Только слух, приобывший к тончайшим оттенкам народного говора, мог руководить его к постоянному употреблению их в одних и тех же случаях, и притом в тех именно, в которых ныне находит их необходимыми сравнительное изучение славянских языков“¹.

Исследование редуцированных в летописи Манассия обнаруживает в авторе хорошую филологическую и лингвистическую подготовку. Он обычно не смешивает вопросы орфографии и языка, умело пользуется материалом современного болгарского языка. Особенный интерес в книге представляет параграф, посвященный анализу употребления *ѣ, а*. Еще А. Х. Востоков обратил внимание на то, что в среднеболгарских памятниках юсы часто смешиваются. Однако до Билярского никто не определил всех условий этой мена. Изучению этого вопроса посвящены лучшие страницы монографии.

„Наш памятник, — пишет Билярский, — в употреблении юсов, как замечено выше, постоянно соответствует древнецерковному правописанию, но отличается от него тем, что смешивает юсы, что и признано отличительной особенностью среднеболгарского и верным признаком его в рукописях. Но до сих пор, кажется, не было замечено, что это злоупотребление в среднеболгарском имеет свои границы. Преимущественно оно господствует в окончаниях, откуда, вероятно, и началось; но оно успело уже распространиться и на корни“². В исследовании впервые дается подробное описание употребления юсов во всех позициях, высказывается много интересных и важных для историка болгарского языка соображений. Автор справедливо считает, что мена юсов явилась отражением особенностей живого языка среднеболгарской поры. Однако отсутствие необходимого диалектологического материала не позволило автору придти к определенным выводам.

Небезынтересно указать, что Билярский первый из историков болгарского языка пытался связать утрату падежных флексий с фонетическими изменениями среднеболгарской эпохи (главным образом с явлением мена юсов). Эта точка зрения впоследствии получила широкое распространение у болгарских ученых.

Большой интерес монография Билярского представляет в методологическом плане. Автор обнаруживает глубокое понимание задач исторической фонетики, в конце 40-х гг. он оперирует понятием фонетического закона, подвергает основательной критике ошибочные теории Миклошича. Билярский считает себя учеником Востокова, труды которого в методологическом плане, по его мнению, стоят выше трудов Миклошича. В этом отношении представляет интерес следующее высказывание Билярского: „Недостаток положительно-исторического направления довольно невыгодно отражается на почтенных и полезных трудах венского филолога г-на Миклошича, и всего осязательнее на последнем его сочинении — „Сравнительной грамматике славянских

¹ П. С. Билярский. Указ. соч., стр. 65.

² Там же, стр. 80.

языков". Материал этой грамматики, собранный из разнородных источников, слишком мало очищен предварительной филологической критикой от примеси и порчи под влиянием разных времен и мест. Особенно повредило сочинению предубеждение автора в пользу так называемых им „собственных словенских“ памятников, каковы: Клоцевы глагольские отрывки, евангелие Ассемани, Супрасльская рукопись, которые составляют у него особый разряд, отличный от болгарского, сербского и русского. Если бы г. Миклошич заранее приучил себя к аналитической методе Востокова, то убедился бы, что и эти памятники, прежде филологического употребления, не менее всех других требуют очистительной критики; а убедившись в этом, он не стал бы оказывать такое безусловное доверие к каждой их форме, не отдал бы им решительного предпочтения пред древними памятниками других разрядов, даже едва ли сделал бы из них особый разряд"¹. Билярский, опираясь на труды Востокова, убедительно для своего времени показал генетическую связь старославянского и новоболгарского языков.

Труд Билярского — первое серьезное исследование, посвященное истории болгарского языка.

Во втором издании книги находим отрывок из летописи Манассия. Издание это отмечено высокими достоинствами. Академик В. М. Истрин указывал, что Билярский лучше своих современников понимал значение точного издания².

В 1855 г. вышел из печати двухтомный труд П. А. Бессонова — „Болгарские песни из сборников Ю. И. Венелина, Н. Д. Катранова и других болгар“. Первый том содержит большое исследование „Эпос сербский и болгарский во взаимном отношении, историческом и этнографическом“. Во втором томе находим тексты песен, обширный словарь-указатель и подробную грамматику новоболгарского языка, которая занимает половину книги (стр. 1—156).

Автор многих изданий и исследований по славянскому фольклору (самое замечательное — „Калики перехожие“. М., 1861—1864), П. А. Бессонов (1828—1898) в начале своей научной деятельности под влиянием трудов Ю. И. Венелина заинтересовался южными славянами, главным образом их эпическими песнями. Не будучи лингвистом, он в своем грамматическом очерке болгарского языка не ставил перед собою каких-либо больших задач. Цель его состояла в том, чтобы дать возможность читателю верно понять изданные песни.

В отличие от Венелина, Бессонов имел предшественников в этом деле. Ему были известны первые болгарские грамматики, он знал грамматику болгарского языка Цанковых, изданную на немецком языке в 1852 г. Воспользовался он и сравнительной грамматикой Миклошича.

В грамматике Бессонова находим подробное описание фонетики новоболгарского языка, свидетельствующее о том, что он имел возможность наблюдать живое болгарское произношение. В своем очерке он стремится дать лишь описание реальных фактов. Эти обстоятельства явились причиной того, почему грамматика Бессонова оказалась удачнее грамматики Венелина. Именно после издания труда Бессонова вопрос о необходимости издания грамматики Венелина окончательно решен был в отрицательном смысле. На длительный период грамматика Бессонова остается у нас единственным пособием по изучению болгарского языка.

В 1857 г. в Москве был издан капитальный труд А. А. Майкова — молодого начинающего слависта, ученика О. М. Бодянского, — „Исто-

¹ П. С. Билярский. Указ. соч., стр. 14—15.

² Письма к акад. П. С. Билярскому. Одесса, 1906, стр. XXV.

рия сербского языка по памятникам, писанным кириллицей, в связи с историей народа¹. Труд этот нашел очень сдержанную оценку у современников. Справедливо указывалось, что автор не владеет в достаточной степени методом филологической критики текстов, методом лингвистического анализа. Указывалось на то, что игнорирование болгарского языка не дало возможности автору как следует разобрататься в фактах древнесербского книжного языка. „Конечно, — писал Билярский, — было бы слишком неумеренно требовать от автора, чтобы он в одно время разработал две области — сербскую и болгарскую; но можно и надобно было ожидать, что при объяснении одной, он не упустит вовсе из виду другой, имевшей с нею близкие исторические связи, и по крайней мере будет отыскивать и выставлять факты, появление которых всего естественнее приписывать влиянию последней“¹.

Однако неуклонное стремление автора исследовать язык и его судьбы в связи с историей говорящего на нем народа, особое внимание не к церковным памятникам, а к светским, среди которых автором особенно выделяются грамоты, делают труд А. Майкова заслуживающим серьезного внимания. „Обильнейшим источником для истории и языка служат грамоты“, — пишет Майков². Майков пристально изучал некоторые вопросы из сербской истории. Уже через год после выхода книги историческая часть труда Майкова в сербском переводе Даничича вышла в Белграде (второе издание — в 1876 г.). После „Истории сербского языка“ Майков перестал заниматься языкознанием, написав несколько ценных трудов по истории южных славян („О суде присяжных у южных славян“, „О развитии земельной собственности у славян“ и др.).

Широкий интерес русского общества к живым славянским языкам (главным образом болгарскому) в середине XIX в. имел объяснение в тогдашней политической обстановке. Именно этим объясняется появление в печати, кроме специальных академических трудов, различных популярных изданий, а также пособий, предназначенных для русской армии. Среди многих аналогичных изданий можно указать, например, на „Карманную книгу для русских воинов, находящихся в походах против турок по болгарским землям“ (СПб., 1854), в которой, кроме разговорника и краткого русско-болгарского словаря, находим толково написанный очерк „Основные правила новоболгарского языка“. Во второй половине XIX в. (особенно в 70-х годах) подобных пособий появилось много.

Из работ, опубликованных в 60-е годы, особенное значение для южнославянского языкознания имеет статья В. И. Ламанского (1833—1914) — „Непорешенный вопрос“ (ЖМНП, СХLIII, 1869). Посетив в 1868 г. Любляны, Ламанский ознакомился с местным собранием славянских рукописей. В руки ему попала рукопись XVII в., получившая впоследствии название Люблянского дамаскина. Еще до Ламанского с этой рукописью ознакомились в свое время Григорович и Миклошич. Однако они не оценили значения этой рукописи. Ламанский первый определил значение Люблянского дамаскина для истории болгарского языка. Со статьи „Непорешенный вопрос“ начинается изучение языка новоболгарской письменности.

Наиболее значительным вкладом в изучение южных славянских языков в 70-е годы были исследования И. А. Бодуэна де Куртэна (1845—1929), посвященные словенской диалектологии. Мы уже писали,

¹ П. С. Билярский. Указ. соч., стр. 11.

² А. Майков. История сербского языка. М., 1857, стр. 3.

что еще в 40-х годах XIX в. словенцы привлекали внимание И. И. Срезневского.

Интерес Бодуэна де Куртенэ к словенскому языку определялся стремлением молодого исследователя изучить на конкретном материале различные формы языковых смешений. Поэтому он остановил свой выбор на жителях Резьянской долины (северная Италия), где можно было бы наблюдать процессы славянороманских языковых влияний. Собирая материал он в течение 1872—1873 гг. В 1875 г. Бодуэн де Куртенэ защитил в Петербургском университете докторскую диссертацию „Опыт фонетики Резьянских говоров“, опубликовал „Резьянский катехизис“, а в 1876 г. в „Славянском сборнике“ (т. III) поместил большую статью „Резья и резьяне“, содержащую много новых языковых наблюдений. Бодуэн де Куртенэ записал большое количество диалектологических текстов, часть которых позже была опубликована (см. „Материалы для южнославянской диалектологии и этнографии“, I, 1895; II, 1904). Кроме того, в разное время он опубликовал небольшие статьи, посвященные словенской диалектологии (см., например, „Несколько случаев психическо-морфологического уподобления или уодноображения в терско-славянских говорах северо-восточной Италии“. ИОРЯС, X, 3).

Исследования Бодуэна де Куртенэ по словенской диалектологии имеют большое значение не только для изучения мало известного в то время южнославянского языка. Они сыграли важную роль в формировании общетеоретических взглядов знаменитого русского лингвиста. По возвращении из заграничной командировки и после успешной защиты докторской диссертации Бодуэн де Куртенэ был избран профессором Казанского университета (1875—1883). Именно здесь, в Казани, он впервые сформулировал в полном виде основные положения своей лингвистической теории, объединив вокруг себя талантливых молодых лингвистов (Крушевский, Богородицкий и др.). „Казанской школе“ в истории языкознания (не только русского) принадлежит большое место.

До поездки к словенцам Бодуэн де Куртенэ занимался только сравнительным языкознанием (наиболее успешно — ведийским санскритом у Вебера) и изучением древнепольского языка (ср. его ценное исследование „О древнепольском языке до XIV столетия“, 1870 г.). Уже в этот период он разработал ряд важных положений будущей „казанской школы“. Так, в „Заметке об изменяемости основ склонения, в особенности же об их сокращении в пользу окончаний“ (1870 г., опубликована в сборнике в честь акад. Ф. Ф. Фортунатова в 1902 г.) он решительно выступил против антисторизма в изучении именных основ и описал принципы конкретно исторического подхода к изучению языковых фактов. Однако вся система лингвистических взглядов Бодуэна де Куртенэ сформировалась лишь к 1875 г. в результате длительных наблюдений над живой славянской речью в Резьянской долине. Он более углубленно решил вопрос о необходимости разграничения описательной и исторической грамматики (без крайностей Ф. де Соссюра и его последователей). „Занятия Бодуэна живыми говорами обуславливают его силу как теоретика: у него колоссальный живой опыт в области разнообразных языков, приобретенный им не в кабинете, сидя над книгой, а в реальной жизни“¹. Впоследствии из „казанской школы“ вышли крупные лингвисты.

Преемником Бодуэна по кафедре славяноведения Московского университета был А. Л. Дювернуа (1840—1886), занявший кафедру

¹ Л. В. Щерба. И. А. Бодуэн де Куртенэ и его значение в науке о языке. „Русский язык в школе“, 1940, № 4, стр. 86.

в 1869 г. В отличие от Бодянского, Дювернуа был лингвистом, но интересовался не столько славянским, сколько общим индоевропейским языкознанием и санскритом. Наибольшей известностью пользуется его магистерская диссертация „Об историческом наслоении в славянском словообразовании“ (М., 1867). Последние годы своей короткой жизни Дювернуа под влиянием событий 1876—1878 гг. заинтересовался болгарским языком. Он решил составить большой болгарский словарь. К работе над этим словарем Дювернуа привлек несколько своих молодых учеников (П. А. Лаврова, В. Н. Щепкина и др.). Сам Дювернуа при жизни успел издать лишь первый выпуск. Ученикам его, а также молодому слависту Б. М. Ляпунову и болгарину Влайкову (впоследствии известному писателю) пришлось проделать большую самостоятельную работу, так как материал словаря в значительной своей части совсем не был обработан: было много пропусков, не были расставлены ударения. „Словарь болгарского языка по памятникам народной словесности и произведениям новейшей печати“ был издан в девяти выпусках (1886—1889). Это был первый большой словарь болгарского языка, сыгравший значительную роль в истории болгарской лексикографии. Лишь после издания словаря Найдена Герова (Пловдив, 1895—1904) он в значительной степени утратил свое значение.

Работая над различными болгарскими текстами для словаря, П. А. Лавров и В. Н. Щепкин постепенно углублялись в изучение самого языка, памятников его письменности, диалектов.

П. А. Лавров (1855—1929) занимался главным образом древней славянской письменностью, историей сербской литературы, славянским фольклором. В 1887 г. он опубликовал большой труд „Петр II Петрович Негош владыка черногорский и его литературная деятельность“, за который он получил степень магистра.

Темой своей докторской диссертации П. А. Лавров избрал историю болгарского языка. Диссертация под названием „Обзор звуковых и формальных особенностей болгарского языка“ вышла в Москве в 1893 г. и успешно была им защищена. Одновременно с „Обзором“ Лаврова вышла „*Studja nad hystoryją języka bułgarskiego*“ проф. А. Калина. Это были первые опыты истории болгарского языка.

Несмотря на некоторые достоинства „Обзора“ (сообщается много новых фактов, в приложении публикуются ценные болгарские рукописи XIV, XVII и XVIII вв., словарь, содержащий большой материал), он имеет много существенных недостатков (главным образом методологического характера). Сказалось отсутствие лингвистической подготовки у автора. Это было хорошо показано В. Н. Щепкиным, одним из крупнейших представителей „московской лингвистической школы“, в его рецензии на „Обзор“. Однако „Обзор звуковых и формальных особенностей болгарского языка“ явился случайным эпизодом в научной биографии Лаврова. После „Обзора“ он уже не публиковал специальных лингвистических трудов. Для историка болгарского языка представляют интерес труды Лаврова о дамаскинах и его издание македонских сказок Верковича.

Большой след в истории русского славяноведения оставил ученик Дювернуа и Фортунатова профессор Московского университета В. Н. Щепкин (1863—1920). Получив превосходное лингвистическое образование под руководством акад. Ф. Ф. Фортунатова, Щепкин главное свое внимание обратил на изучение старославянского и болгарского языков. Уже во время работы над болгарским словарем он приобрел репутацию глубокого знатока современного болгарского языка, его говоров и письменных памятников. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно ему, тридцатилетнему начинающему слависту,

не имевшему в то время исследований в области болгарского языка, Второе отделение Академии наук поручило составить рецензию на докторскую диссертацию Лаврова, которая была представлена на соискание премии проф. Котляревского. Молодой ученый отнесся к этому поручению со всей серьезностью. В результате тщательного изучения труда Лаврова, проверки всех его фактов, привлечения новых была написана большая рецензия, в которой ярко обнаружилось личное дарование автора, его превосходная лингвистическая выучка и способность в так называемых мелочах подмечать основные пути языковой эволюции. Рецензия В. Н. Щепкина, напечатанная в „Отчете о присуждении премии им. Котляревского за 1895 год“, представляет собой самостоятельное исследование, сыгравшее в истории изучения болгарского языка большую роль, нежели сочинение, вызвавшее ее появление.

Уже в этой своей работе Щепкин поражает умением извлекать данные для истории живого языка из противоречивых и сбивчивых написаний старых памятников. Многие построения Лаврова после анализа Щепкина кажутся искусственными и ошибочными. Ценность рецензии состоит, однако, не только в этом. Отвлекаясь от своей непосредственной задачи, Щепкин пытается решить многие вопросы исторической фонетики болгарского языка. В рецензии много собственных наблюдений над памятниками, впервые привлекаются многие факты из народной речи.

Выше мы уже упоминали о наблюдениях акад. П. С. Билярского над меной юсов в языке среднеболгарских памятников. Впоследствии этот вопрос привлекал внимание многих славистов. В рецензии на „Обзор“ Лаврова этот вопрос находится в центре внимания Щепкина. Он детально исследует все случаи мены юсов, рассматривает различные позиции и обращает большое внимание на изучение отражения этого явления в говорах. Он впервые привел многочисленные примеры из говоров, подтверждающие, что мена юсов отражала особенности живого языка. Много ценных и важных замечаний рецензент делает о редуцированных гласных, обращает внимание на многие фонетические дублеты.

Темой своей магистерской диссертации Щепкин избрал, как известно, Саввину книгу, которая впоследствии была им издана. Одной из основных задач, поставленных автором, было изучение фонетических особенностей древнеболгарских говоров и отражение их в памятниках старославянского языка. Исследуя те или иные особенности памятника, Щепкин постоянно для разъяснения звуковой стороны написания обращается к данным болгарской диалектологии, обнаруживая при этом глубокое знание предмета. Затрагивает Щепкин в своем исследовании и некоторые вопросы более общего характера, например, вопрос о происхождении северо-западных болгарских говоров.

В 1901 г. В. Н. Щепкин приступил к работе над докторской диссертацией. Он остановился на одном среднеболгарском памятнике — Болонской псалтыри. Исследование было закончено и напечатано в 1905 г. под лаконичным названием „Болонская псалтырь“. Это исследование Щепкина принадлежит к одному из лучших описаний языка старого памятника, известных в славистике.

В истории изучения болгарского языка „Болонская псалтырь“ сыграла первостепенную роль. Этот труд сразу вошел в научный обиход. Метод сопоставления данных изучаемого памятника с современными говорами в этом исследовании получил блестящее применение. По богатству содержания оно может быть отнесено к числу тех немногих научных работ, которые постоянно читаются и изучаются, потому

что каждый раз в них можно найти новые мысли, факты, сопоставления. Не со всеми выводами автора „Болонской псалтыри“ можно согласиться, некоторые положения, очевидно, ошибочны, но и в этих случаях автору нельзя отказать в умении привлекать малоизвестные и совсем новые факты.

В этом своем исследовании Щепкин поставил вопрос о новой периодизации среднеболгарских рукописей, полагая, что древнейшие из них нужно отнести не к XII, а к XIII в. В этих своих выводах он опирался на изучение орнамента рукописей, на превращение классического византийского орнамента с его строгими и геометрическими формами в болгарский тератологический орнамент, богато насыщенный мотивами из растительного и животного мира. С конечными выводами автора по этому вопросу согласиться невозможно. Но сам анализ орнамента рукописи может быть отнесен к выдающимся достижениям нашей науки. Здесь перед нами не сухой бесстрастный классификатор почерков и заставок, а проникновенный исследователь той стороны рукописи, в которой нашли отражение художественные вкусы эпохи.

В центре внимания автора „Болонской псалтыри“ — вопросы исторической фонетики. Щепкин детально анализирует вокализм (носовые, редуцированные гласные и др.), высказывает много важных и ценных мыслей, всегда подкрепленных богатым диалектологическим материалом. Превосходна глава о выражении в памятнике мягкости согласных. Большой заслугой автора является издание отрывков из неопубликованных среднеболгарских памятников.

В. Н. Щепкин в течение длительного времени преподавал в Московском университете различные славянские языки. Известно, что он один из немногих вел занятия даже по полабскому языку. Однако лишь для болгарского языка он составил специальное университетское пособие, которым и теперь пользуются наши студенты и аспиранты. Это „Учебник болгарского языка“, вышедший в Москве в 1909 г.

Ценные исследования, посвященные южным славянским языкам, оставил другой ученик Ф. Ф. Фортунатова, выдающийся русский лингвист и историк акад. А. А. Шахматов (1864—1920).

Исследования Шахматова в области южных славянских языков были связаны главным образом с исследованиями по истории славянского ударения и количества. Историей славянского ударения Шахматов заинтересовался еще в 1887 г. Именно в это время он начал изучать сербо-хорватское ударение по грамматике Игнатия Берлича, по текстам Крижанича и Стулли. Плодом этих изучений явилось ценное исследование „К истории сербо-хорватских ударений“ (РФВ, 1888—1895). В 1896 г. Шахматов изучал на месте посавские и черногорские говоры. Статьи, содержащие итоги наблюдений, публиковались в „Известиях Отделения русского языка Академии наук“. Большое значение имеет рецензия Шахматова на книгу Решетара „Die serbokroatische Betonung südwestlicher Mundarten“ (Вена, 1900, напечатанная в ИОРЯС, VI). Среди трудов Шахматова „видное место занимают его акцентологические исследования в области славянских языков, главным образом — сербского“¹.

Сравнив ударения Берлича с ударением Караджича и Антона Мажуранича, автор установил, что посавский говор Берлича архаичнее штокавского говора Караджича. Кроме сохранения старого места ударения перед кратким слогом (ср. у Берлича *rúka* нэ *vodā*), „чрезвычайно важным является сохранение у Берлича и чакавцев... старого восхо-

¹ Л. А. Булаховский. Акцентологический закон А. А. Шахматова. „А. А. Шахматов“. М.—Л., 1947, стр. 399.

дядежного ударения, обычно замененного в штокавском наречии нисходящим... Самый важный вывод, который сделал Шахматов в своих акцентологических изысканиях, заключается в признании вслед за Даничиным непервоначальности как штокавской, так и чакавской акцентовки и предположении двуслогового ударения в прасербскохорватском и, восходя далее, праславянском в таких случаях, как *vòdà, rùkà, vòdè, rùké*...¹.

Несмотря на очевидную теперь для нас переоценку данных сербского языка для истории праславянского ударения (Шахматов считал, что сербское ударение наиболее близко к праславянскому), на недооценку данных западных славянских языков, Шахматов сделал ряд важных открытий не только для сравнительной грамматики славянских языков, но и для истории сербского языка².

Большое внимание уделял Шахматов истории безударного вокализма. Изучение редукции безударных гласных в южновеликорусских говорах заставило Шахматова обратить внимание на явления акания в словенском языке. Сравнительному изучению русского и словенского акания он посвятил большое исследование, напечатанное в сборнике в честь акад. Фортунатова в 1902 г. „Отмечая сходные с русскими явления в словенских говорах, Шахматов отметил и их существенные отличия, указав, однако, и общую главную причину акания — редукцию гласных, которой подвержены в словенских (крайних) говорах не только неударяемые, но и вообще краткие гласные *í* и *и*, между тем как редукция, лежащая в основании великорусского акания, коснулась лишь неударяемых гласных *е*, *о*, *а* как в положении после мягких, так и в положении после твердых звуков“³. В исследовании находим подробное описание произношения безударных гласных по различным словенским говорам, новую гипотезу о происхождении новословенских глухих (*е*, реже *а*).

Так, Шахматов высказал предположение, что новословенские глухие *е* (*а*) не восходят непосредственно к древним редуцированным, а развились позже из гласного полного образования. „Мне представляется гораздо более вероятным предположить, что *ѣ* и *ѡ* совпали в указанную эпоху (в прасловенскую. — С. Б.) в одной гласной полного образования. Эта гласная звучала как средний звук между *а* и *е*“⁴.

Большую роль в изучении южных славянских языков сыграл Шахматов и как руководитель молодых ученых. Так, под влиянием Шахматова начал заниматься историей сербского языка М. Г. Долобко (1885—1935), проходивший свою специальную подготовку под руководством акад. П. А. Лаврова. В первом и втором томе сербского журнала „Јужнословенски филолог“ он напечатал статью о языке одного сербского требника. В 1914 г. была опубликована работа Долобко „Јазик боснийских грамот XIV века“ (ИОРЯС, XIX). В дальнейшем Долобко отошел от изучения сербского языка.

Большое влияние оказал Шахматов на Л. Л. Васильева, ученика акад. А. И. Соболевского. Именно под влиянием Шахматова Васильев, исследуя значение знака каморы в древнерусских памятниках, обратился

¹ Б. М. Ляпунов. Памяти академика А. А. Шахматова. ИОРЯС, XXVIII, 1925, стр. 219.

² См. статью: Д. В. Бубрих. О трудах А. А. Шахматова в области славянской акцентологии. ИОРЯС, XXV, стр. 198.

³ Б. М. Ляпунов. Указ. соч., стр. 227.

⁴ А. А. Шахматов. Русское и словенское акание. „Сборник статей, посвященных учениками и почитателями академику Ф. Ф. Фортунатову“. Варшава, 1902, стр. 5.

к словенскому языку, материал которого дал возможность окончательно решить поставленный вопрос¹.

Длительное время с Академией наук и русской высшей школой был связан крупнейший славист второй половины XIX в. и первой четверти XX — И. В. Ягич, хорват по национальности (1838—1923). С 1872 по 1875 г. он был профессором Новороссийского (Одесского) университета по кафедре сравнительного языкознания. Этот период его деятельности не оставил большого следа в науке. Позже, с 1880 по 1886 г., Ягич был профессором Петербургского университета по русскому и славянскому языкознанию. Некоторые ученики Ягича стали крупными учеными. Один из них сыграл значительную роль в истории русского языкознания, в частности, в истории изучения южных славянских языков. Речь идет об акад. Б. М. Ляпунове (1862—1943). В работах Ляпунова по истории русского языка, по сравнительной грамматике славянских языков, в многочисленных этимологических статьях южным славянским языкам уделяется большое место. Особенно привлекал внимание Ляпунова словенский язык архаичностью своего грамматического строя и словарного состава.

Серьезный вклад в изучение словенской акцентологии и этимологии представляет исследование Б. М. Ляпунова под скромным названием „Несколько замечаний о словенско-немецком словаре Плетершника“ (1902). Автор детально проанализировал фонетическую сторону материала словаря в сравнении с данными Шкрабца и Валявца и установил, „какие фонетические вопросы можно решить при помощи собранного здесь материала“². Фактически в работе находим подробное описание истории словенского вокализма, количества и интонации. В 1901 г. Ляпунов посетил некоторые районы Краины и Горицы, где проводил наблюдения над живой словенской речью. Это помогло ему вполне самостоятельно оценить многие факты в словаре Плетершника.

В своей последней работе, посвященной словенскому языку, Ляпунов рассматривает вопрос „Родственных связей словенцев с сербами и хорватами“ (1924) по данным языка. В этом исследовании Ляпунов выступает решительным противником старого взгляда Копитара—Миклошича, согласно которому словенский язык ближе к болгарскому, нежели к территориально смежному сербо-хорватскому языку. Вслед за некоторыми языковедами, Ляпунов считает, что сербо-хорватский и словенский языки генетически восходят к одному диалекту праславянского языка, к которому болгарский язык возвести невозможно. Это им доказывается фактами из истории редуцированных, слоговых плавных, носовых гласных, звуков *ѣ*, *ы*, сочетаний **tj*, **dj* эпентетического *l*, ударения и др. Нет сомнения, что основное положение автора верно. Однако вызывает серьезные сомнения его категорическое утверждение о том, что праюжнославянский язык не существовал, а что обособление словенско-сербского и болгарского языков произошло еще на почве праславянской. Но убедительных доказательств этому Ляпунов не привел. Изучением южных славянских языков много занимался С. М. Кульбакин (1873—1941), ученик проф. А. А. Кочубинского. В течение длительного времени он работал над языком среднеболгарских рукописей. В 1899—1901 гг. Кульбакин опубликовал „Материалы для характеристики среднеболгарского языка“, в которых дано подробное и всестороннее исследование языка Боянского евангелия XII—XIII вв., четвероеван-

¹ Л. А. Васильев. О значении каморы в некоторых древнерусских памятниках XVI—XVII вв. Л., 1929, стр. 15.

² „Летопись историко-филологического общества при Новороссийском университете“, VII. Одесса, 1902, стр. 367.

гелия Григоровича XIII—XIV вв. и Охридского апостола XII в. Позже он опубликовал весь текст апостола с детальным анализом его языка. За эту работу он получил степень доктора славянской филологии. Труды С. М. Кульбакина, посвященные среднеболгарскому языку, оставили большой след в истории изучения болгарского языка. Кульбакину же принадлежит исследование языка Мирославова евангелия — древнейшего памятника сербского языка, исследование языка и правописания Вуконова евангелия XIII в. и ряд других работ.

В обширном научном наследии проф. Г. А. Ильинского (1876—1936) большое место занимают труды по южным славянским языкам. Он опубликовал ряд важных работ по изучению языка среднеболгарских рукописей. Важнейшие из них — исследование языка и издание текста Слепченского апостола XII в. и докторская диссертация „Грамоты болгарских царей“ (М., 1911). Вообще изучение языка среднеболгарских рукописей, начиная с Билярского, всегда находилось в центре внимания русских славистов. У Ильинского есть исследования и по сербскому языку. Наиболее важное из них — изучение языка и издание древнейшей сербской грамоты бана Кулина 1189 г. Кроме того, им написано большое число статей, посвященных частным вопросам истории болгарского и сербо-хорватского языков (о флексии родительного падежа множественного числа *-а* и много других).

А. М. Лукьяненко, ученик проф. Т. Д. Флоринского, в 1905 г. опубликовал исследование „Кайкавское наречие“, которое до сих пор не утратило своего значения.

В 1898 г. начал публиковать свои работы по болгарской этнографии и диалектологии Н. С. Державин. Он выступил в печати со статьей „Очерки быта южнорусских болгар. 1. Родинные и свадебные обычаи. 2. Поверья“ („Этнографическое обозрение“, № 3, 1898 г.). Систематически посещая различные районы с болгарским населением, он собрал большой этнографический и диалектологический материал. Результаты изучения этого материала были опубликованы в двух больших томах — „Болгарские колонии в России. — Материалы по славянской этнографии“ („Сборник за народни умствотворения“, кн. XXIX, София, 1914) и „Болгарские колонии в России“, т. II, язык (Лг., 1915). В 1916 г. Державин за свое исследование получил степень магистра славянской филологии.

В своем исследовании автор уделяет большое внимание быту и языку приазовских болгар, а также болгар бывшей Херсонской губернии. В Бессарабии он собрал материал по трем пунктам: Болград, Шикирлик (ныне Суворово) и Чушма-Варуита (ныне Криничное).

Первый том исследования посвящен описанию материальной культуры болгар. Второй том содержит описание диалектов. Исследование Державина характеризует также и различные группы болгарских говоров. К сожалению, оно имеет существенные недостатки.

Н. С. Державин поставил перед собой задачу дать описание наиболее важных болгарских говоров России. Не имея возможности исследовать все говоры, он решил изучить наиболее характерные, чтобы в той или иной степени дать представление обо всех говорах. Так, из бессарабских он описал чуשמелийский, болгарградский и шикирликский. Нужно, однако, сказать, что данные три говора далеко не характеризуют всех бессарабских говоров. Автор прошел мимо северо-восточных говоров нешуменского типа. Эта группа занимает особое место среди бессарабских говоров. В работе нет описания балканских говоров (кроме сливенского). А такие говоры широко представлены в Бессарабии. Болградский говор характеризует лишь одну группу сливенских бессарабских говоров. Говор села Суворово (Шикирлик) относится к восточнофра-

кийской группе. Однако он не может считаться ярким представителем всех бессарабских говоров этого типа. Наоборот, среди восточнофранкских говоров Бессарабии он занимает особое место. Кроме него, нужно было бы дать описание говора Селиоглу или Кот-Китай.

Н. С. Державин считал, что группировки, исходящей из признаков самих говоров, дать невозможно. Именно поэтому он в своей работе распределяет говоры по губерниям (Бессарабская, Таврическая, Херсонская), а отсюда у читателя не создается никакого представления о говорах и о взаимоотношениях между ними. Автор утверждал, что болгарские говоры России представляют собой „бессистемный конгломерат отдельных разнородных диалектологических ячеек“¹. Дело обстоит не так. Болгарские говоры нашего юга принадлежат к нескольким болгарским диалектам. Державин не сумел верно определить диалектный тип наших болгарских говоров и установить между ними связь. Имеются существенные ошибки и в описании самих говоров. Автор не делает никаких различий в приемах и методах исследования между изучением единых и смешанных говоров.

В 1907 г. большую статью о фонетических особенностях говора крымских болгар опубликовал А. Ф. Музыченко (ИОРЯС, XII).

Историку болгарского языка необходимо учитывать труды П. А. Сырку (1855—1905) и особенно А. И. Яцимирского (1875—1925), посвященные румынской письменности и славяно-румынским языковым связям².

Во второй половине XIX в., в связи с значительным расширением преподавания славянских языков в русских университетах возникает острая потребность в учебниках и учебных пособиях по славянскому языкознанию. В 1884 г. в „Русском Филологическом Вестнике“ публикуются старые лекции В. И. Григоровича „Славянские наречия“, которые содержат краткие характеристики отдельных славянских языков. Сильно устаревшие в методологическом отношении, скудные по материалу, эти лекции не могли удовлетворить запросов молодежи. Нужны были пособия другого уровня. Задачу создания такого пособия поставил перед собою профессор Киевского университета Т. Д. Флоринский (1854—1919). В 1895 г. в Киеве вышла из печати первая часть его „Лекций по славянскому языкознанию“, посвященная южным славянским языкам. В 1897 г. была издана вторая часть, содержащая характеристику западных славянских языков.

„Лекции“ Флоринского — это не сравнительная грамматика. В них даны очень подробные характеристики отдельных славянских языков. Несмотря на недостатки методологического характера, „Лекции по славянскому языкознанию“ длительное время были основным пособием молодых русских славистов.

В это же время появляются краткие очерки фонетики и морфологии отдельных славянских языков профессора Московского университета Р. Ф. Брандта (1853—1919), которые, однако, не пользовались большим успехом.

Удачно был написан учебник сербского языка С. М. Кульбакиным „Сербский язык“ (первое издание 1916 г., второе — 1917 г.). До сих пор это лучший на русском языке очерк истории сербского языка. Важную роль в подготовке славистов играли различные литографированные курсы, посвященные славянским языкам.

Изучение южных славянских языков требовало специальных словарей. Еще в 1870 г. П. Лавровский выпустил сербско-русский и русско-

¹ Н. С. Державин. Ответ моему рецензенту. ИОРЯС, XXIII, кн. 2, стр. 68.

² О них подробнее см. в нашей монографии „Разыскания в области болгарской исторической диалектологии“, т. 1, М., 1948, стр. 41—44.

сербский словаря. В 1903 г. вышел мало удачный сербско-русский словарь Л. А. Мичатека. Тот же Мичатек в 1910 г. выпустил болгарско-русский словарь, составленный по словарю Дювернуа. Словенско-русский и русско-словенский словаря были составлены М. Хостником (1901 г.).

Русское славянское языкознание в конце XIX—начале XX в. выдвинулось на одно из первых мест в мире. Высокий уровень филологической критики текста, широкое и умелое привлечение диалектологического материала, изучение явлений языка в связи с судьбами говорящего на нем народа, — все это отличает труды указанных лингвистов и обязывает нас отнестись к ним с особым вниманием. Прежде всего следует указать на фортуатовскую школу, которая оказала сильное влияние на развитие науки не только в России, но и за ее пределами.

После Великой Октябрьской социалистической революции продолжали работать многие старые слависты. Наряду с ними выдвигаются новые лингвистические силы. Среди них наиболее крупным исследователем был воспитанник Казанского университета А. М. Селищев (1886—1942). Его научная деятельность началась в предреволюционные годы. Она охватывала различные отделы славянской филологии. Однако основное внимание исследователя было направлено на изучение македонской диалектологии.

Селищев начинает изучать Македонию со времени краткой научной командировки на Балканы в 1914 г., которая была прервана начавшейся мировой войной. В своем подробном отчете он указывает, что целью его поездки были „занятия и собирание материала для изучения говоров северной Македонии и по истории болгарского литературного языка, в частности, „препростейшего и некнижного языка болгарского“ писателей первой половины XIX в. В мою задачу входило изучение говора прежде всего Тетовской области, — говора почти совершенно неизвестного. Недостаток времени и некоторые другие неблагоприятные обстоятельства не позволили мне осуществить свое намерение в желательной полноте“¹.

Приступив по возвращении к обработке своих материалов по истории говоров Дольнего Полога, Селищев решил, что изучению северной Македонии должен предшествовать общий обзор всех македонских говоров, на фоне которого анализ северных говоров будет выглядеть отчетливее. Тем более он считал необходимым это сделать, что такого обзора еще не было. Известная работа В. Облака „Macedonische Studien“ (Wien, 1896), содержала характеристику лишь некоторых македонских говоров. Хорошая работа М. Григорова — „Говорът на малореканците в Дебърско“ — посвящена описанию лишь одного говора. Все остальное „не представляет полного и научного описания того или иного македонского говора, а заключает лишь перечень в своеобразном порядке и с странными пояснениями некоторых языковых явлений“².

Общему описанию всех македонских говоров в связи с данными болгарской параллели четырехязычного словаря Хаджи Данила Селищев посвятил несколько лет. В 1918 г. в Казани эта работа была напечатана под названием „Очерки по македонской диалектологии“. Совет историко-филологического факультета Казанского университета присудил ее автору степень магистра славянской филологии. Это был первый том задуманного им большого труда. Второй он собирался посвятить уже говорам Полога по собственным наблюдениям и по данным языка

¹ А. М. Селищев. Отчет о занятиях за границей в летнее вакационное время 1914 г. Казань, 1915, стр. 1.

² А. М. Селищев. Очерки по македонской диалектологии. Казань, 1918, стр. III.

Кирилла Пейчиновича, характеризующего македонские говоры начала XIX в. Однако обстоятельства вынудили Селищева временно прервать эту работу. В 1921 г. Селищев получил приглашение занять кафедру славянской филологии Московского университета, которая после смерти В. Н. Щепкина не была замещена. Здесь, в Москве, Селищев вновь получил возможность заняться специальными разысканиями в области южных славянских языков.

В 1929 г. вышла в свет его работа под названием „Полог и его болгарское население“. Одновременно Селищев углубляется в изучение балканизмов, т. е. общих новообразований в болгарском, румынском, албанском и новогреческом языках. Результатом этих его наблюдений явилась статья „Des traits linguistiques communs aux langues balkaniques“, напечатанная в парижском „Revue des études slaves“ (V, 1925).

После завершения своей большой работы о говорах Полога Селищев обратил внимание на другие северномакедонские говоры, в частности на говоры области Скопя. Здесь автор, однако, находился в затруднительном положении, так как в его распоряжении не было надежных материалов. В течение продолжительного времени он по крохам собирал материал из различных источников. Тем не менее, ему удалось охарактеризовать говоры Скопя в их важнейших особенностях. Исследование Селищева „Говоры области Скопя“ напечатано в журнале „Македонски преглед“.

Постепенно расширялся объект наблюдений. Привлекались новые материалы. Для изучения македонских говоров в их прошлом оказались ценными факты славянского языка Албании, сохранившегося в многочисленных славянских заимствованиях в албанском языке и в богатой славянской топонимии Албании. Сразу же после завершения работы над говорами Полога Селищев приступил к всестороннему изучению албанско-славянских отношений и славянской топонимии Албании. Им было написано большое сочинение „Славянское население Албании“ (София, 1931), встреченное весьма сочувственно известным албановедом Н. Йоклем¹. Пользуясь самыми разнообразными материалами, Селищев восстановил древнейшую славянскую топонимию Албании. Его карта Албании, приложенная к „Славянскому населению Албании“, представляет ценнейший вклад в историческую географию Балканского полуострова.

Со времени своего исследования Албании Селищев обратил самое пристальное внимание на изучение топонимии и ее лингвистической интерпретации. Обнаружилось, что она является ценным источником для исторической диалектологии Македонии. „Топонимия представляет собой один из ценнейших источников наших сведений по исторической этнографии и для истории общественной и экономической жизни страны. Она может пролить яркий свет на историю этнических отношений в далеком прошлом, на миграцию народов и отдельных групп населения, на экономические и общественные отношения“². Итоги его наблюдений представлены в статье „Диалектологическое значение македонской топонимии“, напечатанной в сборнике в честь Л. Милетича.

Еще в середине 20-х годов Селищев обратил внимание на македонские монастырские помянники. Записи в этих помянниках на простом не книжном языке дают богатый материал для исторической диалектологии и этнографии. В сборнике в честь акад. А. И. Соболевского он напечатал небольшую заметку о помяннике монастыря Трескавца, хранящемся в Ленинградской публичной библиотеке в собрании Гильфердинга.

¹ „Slavia“, XIII, 2—3, str. 281—253; str. 609—645.

² Из старой и новой топонимии. „Труды Моск. ИФЛИ“, т. V, 1939, стр. 134.

Позже, после завершения своих славяно-албанских штудий, Селищев приступил к большому специальному исследованию всех доступных для изучения македонских кодиков (помянников). В них автор обнаружил значительный материал для характеристики македонских говоров и обычаев коренного населения Македонии в XVI—XVIII вв. Работа, посвященная изучению македонских помянников, вышла в 1933 г. под названием „Македонские кодичи XVI—XVIII веков. Очерки по исторической этнографии и диалектологии Македонии“.

Большое место в творчестве Селищева занимают многочисленные критические работы по македонской диалектологии. Они дают богатый материал для суждения о методологических приемах автора.

В большинстве своих исследований Македонии Селищев уделяет много внимания не только языку, но и истории, колонизации и этнографии. Так, в книге „Полог и его болгарское население“ автор подробно характеризует обычаи местного населения. Значительное место уделено этнографии в книге „Македонские кодичи“. Наряду с этим перу Селищева принадлежит несколько специальных работ по этнографии южных славян. Укажу „Семейната служба (курбан) в България и Македония и сръбската слава“ (1929), „К изучению службы славя“ (1930) и др.

Уже в первой своей большой работе, посвященной изучению македонских говоров, Селищев поставил перед собой все основные проблемы македонской диалектологии. Главная задача этой работы состояла в возможно полном описании современных говоров Македонии в связи с данными словаря Хаджи Даниила. В ней нашли полное отражение методологические приемы Селищева как диалектолога: всестороннее и детальное изучение современных народных говоров в связи с более древним памятником, хорошо отражающим черты местной народной речи. В „Очерках по македонской диалектологии“ автор привлек исключительно ценный памятник, характеризующий состояние юго-западных македонских говоров второй половины XVIII в. Чтобы облегчить изучение греческого языка болгарам, албанцам и македонским влахам, Хаджи Даниил написал тетраглоссарий, включающий в себя небольшие рассказы на новогреческом, болгарском, албанском и влашском языках. Болгарская параллель словаря дала Селищеву исключительно большой материал для характеристики македонских говоров XVIII в. и помогла исследовать современные говоры Македонии в историческом плане.

Продолжением „Очерков по македонской диалектологии“ является большое исследование А. М. Селищева „Полог и его болгарское население. Исторические, этнографические и диалектологические очерки северо-западной Македонии“ с этнографической картой Полога. Это исследование в методологическом отношении написано в том же плане, что и „Очерки“. Автор комбинирует данные современных народных говоров Полога с данными, извлеченными из писаний Кирилла Пейчиновича на „препростейшем и некнижном языке болгарском Дольной Мизии, скопском и тетовском“. На этом языке написаны его „Огледало“ и „Утешение грешным“. Сам Кирилл Пейчинович был родом из села Теарце близ города Тетово. „Главное значение писаний Кирилла Пейчиновича — диалектологическое. Его писания представляют богатые данные для характеристики говоров Дольного Полога в начале прошлого века. Имея в виду диалектологическую пестроту Македонии, разнообразие и сложность процессов, пережитых говорами ее, различное скрещивание процессов и их результатов, — процессов, свойственных разным группам, — приходится очень осторожно и медленно подвигаться в глубь прошлого

¹ А. М. Селищев. Заметки по этнографии и диалектологии Македонии. „Сб. отд. русск. яз. и слов. АН СССР“, т. С1, 1928, стр. 315.

этих говоров. Изучение данных, извлекаемых из писаний о Кирилла, а также его земляков-современников, в связи с данными современных положских говоров (совсем неизученных) представит нам состояние говоров этой области в течение XIX и начала XX века. Такое изучение говоров следует применить ко всем областям, а к Дольнему Пологу в особенности: этот северо-западный край Македонии является сопредельным со Старой и юго-восточной Сербией, говоры которой относятся к иной, не македонской группе¹. Воспользовался Селищев писаниями и другого книжника, иеромонаха Арсения, родом также из села Теарце.

Описание современных говоров Дольнего Полога сделано на основании личных наблюдений. В этом отношении нашли наглядное отражение все важнейшие методологические и методические приемы Селищева-диалектолога: тщательное изучение физиологии звуков, изучение звуков в различных позициях в слове и пристальное внимание к различным стилям речи — торжественной, книжной, бытовой, эмоционально-экспрессивной и т. п. Судьба редуцированных в Пологе при первом знакомстве с говором представляется необычайно сложной и запутанной. Селищев всесторонне исследует этот вопрос, уделяя внимание различным позициям *ѣ* и *ѣ* в слове и различных стилях речи. „Судьба сильных *ѣ*, *ѣ* в Пологе, — пишет Селищев, — очень сложная и в ряде случаев не совсем ясная. Для представления этой судьбы следует сделать анализ отдельных слов и формальных элементов с заменителями *ѣ*, *ѣ*“². Селищев обнаруживает, что в отношении сильного *ѣ* в корне говора Полога делятся на две группы: горно-положскую и дольне-положскую. В первой *ѣ* изменяется в *о*: *сон*, *дош*, во второй находим *о* и *ѣ*, который в различных позициях имеет свои особенности. Селищев обращает внимание на то, что в обыденной речи встречается часто *о*. Указывает, что слово *сон* раньше встречалось чаще, нежели теперь. Писания К. Пейчиновича дают много примеров с *о* на месте сильного *ѣ* в корне. Подобный же результат изменения *ѣ* представляет и топонимия Дольнего Полога (*Бозовец*, *Добърце*). Появление *ѣ* на месте сильного *ѣ* — явление позднее, заимствованное, идущее с северо-запада. „Имея ввиду эти свидетельства... полагаем, — пишет Селищев, — что некогда по всему Пологу *ѣ* > *о* в сильном положении. В течение времени под воздействием северо-западных говоров, при сношениях с населением из-за Шар-Планины, стали входить в речь дальнеположан некоторые слова с *ѣ* в корне — *сън*“³. Сильный *ѣ* в суффиксах по всему Пологу изменился в *о*. Лишь к северу от Тетова в суффиксе *-ѣк-* находим *ѣ* или *а*, что обнаруживается уже в языке Кирилла Пейчиновича. Так же детально Селищев рассматривает судьбу сильного *ѣ* в говорах Полога.

Селищев всегда требовал, чтобы изучение фонетических процессов велось не абстрактно, не изолированно от тех реальных условий, в которых эти процессы происходят. Этому он всегда следовал сам. Для него важным свидетельством была не только этимология слова, но и история его в данной диалектной группе. Все это необходимо было учитывать диалектологу Македонии, как и всякой другой области со смешанным населением.

Большой методологический интерес представляет раздел в книге „Полог“, посвященный судьбе носовых в северо-западной Македонии. Селищев пристально исследует судьбу носовых в различных позициях в слове, обращает внимание на различные суффиксы именно

¹ А. М. Селищев. Полог, София, 1929, стр. 164—165.

² Там же, стр. 294.

³ Там же, стр. 297.

и глагольного характера, рассматривает историю отдельных слов, изучает судьбу носовых в различных частях речи, исследует в связи с данным вопросом местную географическую номенклатуру, привлекает данные других славянских языков (кайкавские говоры). Только после такого всестороннего анализа Селищев приходит к общему выводу. Исследуя прошлое местных говоров, он выделяет все позднейшие книжные иноязычные или инодиалектные наслоения. Без этого необходимого условия привлекать данные диалектологии для реконструкции древнейших процессов исторической фонетики и морфологии, для изучения древнейших судеб племен невозможно.

Крупной заслугой А. М. Селищева является то, что он всесторонне изучил происхождение и историю македонских говоров. Как говорилось, этому предшествовали годы упорных исследований современных македонских говоров в связи с соседними говорами сербо-хорватского языка, изучение македонских памятников письменности и македонской топонимии.

Изучение топонимии велось Селищевым не формально. Он избегал пользоваться лишь голыми сопоставлениями, не подкрепленными данными географическими, геологическими, этнографическими, не учитывающими всей совокупности языковых отношений данного края. Нужно указать, что не только в XVIII и первой половине XIX столетий топонимией пользовались произвольно и неосмотрительно, но и в настоящее время нередко случайное совпадение, отраженное в топонимии, дает материал для рискованных предположений. Исследуя славянскую топонимию Албании, Селищев всегда пытался раскрыть этимологию того или другого названия, учитывая рельеф местности, ее геологическое строение, местную флору и многие другие факторы. Так он установил, что название Пештане в Малакастре происходит не от слова *песок*, потому что в этой местности песку нет. Это местность пористого известняка, характеризующаяся углублениями — нишами, так называемыми печищами. „Такого вида места у славян издавна назывались именами, образованными от *pekt'*: болгарское *пешч* (*пешт*), сербское *пећ*, русское *печь*, западнославянское *рес*“¹.

Еще в середине прошлого столетия Гильфердинг обратил внимание на некоторые топонимические названия в Греции — *Κρυοκουκι*, *Χουτοκουκι*, *Μηλικουκία*, *Γαρδικιά*, *Κουκία*. Он полагал, что это славянские названия, вторая часть которых представляет слово *кука*. Таким образом *Κρυοκουκι* — это Кривокуки. Это наблюдение Гильфердинга некритически повторяли другие исследователи (Лавров, Нидерле и некоторые др.). Если бы эта этимология Гильфердинга была верной, то нужно было бы признать, что *к'* на месте **tj* (**kt'*) является не только исконной заменой в Македонии, но что она была в языке тех славян, которые в VI столетии в большом числе наводнили не только Эпир и Фессалию, но и Пелопонесс. Естественно, что мимо этого Селищев пройти не мог. Он обязан был объяснить генезис этих названий или отказаться от своих воззрений на происхождение *к'*, *г'* в современных македонских говорах. На этом вопросе Селищев специально остановился в своем исследовании судеб славянского языка в Албании. Селищев обратил внимание на то, что окончанием второй части может быть *i*, но могут быть названия и без него, просто — *кук*. Вторая часть — *каки* не может восходить к *kotja*, так как оно никогда не представляет сочетаний двух исторических групп: *ρ > а*, **tj > к'*. Может быть *кук'а* или *кашта* (*к'шита*). Это дало основание Селищеву предположить неславянское происхо-

¹ А. М. Селищев. Славянское население в Албании. София, 1931, стр. 277.

ждение этой топонимии. Он обратился к соседним балканским языкам, и все сразу стало ясным. Оказалось, что это албанская топонимия: *кук* — „красный“. На территории распространения албанских поселений это наименование встречается очень часто. К северу от Аргирокастра находим *Hundokuk'* или *Hundekuk'*, что значит „Красный нос“. Село это расположено у продолговатого горного выступа. В районе верхнего Шкумби вершина горы в Лурье называется *Gurikuk'*, что значит „красный камень“. *Gurikuk'* находится на территории, где геологический горный состав представляет красную окраску¹. *Μηλιχοκκικη*, согласно разъяснению Селищева, албанское название, *mel* — „просо“ *kuk'* — „красный“.

Итак, всесторонний анализ современных македонских говоров, данных прошлой и современной топонимии, старой македонской письменности показал, что *к'*, *г'* на месте **tj (*kt') *dj* — явление позднее и заимствованное.

Уже В. Облак высказал предположение, что македонские *к'*, *г'* не являются исконными. Теперь, после многочисленных исследований Селищева, это стало совершенно очевидно.

Таким же методом и так же исчерпывающе исследованы все языковые особенности коренного населения Македонии.

Большое значение имеет исследование А. М. Селищева „Славянское население в Албании“. В этом исследовании рассматривается целый комплекс вопросов: славянские заимствования в албанском языке, славянская топонимия Албании, история славянской колонизации бассейнов рек Воюсы, Девола, Шкумби, история славянских групп Албании и другие частные вопросы балкановедения. Исследование это возникло не случайно. Оно связано с изучением истории македонских говоров. Дело в том, что население Македонии находилось в тесном общении с населением Албании. Из Македонии славянское население издавна переселялось в Албанию, где и оставило после себя многочисленные следы. Изучение их открывает перед историком македонских говоров новые важные факты для реконструкции судеб славянского языка в Македонии. Большой труд, затраченный Селищевым на эти исследования, вполне себя оправдал. Исследования славянского элемента в Албании подтвердили новыми неоспоримыми фактами прежние выводы, разъяснили немало темных и запутанных вопросов.

Значительный раздел исследования „Славянское население в Албании“ посвящен изучению истории славянских групп в Албании в связи с историей самой страны. Привлекая большой и разнообразный материал, Селищев прослеживает судьбы Албании и ее населения с 60-х годов IX в., т. е. с того времени, когда восточная Албания вошла в состав Болгарии. Здесь в городах Девола, Охрид и Главница протекала деятельность известного ученика Мефодия — Климента. Еще теснее взаимоотношения Македонии и Албании стали во второй половине X в. в эпоху Самуила. В период наивысшего расцвета Второго болгарского царства при Асене II почти вся Албания (кроме Скадра и Драча) вошла в состав Болгарии. В середине XIV в., при Стефане Душане (1331—1355), многие области Албании вошла в состав Сербии. В военном походе Стефана Душана в Фессалию в 1348 г. принимали участие албанцы. С XIV в. в Албании выдвигаются местные феодалы. Некоторым из них удалось объединить значительную часть Албании, например, могущественному феодалу Карлу Топия (1359—1388), который правил в Драче. В XV в. из-за северной Албании возникает война между Сербией и Венецией. В том же столетии албанские земли подчиняются

¹ А. М. Селищев. Указ. соч., стр. 283.

Турции. В связи с турецким завоеванием в Албании происходят значительные передвижения населения. Славянское население Албании вследствие своей изолированности сравнительно быстро в эпоху турецкого господства забыло родной язык. Со второй половины XVIII в. албанское население в большом числе устремляется в Македонию.

Изучение истории славян на территории современной Албании представляет значительные трудности. История почти не располагает документами, которые дали бы надежные основания для реконструкции прошлого славянского элемента среди албанского населения. Лингвистические исследования албанской топонимии и всестороннее изучение славянских элементов в албанском языке дали возможность А. М. Селищеву впервые с надлежащей полнотой осветить этот важный для балкановедения вопрос.

А. М. Селищев не первый обратил внимание на славянские следы в Албании и в албанском языке. Этому посвящено специальное исследование Миклошича — „Albanische Forschungen. I. Die slavischen Elemente im Albanischen“ (1870). Это исследование представляет собой список славянских слов, извлеченных из албанских источников. Таких исследований у Миклошича несколько. Они посвящены различным балканским языкам (см., например, его „Die slavischen Elemente im Rumänischen“). Исследование это не могло дать много для изучения истории славян и славянского языка в Албании, оно лишь обнаружило значительность славянского фонда в албанском языке. Однако и более поздние исследования, посвященные славяно-албанским языковым отношениям, мало отличаются в методологическом отношении от исследования Миклошича. Могу указать на работу проф. С. Младенова. „Принос към изучаване на българско-албански езикови отношения“, вышедшую за несколько лет до появления исследования Селищева¹.

Исследование славянских элементов в албанском языке выполнено Селищевым иными методами, дающими возможность изучить те реальные исторические формы, в которых складывались взаимоотношения албанцев и славян в различные исторические периоды.

Значительная группа славянских заимствований связана с заимствованием предметов. Исследование этих заимствований дает возможность изучить культурные и материальные взаимоотношения этих двух народов. Селищев не ограничивается тем, что все эти заимствования распределяет по различным подотделам (город, село, одежда и т. д.). Это лишь самое начало, первые шаги в исследовании. Каждое заимствованное слово в каждом отделе исследуется в связи с историей страны, условиями быта и даже географическими факторами. Подобное исследование потребовало от автора исключительных и разнообразных знаний, связанных в данном случае с Албанией. Селищев потратил на всестороннее изучение Албании несколько лет. Он внимательно штудировал исследования по геологии Албании, изучал ландшафт, особенности флоры, изучал местное сельское хозяйство, способы обработки земли, скотоводство... Я уже не говорю, что изучение этнографии и истории Албании предшествовало всему этому. Пристальное изучение славянских слов в албанском языке показало, что славяне оказали сильное влияние на терминологию в области земледелия, строительной техники, пчеловодства, рыболовства, различных ремесел, одежды... В области скотоводства славянское влияние не было глубоко. „Скотоводческое дело издавна составляло главное занятие албанцев и славянское воздействие в этом отношении не могло быть сильным“².

¹ „Годишник на Софийский Университет“, кн. XXXIII, 1927.

² А. М. Селищев. Славянское население в Албании, стр. 164.

Большой раздел в книге посвящен изучению заимствований в албанском языке, не связанных с предметными новшествами. Подобного типа заимствования Селищев объясняет главным образом их повышенной эмоциональной экспрессией. Вообще эмоционально-экспрессивная сторона речи играет, по мнению Селищева, исключительно большую роль при словарных заимствованиях. Только учитывая это, можно объяснить заимствование глаголов. Все славянские глаголы в албанском языке повышенной экспрессивности. Этим же объясняется заимствование слов благодарности и приветствия, слов интимного значения.

Большой интерес представляет четвертая глава „Славянского населения в Албании“, посвященная изучению славянской топонимии. Селищев в этой части проделал громадную работу. Им был привлечен и всесторонне исследован неизвестный или малоизвестный материал, который дал ему возможность восстановить славянскую топонимию Албании в ее древнем виде. Карта славянской топонимии Албании Селищева является ценнейшим вкладом в историческую географию Балкан.

Лингвистическое изучение славянской топонимии Албании доказывает, что славянские группы, поселившиеся в бассейнах Черного Дрина, верхнего Шкумби, Семено-Деволы, Воюсы, южной Быстрицы, находились в тесных родственных отношениях со славянами Македонии, Северной Греции, Фракии и Мизии. Основной славянский поток в южную и среднюю Албанию шел через Костурский и Охридско-Ресенский край.

Изучение топографической карты Албании показывает распределение славянского элемента среди албанцев. Топонимия указывает, что славяне селились по речным долинам или у ближайшего к реке холма. „В областях, где находились славяне и албанцы, последние занимали со своими стадами местности горные, а славяне водворялись внизу, в долинах у рек и по полянам“¹. Для земледелия были особенно благоприятны долины Воюсы с ее притоком Сушицей, долины Семени и Деволы и области Скадрского озера. Топонимия свидетельствует, что именно здесь и были основаны славянские поселения. Приморские области, мало пригодные для земледелия, почти не представляют следов славянской топонимии.

В северной Албании, за исключением Скадрского района, славянских поселений почти не было. Из различных областей шла колонизация этих двух районов.

При изучении словарных заимствований Селищев решительно протестовал против этимологического принципа. Исследователь должен установить для данного заимствованного слова непосредственный источник, а не стремиться устанавливать его этимологию. Все слова в болгарском языке, заимствованные из турецкого языка, являются турцизмами. Для болгароведа безразлично, было ли данное слово в турецком исконным, или оно заимствовано в нем из арабского или персидского языков. Многие лингвисты исследуют факты языка без учета реальной исторической обстановки, стремятся установить возможно точно этимологию слова, но их мало интересует, при каких условиях и обстоятельствах произошло самое заимствование. Исследование словарных заимствований вскрывает реальные формы взаимоотношений народов, дает возможность исследовать историю реалий.

А. М. Селищев обладал исключительной способностью находить разные источники для характеристики живой народной речи. Показательны в этом отношении его исследования личных имен.

В своем большом последнем исследовании Македонии — „Македонские кодичи в XVI—XVIII вв.“ — Селищев обратил на этот источник

¹ А. М. Селищев. Славянское население в Албании, стр. 55.

самое пристальное внимание. Монастырские кодексы — помянники — включают в себе драгоценные факты народной речи. Селищев детально и всесторонне проанализировал три монастырских помянника (монастыря Матка в северной Македонии, Слепченского монастыря близ Битоля и Трескавецкого монастыря близ Прилепа). Его внимание привлекли не только текст и топонимия, но и личные имена. Личные имена характеризуют этническую принадлежность их носителей и дают материал для диалектологии. Кроме того, личные имена отражают различные культурные влияния. Все это тщательно исследовал Селищев. В. И. Григорович положил основу научному изучению говоров Македонии. Труды Селищева осветили историю македонских говоров, историю различных этнических взаимоотношений на территории Македонии и Албании, дали общее представление обо всех современных македонских говорах и детальное о северных говорах.

А. М. Селищев занимает выдающееся место в истории изучения южных славянских языков, в истории русского и советского славяноведения.

Длительное господство „нового учения о языке“ не могло пройти бесследно для славянского языкознания, для изучения южных славянских языков. Из советских славистов особенно упорно пропагандировал марризм акад. Н. С. Державин. В своих многочисленных работах 20—40-х годов он выступал последовательным сторонником учения о стадильности, отрицал генетическое родство славянских языков, отрицал их внутренние законы развития.

В своей статье „Наука на службе империализма“ Державин утверждал, что старославянский язык был языком „высших, командных классов македонской солунской славянской общественности, т. е. тех именно классов, к которым принадлежал Константин и Мефодий по своему рождению, воспитанию и своей политической карьере. Конечно, между этим языком высших кругов македонской славянской общественности г. Солуни и славянским языком окрестного деревенского населения существовали известные точки этнической общности, но, тем не менее, сравнительно с массовым языком окрестного населения, не говоря уже о славянском населении полуострова вообще, далеко за пределами района г. Солуня, — это был особый язык определенной социальной группы македонской славянской общественности г. Солуня — и только“¹. Таким образом, старославянский язык с его развитым флективным строем, по Державину, был языком господствующего класса, который, Державин называл „нормативным славянским национальным языком“². Народный же язык, по мнению Н. С. Державина, имел современный аналитический строй. Много позже в своей „Истории Болгарии“ Н. С. Державин писал, что отсутствие падежных форм в современном болгарском языке свидетельствует об особой архаичности болгарского языка. „В сравнении с русским языком современный болгарский язык отличается архаичностью своего лексического состава и грамматического строя. Он не знает, например, склонения, т. е. изменения слов по падежам, и для выражения падежных отношений пользуется различными предлогами. Он не знает неопределенной формы глагола...“³. Здесь вся история болгарского языка поставлена на голову. Против теории Державина свидетельствуют не только данные сравнительной грамматики славянских языков, истории болгарского

¹ Н. С. Державин. Наука на службе империализма. ИОН, 1932, № 2, стр. 147.

² Там же, стр. 148.

³ „История Болгарии“, т. 1. М., 1945, стр. 222—223.

языка, но и современный язык. В современном болгарском языке известны падежные формы, но они представлены в наречиях, наречных выражениях, в словах личного значения. Легко заметить, как все время сужается сфера употребления форм *Ивана, Ивану*. Дальнейшее развитие аналитизма наблюдаем в местоимении (ср. *на него* вм. *нему, на тях* вм. *ням* и т. д.). Отрицая все достижения нашей науки за весь предшествующий период, Державин пытался утвердить в славянском языкознании пресловутый элементный анализ.

Он отрицал генетическое родство южных славянских языков с другими славянскими языками, отрицал возможность существования для всех славянских языков общего языка-предка. Согласно его взгляду, южные славянские языки представляют собой новую стадию в развитии древнейших, автохтонных языков Балканского полуострова. Фракийские и иллирийские племена представляли собой „эмбриональное состояние будущих народов полуострова — славян, румын, албанцев, находившихся в процессе становления в социально-структурном, этнографическом и языковом отношениях“¹. Пользуясь элементарным анализом, он утверждал, что можно говорить „о несомненной наличности известной стадийно-преемственной связи между языком фракийским и южнославянским“².

В связи с этим Н. С. Державин стал на путь отрицания существования славянской колонизации Балканского полуострова³. Это однако не встретило поддержки в советской исторической науке. Вот почему в „Истории Болгарии“ Державин говорит уже о славянской колонизации Балканского полуострова, вступая тем самым в противоречие с языковым материалом, собранным им же самим.

Однако большинство советских славистов отрицательно относилось к принципам и методам школы акад. Марра. Здесь, в первую очередь, следует указать на Л. А. Булаховского, в многочисленных трудах которого южные славянские языки занимают большое место. Перу Булаховского, как известно, принадлежит большое число трудов по славянской акцентологии. В них широко используется материал сербо-хорватского, словенского и болгарского языков. Отдельным вопросам истории болгарского ударения Булаховский посвятил специальное исследование (см. „К болгарскому ударению“, 1921). В 1922 г. в сборнике „Наука на Украине“ (№ 4) Булаховский напечатал заметку „Падение синтетического склонения в болгарском языке“, в которой обратил внимание на то, что утрату склонения фонетическим совпадением падежей объяснить невозможно. В 1928 г. вышла статья „Вступ до „Нарису літературної болгарської мови“. В 1929 г. Л. А. Булаховский занимался изучением старокрымского болгарского говора — единственного родопского говора на нашей территории.

В сборнике „В чест на академик Александър Теодоров-Балан по случай деветдесет и петата му годишнина“ (София, 1955) Л. А. Булаховский опубликовал статью „Ударение старокрымского болгарского говора“.

В течение всей своей научной деятельности Булаховский постоянно интересуется вопросами грамматической аналогии, которую он исследует на материале различных славянских языков. Специально болгарскому языку посвящена работа „Славянские атематические глаголы“ (1940). Автор анализирует формы настоящего и будущего времени изъявитель-

¹ История Болгарии, стр. 49.

² Там же, стр. 74.

³ См. Н. С. Державин. Славяне и Византия в VI веке (Язык и литература), т. VI. М., 1930.

ного склонения, формы имперфект, аориста, повелительного склонения и причастия.

Значительное развитие советское славяноведение получило после завершения Великой Отечественной войны и возникновения славянских стран народной демократии. Особенно благоприятные условия для успешного развития славянского языкознания были созданы после лингвистической дискуссии 1950 г. Научным центром изучения южных славянских языков в настоящее время является Институт славяноведения АН СССР. Здесь ведется интенсивная работа по изучению истории и диалектологии болгарского языка, а также всесторонне исследуется грамматический строй литературного языка. Составлен атлас болгарских говоров на территории СССР. Отдельные исследования по диалектологии печатаются в серии „Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР“. Завершается коллективный труд „Основные вопросы болгарской грамматики“. Завершен ряд частных исследований по вопросам истории болгарского языка. Ведется работа по изучению сербо-хорватского языка, планируется несколько тем по словенскому языку. В последние годы было защищено несколько диссертаций, посвященных различным вопросам южнославянского языкознания. В настоящее время большое внимание уделяется созданию учебников по славянским языкам (в том числе по южнославянским).

Н. А. КОНДРАШОВ

ИЗУЧЕНИЕ ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ В РОССИИ И В СССР

Интерес к родственным по языку и культуре славянским народам рано пробудился у русских людей. „Повесть временных лет“ (XII в.) свидетельствует о том, что наши предки были хорошо знакомы с территориальным размещением и взаимоотношениями отдельных славянских племен и народностей. Киевский летописец, перечисляя восточнославянские племена, называет также важнейшие племенные объединения западных славян: чехов, мораван (по р. Мораве), ляхов (по р. Висле), лютичей, мазовшан и поморян. Не упомянуты в этом перечне лишь наиболее удаленные в территориальном отношении от Киевской Руси лужичане и полабские славяне. Так, на самой заре историографии славян мы находим подробное и основательное по тому времени рассуждение о славянах как едином целом.

Интерес к традициям древнеславянской письменности, обусловивший закономерное внимание русских книжников к старославянскому языку, усилился к середине XV в. в связи с событиями на Балканах, в особенности после захвата Константинополя турками (1453 г.). Ознакомление с западнославянскими языками (прежде всего с польским и чешским) препятствовали религиозные трения и натянутые, часто переходившие в открытые военные столкновения отношения с шляхетской Польшей, захватившей украинские и белорусские земли. Однако, помимо тесных и глубоких связей с болгарской культурой, Киевская Русь уже в X в. имела литературные связи с чешским народом, восходящие непосредственно к кирилло-мефодиевской эпохе. Об этом свидетельствует житие св. Вячеслава Чешского, открытое акад. А. Х. Востоковым в старых русских прологах, ряд других церковнославянских памятников чешского происхождения и некоторые указания русских летописей. С другой стороны, примечателен культ Бориса и Глеба в чешском Сазавском монастыре.

Положение меняется с конца XVI в., когда в Москве развивается обширная переводческая деятельность. О переводной литературе XVII в. акад. А. И. Соболевский писал, что „большая часть переводов этого столетия сделана с латинского языка, который в то время был языком науки в Польше и в Западной Европе. За латинским языком мы можем поставить польский, которым владело большинство наших переводчиков и на котором часто писали южно- и западнорусские ученые“¹.

Распространение в XVII в. „южнорусской“ образованности повлекло за собой проникновение некоторых лексических и синтаксических полонизмов в русский литературный язык того времени. В словарях нашла

¹ А. И. Соболевский. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв. „Сб. ОРЯС“, т. 74. СПб., 1903, стр. 49.

отражение лексика некоторых западнославянских языков. Так, в „Лексиконе славеноросском и имен толковании“ Памвы Берынды (Киев, 1627 г.), подводящем итоги употребления в литературном языке различных лексических пластов, находим лексические параллели из чешского и словацкого языков, приведены многие польские слова, знакомые составителю¹. При царе Алексее Михайловиче в 1670 г. издается уже специальный „Лексикон языка польского и славенского скорого ради изображения и уразумения“, в 1688 г. появляется следующий польско-русский словарь. Некоторые полонизмы, заимствованные в то время, получают всеобщее употребление, ср., например, такие западнославянские (по преимуществу польские) слова, как *особа*, *опека*, *вензель*, *пекарь*, *обыватель*; через польское посредство проникают некоторые богемизмы: *духовенство*, *местечко* и т. п.

Однако в целом в эпоху феодализма не было условий для установления тесных экономических и особенно культурных связей с Польшей и Чехией, хотя частые военные столкновения и дипломатические переговоры, несомненно, способствовали ознакомлению русских людей с польским языком, особенно в западнорусских землях.

С XVIII в. западнославянские языки стали привлекать внимание первых русских языковедов-славистов. Уже М. В. Ломоносов (1711—1765) в своих филологических трудах широко использовал данные западнославянских языков, указывая на их родственные связи с русским языком. В своем „Мнении“, представленном по поводу сочинения Шлецера, Ломоносов говорит о знании им польского языка. Он имел ясное представление не только о русском и старославянском языках, но и о славянской языковой семье в целом. Ломоносов знал, какие языки составляют эту семью, какие территории они занимают в настоящее время и занимали в прошлом, в каких взаимоотношениях они находятся. В перечне языков, сделанном Ломоносовым, находим польский, чешский, словацкий, вендский (под которым следует понимать лужицкий). Из других источников мы узнаем, что Ломоносов знал о существовании поморянского (кашубского) и полабского языков. М. В. Ломоносов был одним из первых ученых, предложивших классификацию славянских языков и уяснивших их взаимоотношения².

Современник Ломоносова В. К. Тредиаковский (1703—1769) также проявлял интерес к славянским языкам. Однако в своих филологических работах Тредиаковский, в отличие от Ломоносова, увлекался при сопоставлении случайными созвучиями, в результате чего появлялись nepозволительные этимологии. Иногда Тредиаковский констатировал верно подмеченные факты. В одной из своих работ он, например, пишет, что „самое тевтоническое слово *мениш*, есть словенское же *муж*, по примеру славенопольского *вензель* за славенское *узел*, *венс* за *ус*, *венгры* за *угры*“. „Здесь правильно и впервые, задолго до Востокова, подмечено соответствие русского *У* польским носовым гласным, хотя еще в виде неопределенного сопоставления“³, — отмечает К. С. Булич.

Но подобные удачные и обоснованные этимологии Тредиаковского, свидетельствующие о его познаниях, тонут в массе ненаучных сближений.

В XVIII в. из всех славянских языков более всего посчастливилось польскому, по которому в течение века появилось несколько пособий: две грамматики и словарь. Польская грамматика, изданная в 1701 г.

¹ С. К. Булич. Очерки истории языкознания в России. СПб. 1904, стр. 165—166.

² См. подробнее в статье: П. С. Кузнецова О трудах М. В. Ломоносова в области исторического и сравнительного языкознания. „Уч. зап. МГУ“, вып. 150, 1952, стр. 4—44.

³ С. К. Булич. Указ. соч., стр. 292.

в Киеве „для пользы и употребления российского юношества“, была составлена учителем польского языка Киевской академии Максимом Семигоновским. В конце века, в 1791 г., в Москве были напечатаны „Краткие правила польского языка, с присовокуплением к ним употребительнейших слов, разговоров и примеров для чтения в пользу и удовольствие желающих скоро выучиться оному“, составленные Яковом Благодарным. Польско-русский словарь был составлен переводчиком, помощником Ломоносова, Кириаком Кондратовичем. Указанные пособия давали возможность практического овладения польским языком. Не случайно, что А. Х. Востоков до приобретения словаря С. Линде широко использовал словарь Кондратовича при сборе „коренных и первообразных слов языка словенского“.

В сравнительном словаре П. С. Паласа, вышедшем в 1787—1789 гг., фигурировали почти все западнославянские языки: богемский (чешский), славяно-венгерский (словацкий), польский, кашубский, сорабский (лужицкий), полабский, однако материал, представленный многими авторами или почерпнутый из различных источников, далеко не является равноценным. Наряду с довольно точной передачей польских слов, в словаре находим грубые ошибки при передаче слов из других западнославянских языков.

Таким образом, на протяжении XVIII в. русская наука накапливала материалы по различным славянским языкам. Изучение языкового родства и исторический подход к фактам языка характеризуют исследования М. В. Ломоносова.

* * *

Начало XIX в. отмечено усилением интереса русского общества к культуре и языкам славянских народов. „Никогда раньше и никогда после наши общелитературные журналы не обнаруживали такого живого интереса к языку и языкознанию и не помещали так часто статей филологического и грамматического содержания, как в течение первой четверти XIX в.“¹ Издатель „Вестника Европы“ М. Т. Каченовский живо интересовался славянским миром. Помещая в январе 1816 г. сочувственный отзыв об альманахах Добровского „Славянин“ и „Славянка“, Каченовский писал: „У нас до сих пор мало думано о том, сколь близкое имеют родство с нашим языком многие другие, употребляемые, как внутри отечества, так и вне пределов оного на великом пространстве Европы, и сколь великую пользу приобрело бы отечественное знание, когда бы мы обратили внимание свое на состав разных славянских наречий, на образование их и взаимные отношения между ними“. Интерес читателя удовлетворялся журнальными статьями и заметками, переводными извлечениями из иностранных трудов. Можно указать, что в это время в „Вестнике Европы“ появилась информация о кашубах, лужицких сербах, словаках и особенностях их языка, часто публиковались сообщения о работах польских и чешских филологов. Несмотря на скудость и отрывочность этих сведений, они имели свое значение. В это время не было практических побуждений к изучению славянских языков. В научном отношении существенным препятствием в деле серьезного изучения славянских языков было отсутствие в русских университетах специальных славянских кафедр. Лишь в Московском университете на словесном отделении недолго (с 1811 г.) существовала кафедра славяно-русской словесности, на которой, однако, не было славистов. По мысли Каченовского, преподавание на этой кафедре должно было спо-

¹ С. К. Булич. Указ. соч., стр. 708.

собствовать „изучению славянского языка, познанию книг на оном и чтению славяно-русских сочинений с показанием отношения русского языка к славянскому и происхождения оногo“, но занятия на этой кафедре были сведены к чтению псалтири, и она была вскоре упразднена.

Первый русский славист А. Х. Востоков (1781—1864), славяноведческие интересы которого сложились в обстановке подъема общественного движения в России начала XIX в., не принадлежал к университетской среде. Востоков глубоко изучил старославянский и польский язык самоучкой. Теоретические труды Добровского по славистике и богатый словарь польского языка Линде с сравнительным славянским материалом открыли перед Востоковым огромное поле для наблюдений и обобщений в области славянского языкознания. Первые результаты сравнительно-исторического изучения славянских языков он опубликовал в 1820 г. в „Трудах Московского общества любителей российской словесности“. Это было знаменитое „Рассуждение о славянском языке“, положившее начало всей последующей русской науке о старославянском языке. В этом труде Востоков открыл старославянский язык, впервые определив его основные фонетические особенности путем сравнения его форм и звуков с фактами польского и русского языков. Особенно важным для славистики является то обстоятельство, что „Рассуждение“ основано на сравнении фактов различных славянских языков. Востоков проявил серьезную эрудицию и знакомство с письменными памятниками, уверенное и точное применение сравнительного метода (в области основных славянских языков), давшее важные и ощутимые результаты.

Востоков определил отношение старославянского языка к польскому и сербскому, сформулировал их отличия друг от друга в отношении рефлексов древних сочетаний **tj*, **dj* и **kt* перед *e*, *i*, впервые при помощи сравнения форм из Остромирова евангелия с соответствующими польскими определил звуковое значение старославянских юсов, охарактеризовал происхождение и периодизацию старославянского языка. В своей работе он отметил некоторые особенности палабского и древнечешского языков, отметил близость северо-западных (западнославянских) языков — чешского, польского и лужицкого.

В то время никто не предпринимал сравнительно-этимологических исследований такого широкого плана. Своими открытиями Востоков сразу стал рядом с крупнейшим чешским ученым, основоположником славяноведения как науки, Иосифом Добровским, а для понимания роли и исторических судеб старославянского языка сделал значительно больше него. Характеризуя деятельность Востокова, акад. С. П. Обнорский писал: „Это ведь была пора зарождения русской филологической науки, когда приходилось впервые вырабатывать самые приемы филологического исследования, когда знаний по отдельным дисциплинам, покрывающихся понятием филологии, было очень мало, а по некоторым дисциплинам и совсем не было. В этом отношении можно сказать, что именно труды Востокова содействовали росту и углублению знаний по отдельным звеньям филологической науки и подготовили расчленение в недалеком будущем комплексной филологической науки на ряд обособленных для самостоятельного дальнейшего развития дисциплин“¹.

Когда была осознана необходимость изучения западнославянских и южнославянских языков, встал вопрос о развитии русского славяноведения. Блестящие успехи чешской науки в области филологии и истории славянства, а также „открытие“ В. Ганкой в 1817 г. Краледворской

¹ С. П. Обнорский. Итоги научного изучения русского языка. „Уч. зап. МГУ“, вып. 106, 1946, стр. 7—8.

и Зеленогорской („Суд Любуши“) рукописей произвели сильное впечатление на русских ученых, группировавшихся вокруг большого любителя памятников русской культурной старины графа Н. П. Румянцева (1754—1826).

Необходимо было установить тесный контакт с учеными западнославянских стран, и президент Российской академии А. С. Шишков в начале 20-х годов XIX в. вступил в непосредственные сношения с деятелями чешского Возрождения — Добровским и Юнгманном — по вопросу об обмене научными открытиями и достижениями. В это время выдвигается план приглашения на службу в Россию чешских славистов П. И. Шафарика, Ф. Л. Челаковского и В. В. Ганки. Так, в начале XIX в. зарождались тесные культурные связи с чешскими учеными, которые с этого времени стали развиваться и крепнуть и вскоре дали блестящие результаты.

В 1821—1823 гг. русский ученый статистик и историк П. И. Кеппен (1793—1864) путешествовал по западным славянским землям и лично познакомился с выдающимися славистами. В 1825 г. он приступил к изданию журнала „Библиографические листы“, который он хотел сделать органом славяноведческой науки. Кеппен сумел за полтора года существования журнала проделать некоторую работу по ознакомлению русского общества с успехами зарубежной славистики. К участию в журнале он привлек видных зарубежных славистов: Добровского и Ганку (Прага), Копитара и Караджича (Вена), Шафарика (Нови Сад), Бандтке (Краков), Линде и Мронговуса (Варшава).

Существенным образом положение русского славяноведения изменилось в 1835 г., когда был принят новый университетский устав, согласно которому в университетах должны были открыты кафедры „истории и литературы славянских наречий“. Как известно, попытки привлечь в Россию крупных зарубежных славистов по разным причинам не были осуществлены. Кафедры нуждались в молодых и способных силах. Так как подготовленных специалистов для занятия вновь учрежденных кафедр в России тогда не было, то министерство народного просвещения решило, что лучшим средством подготовки преподавателей-славистов будет посылка молодых людей за границу для ознакомления их с языками, литературой и историей западных и южных славян на месте. Трудности усугублялись тем, что предмет изучения еще не был систематизирован, слишком мало было ученых в области славяноведения, редки были хорошие книги по славянским языкам. Ввиду этого инструкция министерства особое внимание командированных обращала на важность практического изучения славянских языков. Университетам было предложено отобрать молодых людей, обнаруживших способности к изучению славистики, и представить им необходимые средства для подготовки к профессуре.

Первым отправился в заграничное путешествие О. М. Бодянский, который уже закончил Московский университет по историко-филологическому факультету, в 1837 г. успешно защитил магистерскую диссертацию „О народной поэзии славянских племен“, и был знаком со славяноведением. За границей Бодянский пробыл без малого пять лет. Он посетил многие страны, но больше всего жил в Праге, где занимался под руководством знаменитого Шафарика. В Праге в это время работала целая плеяда деятелей чешского национального движения, которое особенно оживилось после основания в 1817 г. Чешского музея. Здесь работали лексикограф И. Юнгманн, историк древних славян и знаток славянской письменности П. И. Шафарик, поэт и филолог Ф. Л. Челаковский, историк Ф. Палацкий, первый библиотечарь музея В. Ганка и др. В командировке Бодянский основательно изучил живые славянские языки (в особенности чешский, словацкий и сербский), познакомился

с культурой славянских народов и установил дружеские отношения с зарубежными славистами. Возвратившись в 1842 г. в Москву, он занял кафедру славянской филологии.

Бодянский начал профессорскую деятельность на кафедре, которая не имела не только руководств и программ, но даже определенного суждения о составе, объеме и последовательности читаемых курсов. Известно, что, начиная с первого года своего преподавания, Бодянский большую часть своих лекций посвящал объяснительному чтению образцов чешского, польского и сербского языков. Эти чтения при активном участии слушателей были очень полезны и давали возможность студентам подготовиться к самостоятельной работе. После краткого грамматического введения в один из славянских языков, профессор и слушатели переходили к чтению литературных памятников на этом языке. Чаще всего читали Краледворскую рукопись, в подлинности которой мало кто тогда сомневался, поэму „Мария“ польского поэта Мальчевского и сербские эпические песни.

Бодянский перевел на русский язык и издал в 1843 г. ценный для того времени труд Шафарика „Славянская этнография“ (Slovanský národopis), который до появления „Сравнительной грамматики славянских языков“ Фр. Миклошича был основным источником сведений о славянских языках. В 1848 г. Бодянский издал перевод „Славянских древностей“ (Slovanské starožitnosti) Шафарика и, кроме того, напечатал в „Чтениях Общества истории и древностей российских“ ряд других произведений чешского филолога. Переводы, выполненные Бодянским, положили начало учебным пособиям по славяноведению в России. Бодянский усердно помогал заниматься изучением славянских языков тем из своих слушателей, которые избирали славяноведение в качестве главного предмета для своих занятий. Филологическую подготовку у него прошли Е. П. Новиков, защитивший позднее диссертацию о лужицких наречиях, А. А. Майков, автор работы по истории сербского языка, слависты А. Ф. Гильфердинг, А. А. Котляревский, А. Л. Дювернуа, А. А. Кочубинский, Н. П. Некрасов и др. Наряду с профессорской деятельностью, Бодянский много сил уделял изданию „Чтений Общества истории и древностей российских“ при Московском университете. Следовательно, заслуги Бодянского перед отечественной наукой заключаются в постановке преподавания живых славянских языков (преимущественно западных) в Московском университете, подготовке ряда известных славистов и ознакомлении русского общества с культурой зарубежного славянства.

П. И. Прейс (Петербургский университет) прежде чем отправиться в заграничную командировку в течение года занимался в Петербурге под руководством Востокова, бывшего в то время лучшим знатоком старославянского языка и древней письменности. В 1839 г. он выехал за границу и оставался там в течение трех лет. В Гданьске, Лейпциге и Берлине он ознакомился с кашубским языком, в Гнезне и Познани изучал польские древности, преимущественно по памятникам письменности. План лекций по славянской филологии, представленный Прейсом факультету, вполне соответствовал кругу знаний, необходимых каждому слависту, и был одобрен, однако преждевременная смерть талантливого ученого помешала осуществить задуманный план.

Наблюдениям Прейса славистика обязана первыми точными сведениями о кашубском языке: им были отмечены важнейшие особенности этого языка, отличающие его от польского, и составлен небольшой список кашубских слов.

Харьковский университет отправил в 1839 г. за границу И. И. Срезневского, который и раньше занимался вопросами славяноведения: еще

в 1832 г. он издал „Словацкие песни“, напечатал статьи о Краледворской рукописи и словаре Юнгманна и др. Возвратившись в 1842 г. в Харьков, он пробыл там недолго и после смерти Прейса занял кафедру славяноведения в Петербургском университете.

Основные труды Срезневского связаны с изучением памятников древней славянской письменности. Однако часть его работ посвящена непосредственно славянским языкам: он сообщил некоторые сведения о лужицких языках и письменности, неоднократно обращался к памятнику древнечешской письменности „Mater verborum“. В 50-х годах Срезневский основал „Известия АН по отделению русского языка и словесности“, в которых стали публиковаться многочисленные заметки о славянских языках и рецензии на вновь выходящие работы по славистике; к участию в этом издании были привлечены ученые и других славянских стран, таким образом, это академическое издание стало первым органом славянской филологии в России.

Значение деятельности первых русских славистов было велико. Они положили начало университетскому преподаванию славянских языков, литератур и славянских древностей, подготовили кадры филологов-славистов, занявшихся изучением отдельных славянских языков, способствовали культурному сближению славянских народов и обмену научными достижениями.

* * *

Как было отмечено, с конца 30-х годов наши научные связи с Прагой становятся особенно оживленными и плодотворными. Первые наши слависты посетили чешскую столицу и поступили на более или менее длительную выучку к чешским ученым. Интерес к чешскому языку, в особенности к древнечешской письменности, усилился благодаря „открытию“ поддельных Краледворской и Зеленогорской рукописей. В 1820 г. А. С. Шишков перепечатал и снабдил переводом Краледворскую рукопись („Известия Российской академии“, кн. 8, стр. 47—215). В последующие годы появился ряд переводов и изданий этих рукописей, в частности Зеленогорской рукописи, в подлиннике с русским переводом, сделанным Срезневским. В 1847 г. Краледворская рукопись и „Суд Любуши“ стали предметом разбора в статье казанского ученого А. Соколова (ЖМНП, 1847, ч. 44, стр. 154—170).

Некоторые работы И. И. Срезневского были посвящены чешскому и словацкому языкам. Один из ранних сборников словацких песен он составил еще в 1832 г. („Словацкие песни“, Харьков). Материал для этого сборника был почерпнут у заезжих словаков — торговцев и странствующих ремесленников. Следует отметить, что еще раньше, в „Библиографических листах“ Кеппена, были приведены сведения о разных оттенках словацкого наречия, о литературном языке А. Бернолака.

В инструкции первым русским славистам говорилось: „Предмет изучения славянских наречий и литератур, в истинном их ученом значении, еще слишком мало обработан; весьма немного можно встретить ученых, которые по призванию посвятили бы себя этому важному предмету. Как редки в этом отношении ученые, так редки хорошие книги, руководства и пособия по этому роду занятий; а кафедр, учрежденных по этому предмету и собственно для этой цели, кроме России, нигде, кажется, не находится. Все это само собою указывает уже нашему путешественнику на необходимость не столько заимочного, сколько самостоятельного и самоопределяющего способа учения и усовершенствования“. Поэтому в области занятий славянскими языками рекомендовалось прежде всего их практическое изучение, при этом путеше-

ственник должен был „следить за всеми возможными оттенками изменений“ этих языков по разным областям, в разных сословиях народа. Именно поэтому Срезневский старательно записывал факты изучаемых языков. Так, им был составлен словарь наречия горных словаков, оставшийся в рукописи.

Переводы трудов Шафарика, выполненные Бодянским и ставшие настольными книгами славяноведов, свидетельствовали о тесных связях русских славистов с чешскими. Следует отметить, что многими материалами в „Славянской этнографии“ Шафарик был обязан русским славистам, в особенности Бодянскому. Под влиянием работ Шафарика и чтений Срезневского ученик последнего К. Скворцов в 1853 г. издал „Глоссы Mater verborum, памятник чешской литературы XIII столетия, с объяснениями и примечаниями, литературным и филологическим введением и разбором в алфавитном порядке самих глосс“. В Средние века Mater verborum называлась обширная энциклопедия, в которой в азбучном порядке объяснялись латинские, греческие и древнееврейские слова. Чешский список этой энциклопедии, разобраный Скворцовым, содержал наряду с подлинными древнечешскими толкованиями множество поддельных. В 1859 г. в первом томе „Известий Археологического общества“ Срезневский напечатал статью о Mater verborum и дал разбор ее первой заглавной буквы. Он вновь обратился к этому памятнику в 1878 г., когда чешский палеограф А. Патер доказал подложность многих глосс памятника: он издал в „Записках АН“ (т. XXXI, приложение) разбор Патера „Чешские глоссы в Mater verborum“, сопроводив его собственными замечаниями. В этих замечаниях Срезневский отмечает значение тщательного палеографического анализа любого памятника, перед тем как использовать его в качестве научного материала. На примере поддельных чешских глосс он иллюстрирует тот вред, который был нанесен науке некритическим использованием материала этого памятника. В то же время Срезневский вплоть до своей смерти не мог поверить в то, что древние чешские рукописи являются поддельными и что в подлоге принял участие Ганка (см. . . . Былина о суде Любуши. . . РФВ, I, 1879, стр. 1—34).

В связи с обсуждением вопроса о подлинности чешских рукописей Н. П. Некрасов издает Краледворскую рукопись (СПб., 1872). К изданию он приложил грамматику чешского языка (древнего и нового). В 1870 г. в Петербурге была издана „Чешская грамматика“ И. Шрамка. Естественно, что большая часть древнечешских фактов, приводимых в этих грамматиках, не является достоверной. В 1878 г. В. В. Макушев (1837—1883) опубликовал статью „Из чтений по старочешской письменности“ („Филологические записки“, В 1878, № 3—6), в которых излагает историю находки пресловутых рукописей, дает палеографическое описание их, особенности языка и анализ содержания. В. И. Ламанский (1833—1914) посвятил этому вопросу ряд статей „Новейшие памятники древнечешского языка“ (ЖМНП, 1879, январь-март, июнь-июль; 1880, июнь). Работы названных ученых написаны в связи со спорами, шедшими тогда в Чехии между Гебауером и сторонниками подлинности рукописей. Макушев и Ламанский, в отличие от Срезневского, склоняются к признанию их поддельности.

Усердно занимался изучением древнечешской письменности один из любителей чешского языка, ученик Срезневского, Ю. С. Анненков (1849—1885). Об этом свидетельствуют его этюды о Гусе и Хельчицком, одним из деятелей „Общины чешских братьев“, а также подготовка им к изданию важнейших трудов П. Хельчицкого. Эти тщательно обработанные в филологическом отношении сочинения были изданы после смерти автора И. В. Ягичем („Сочинения Петра Хельчицкого.

.: Сеть веры. II. Реплика против бискупца“, „Сб. ОРЯС“, т. V, СПб., 1893). Труды Я. Благослава и П. Хельчицкого публиковал также историк Чехии Н. В. Ястребов (1869—1923). См. его „Dr. Jana Vlahoslava spis“, „O původu Jednoty Bratrské a řádu v ní“ („Сб. ОРЯС“, т. XXI, 1902) и „O trojím lidu rzecz — o duchowných a o Swietských“ П. Хельчицкого („Сб. ОРЯС“, т. XXVII, 1904).

Необходимо отметить, что занятия русских славистов памятниками древнечешской письменности были обусловлены историей развития литературного чешского языка в XIX в. Известно, что чешский литературный язык нового времени опирался на образцы литературного языка XVI в. Изучением живого разговорного языка и диалектной речи занимались мало. Научная разработка современного чешского языка пошла быстрыми темпами лишь с 1882 г., когда Пражский университет был разделен на две части — чешскую и немецкую.

В 70-х годах XIX в. начинается научная и преподавательская деятельность И. А. Бодуэна де Куртене (1845—1929), основателя нового направления в русском языкознании (так называемая „казанская лингвистическая школа“). Среди общих принципов этого направления, применявшихся его представителями к изучению славянских языков, следует назвать точное и последовательное разграничение фонетической и морфологической членности слова, важность различия фонетического и психического элементов в языке, внимание к смысловой стороне языка, различение живых и отмирающих явлений, современных и исторических категорий в языке, указание на преимущества изучения живых языков в сравнении с анализом письменных памятников, требование не навязывать языку чуждых ему категорий, а доискиваться того, что в нем действительно существует¹.

В Москве возникает лингвистическое направление, связанное с именем акад. Ф. Ф. Фортунатова (1848—1914). Фортунатовскую школу отличает прежде всего глубокое понимание фонетических законов и умение использовать их при обобщающих выводах. Фортунатов постоянно стремился дать фонетико-физиологическое обоснование звуковым переходам и по возможности восстановить все промежуточные фазы развития звука от предполагаемого его состояния до современного. Он не считал возможным ограничиться простой констатацией формул соответствий, а всегда стремился вскрыть сущность явления, его историческое развитие. Обе эти русские лингвистические школы, направленные в пору зарождения их основных принципов против биологизации языка, много сделали в области изучения закономерностей языкового развития. Представители их, обратившись к изучению живых славянских языков, в своих работах и разборах трудов других ученых дали образцы исследования отдельных славянских языков, весьма ценные и в общетеоретическом плане.

Принципиальное значение для научной разработки истории чешского языка имела рецензия А. А. Шахматова (1864—1920) на „Историческую грамматику чешского языка“ чешского языковеда Я. Гебауера (J. Gebauer „Historická mluvnice jazyka českého“, d. I, Hláskoslovi, 1894, d. III, Tvaroslovi, 1, Skloňorání, 1896), помещенная в „Сборнике ОРЯС“, т. XVI, приложение, стр. 17—105. Шахматов отмечает, что своими трудами Гебауер воздвиг величественный памятник историческому изучению родного языка. Однако он делает существенные критические замечания по поводу некоторых приемов исследования чешского лингвиста. Как известно, в основу своей исторической грамматики Гебауер положил

¹ См. В. А. Богородицкий. Казанская лингвистическая школа. „Труды Моск. ИФЛИ“, т. V. М., 1939.

письменный язык, т. е. изучение памятников, рукописных и печатных произведений различных эпох. Фактам же, представляемым современными диалектами, придается второстепенное значение, и не они служат главными данными при восстановлении звуков и форм древнечешского языка. Шахматов пишет: „В основание ее положены не данные живого языка, а свидетельства языка письменного, т. е. она построена не на том надежном историческом материале, который извлекается из сравнительного изучения живых говоров, а на том слабом, неотчетливом отражении языка, которое представляют из себя письменные памятники, да еще при условиях преемственного исторического правописания“¹. Увлечение автора свидетельствами рукописных источников, с одной стороны, привело его к смешению звуковых явлений с графическими, с другой, — вызвало поспешные выводы, не находящиеся в соответствии с данными современных живых диалектов. Второй недостаток труда Гебауера, по мнению Шахматова, заключается в том, что автор оставил без характеристики отдельные эпохи, которые пережил чешский язык и которые являются промежуточными между его современным состоянием и общеславянским языком. Между тем, сравнительное изучение чешских и словацких говоров приводит к восстановлению чешско-словацкой эпохи, в течение которой чешская группа, обособившись от всех прочих славянских языков, пережила длинный ряд звуковых, а частью и морфологических изменений. Этой эпохе предшествовала эпоха общезападнославянского единства. По мнению Шахматова, изучение характера этих эпох и хронологизация того или иного явления входят в задачу историка языка. В связи с этим замечанием А. А. Шахматова следует указать, что последующие исследования не подтвердили его предположения о существовании эпохи общезападнославянского единства. В процессе образования трех славянских языковых групп предки чехов и в еще большей степени словаков обнаруживают языковые связи с южными славянами, отсутствовавшие у остальных западных славян, в языке которых развились некоторые общие или сходные процессы с языком восточных славян. Таким образом, западнославянская языковая группа в своих древнейших особенностях не обнаруживает полного единства и целостности.

А. А. Шахматов упрекал Гебауера также за отсутствие системы при изложении фонетических явлений. На основании его труда нельзя получить представления о том, „какие звуковые черты характеризовали чешский язык в отдельные эпохи его существования и как именно изменялся звуковой состав во всем его объеме в течение хотя бы исторической жизни чешского языка“². „Кроме этого, исторической грамматике можно ставить еще другое требование: имея в виду представить историческое развитие языка, она должна рассматривать однородные явления, зависевшие в своем происхождении от одной общей причины и возникшие в одно и то же время, не порознь, а вместе, в связанном изложении“³.

В связи с этим третьим недостатком исследования Гебауера Шахматов обращается к разбору основных вопросов исторической фонетики чешского языка и высказывает суждения относительно смягчения согласных в чешском языке, лабиализации некоторых гласных, истории чешских и словацких рефлексов *e*, стяжения гласных в дифтонгических сочетаниях, перегласовки (сужения) гласных, изменения долгого *o*, замены редуцированных в чешской и словацкой областях и т. д. Таким образом, высказав свои принципиальные соображения о недостатках

¹ А. А. Шахматов. „Сб. ОРЯС“, т. XVI, приложение, стр. 21—22.

² Там же, стр. 34—35.

³ Там же, стр. 35.

метода исследования, свойственного Гебауеру, Шахматов в своем разборе дал свое собственное решение некоторых важных вопросов исторической фонетики чешского языка, которое во многом принято современной наукой.

Центром научных интересов А. А. Шахматова была история русского языка, однако он во всех своих работах привлекал материалы других славянских языков, подвергая их строгой и самостоятельной критической обработке. В своих трудах Шахматов сделал важный шаг на пути изучения языка в тесной связи с историей народа.

* * *

Как было указано, польским языком много занимался Востоков, однако систематическое изучение этого языка в России началось только во второй половине XIX в. В какой-то мере это объяснялось политическими событиями того времени. В области научного изучения польского языка имеет значение монография ученика Срезневского П. А. Лавровского (1827—1886) „Замечания об этимологических особенностях старинного языка польского“ („Уч. зап. Харьк. ун-та“, т. IV, 1858), явившаяся подготовительной работой к изучению языка памятников древнепольской письменности. Вторым крупным исследованием о польском языке явился классический труд Бодуэна де Куртенэ, его диссертация „О древнепольском языке до XIV-го столетия“ (Лейпциг, 1870), основанная на точном, тщательно собранном и систематически обследованном материале латинских грамот X—XIII вв. Помимо грамот, были использованы показания летописей, хроник, надгробных надписей и монет. В области исторической фонетики польского языка Бодуэну удалось сделать важные выводы о категории твердости и мягкости польских согласных, о количественных отношениях гласных, в частности носовых. Замечания по морфологии менее систематизированы, что, впрочем, вызвано характером анализируемого материала. Попытка Бодуэна выделить особенности диалектов древнепольского языка до XIV в. в целом не удалась. Большое значение имеет словарь польских слов, составленный автором. Этот труд положил начало детальному и документированному исследованию истории польского языка и его диалектов; он является образцовым и по обилию представленного в нем материала, и по точности метода в исследовании фонетических явлений. Работа Бодуэна сохраняет свое значение до наших дней. Следует отметить, что Бодуэн де Куртенэ опубликовал в различных периодических изданиях ряд ценных статей, в которых материал польского языка и его диалектов использовался для общетеоретических выводов (о грамматической аналогии, переразложении основ и т. д.).

Для характеристики отношения новых направлений в языкознании к методам исследования первых русских славистов представляет интерес отзыв Бодуэна де Куртенэ о своей диссертации: „Тема эта (собрание материалов для истории польского языка и латинских грамот) была мне предложена покойным И. И. Срезневским, не желавшим вовсе понимать задач и метода настоящего языковедения, в частности же не понимавшего приемов и выводов моего рассуждения „Einige Fälle der Wirkung der Analogie in der polnischen Sprache“, и не добивавшимся от молодых чернорабочих (какими были для него люди „занимавшиеся под его руководством“) ничего другого, кроме словаря, да и то обыкновенно словаря с каким-нибудь курьезным порядком слов... Отсюда-то и появились в сочинении „О древнепольском языке“ недостаточно обдуманые выводы... Впрочем, несмотря на всю подавленность ума этой египетской работой, мне все-таки удалось сделать несколько

совершенно верных и до того не известных объяснений“ („Филол. записки“, 1880).

В связи с этим следует указать, что диссертация А. А. Кочубинского (1845—1907) „К вопросу о взаимных отношениях славянских наречий. Основная вокализация плавных сочетаний: конс. + *л*, *р* + *ѣ* — *ѣ* + конс.“ (т. I, 1877; т. II, 1878; Одесса), в которой проводилась предвзятая и ничем не доказанная мысль о безусловном старшинстве и древности русского языка в сравнении с другими славянскими языками, также вызвала резкую критику Бодуэна де Куртенэ. Он указывал, что эта диссертация знаменует конец старой филологии, что необходимо покончить с субъективизмом и произволом в оценке и объяснении фактов языка, отказаться от ссылок на отрывочные и изолированные факты и перейти к рассмотрению языка как системы, к строгому научному методу исследования.

В русских журналах того времени печатались статьи польских языковедов. К. Апфель опубликовал статьи „О говорах польского языка“ (РФВ, т. II) и „Заметки о древнепольском языке“ (там же, т. III, IV); А. Крынский издал монографию „О новых звуках в славянских языках“ (Варшава, 1870).

Работы В. В. Макушева „Следы русского влияния на старопольскую письменность“ („Славянский сборник“, III. СПб., 1876) и „Чтения о старопольской письменности“ (РФВ, 1879, т. I, II) не имели научного значения, так как основывались на догадках, а не на лингвистических данных.

В 1885 г. была напечатана кандидатская диссертация С. К. Булича (1859—1921) „Окончания польского склонения имен существительных“ (Казань), имеющая целью представить отношения польских флексий к общеевропейскому склонению вообще и к старославянскому в частности. Автор старается применить к истории польского именного склонения принципы казанской школы и останавливается на действиях фонетических и морфологических фактов, приводящих к унификации современного польского склонения. Объединяющее, упорядочивающее стремление языка автор видит в морфологическом поглощении (абсорбции) последнего гласного основы окончанием.

Польскому языку посвящена монография известного польского лингвиста Я. Л. Лось (1860—1928), бывшего в то время приват-доцентом Петербургского университета, — „Сложные слова в польском языке“ (СПб., 1901). Лось произвел обработку собранного им материала по древнепольскому и современному языку. Он выделил два типа сложных слов в славянском языке: двуленные слова с основой в первой части и сращения с падежной формой в первой части сложения. Основное внимание автор обратил на второй тип словосложения, стремясь выяснить в историческом плане, как из синтаксических оборотов развились сложные словосращения. В своей работе Лось недостаточно привлек показания других славянских языков и оставил в стороне собственно сложные слова. В 1902 г. Я. Лось переехал в Краков и дальнейшая его деятельность связана с польским языкознанием.

Истории и диалектологии польского языка посвятил несколько работ ученик Кочубинского С. М. Кульбакин (1873—1941). Проведя в 1901 г. свыше трех месяцев в дер. Сважендзе (близ Познани) с целью ознакомления с великопольскими говорами, он опубликовал данные своих наблюдений в двух работах: „К истории и диалектологии польского языка“ (магистерская диссертация, „Сб. ОРЯС“, т. XXIII. СПб., 1903) и „Морфология сважендзского говора“ (ЮОР, т. IX, кн. 1, 1904). Первая работа состоит из двух частей — „Фонетика сважендзского говора“ и „Возникновение общепольских долгот“. Фонетика „представ-

ляет собой не простое описание звуков изучаемого говора, а дает сведения о соответствующих явлениях во всех польских говорах, их историю, с точки зрения общепольской и общеславянской, и разбор различных мнений по вопросам истории звуков польского языка, т. е. заключает в себе не только пополнение наших сведений по диалектологии, но и теоретическое обоснование взглядов автора на важнейшие вопросы истории звуков польского языка"¹. Вторая часть является сравнительно-историческим исследованием происхождения общепольских долгот в их отношении к долготам общеславянским.

В этих работах Кульбакина дано прекрасное описание фонетики и морфологии одного из великопольских говоров на богатейшем материале; наряду с этим поднят и разрешен ряд важных вопросов истории польского языка (обоснования положения о зависимости количественных отношений от акцентологических, указание на двойственность рефлексов целого ряда гласных, прекрасный анализ носовых гласных, вопрос о происхождении словацкой долготы и т. д.). Автор продемонстрировал хорошее знакомство с новейшими методами исследования и знание современной литературы предмета. После трудов К. Нитча и Я. Розвадовского работы Кульбакина устарели, но для своего времени это были выдающиеся исследования.

В 1912 г. Бодуэн де Куртенэ издал свой очерк „Польский язык сравнительно с русским и древнецерковнославянским“ (СПб., 1912) — пособие для практических занятий и для самообучения, в котором много внимания уделено графике и сравнительной морфологии, но отсутствуют данные диалектологии и исторические объяснения.

* * *

Кашубский язык впервые привлек внимание русских ученых из кружка Н. П. Румянцева. Через посредство Кепшена Румянцев завязал сношения с Хр. Мронговиусом, гданьским пастором и учителем польского языка в гимназии. В особенности привлекало Румянцева указание Мронговиуса на особенную близость языка соседних с Гданьском кашубов с русским языком. Он предложил Мронговиусу „объехать кашубские селения, составить по возможности словарь сего погасающего наречия и собрать хоть некоторые предания, существующие в устах сих поморян“². Дело расстроилось, так как Румянцев вскоре умер, но этим начинанием он направил на путь исследования кашубского языка других русских славистов.

П. И. Прейс, оценивая взгляды Мронговиуса на кашубский язык, в первом отчете из заграничной командировки, дает следующую характеристику взаимоотношений этого языка с польским: „Г. Мронговиус более обращал внимания на слова; действительно, многих слов, существующих еще в кашубском, нет в языке польском; другие являются в формах, не свойственных сему последнему. Эта сторона вопроса получила перевес в мнении г. Мронговиуса; он слишком большое значение придавал значению несущественным отступлениям от польского. Главное: им совершенно были упущены из виду те признаки, которые отличают наречия восточные от западных. Рассматриваемый с этой точки зрения, язык кашубов ни малейшего не представляет сходства с русским; весь его состав не позволяет сомневаться, что это отрасль диалекта лехитов“³. Эти глубокие и правильные соображения Прейса получили подробное обоснование лишь в конце XIX в.

¹ Б. М. Ляпунов. Лингвистические заметки (по поводу сочинения Кульбакина „К истории и диалектологии польского языка“). РФВ, т. V, 1906, стр. 3.

² „Библиографические листы“, 1825, № 31, стр. 448.

³ ЖМНП, 1840, ч. XXVIII, стр. 2—3.

Свои наблюдения над кашубским языком, полученные в командировке, И. И. Срезневский изложил в „Замечаниях о наречиях кашубских“. Он же напечатал „Сборник основных слов кашубского наречия“, составленный кашубом Фл. Цейновой (1817—1886) („Материалы для сравнительного и объяснительного словаря и грамматики русского языка и других славянских наречий“, т. V, СПб., 1861, стр. 258—271) и его же „Собрание кашубских пословиц“ („Изв. II Отд. АН“, т. I). Наряду со словариком Прейса, это был первый по времени словарь кашубского языка. Как известно, Цейнова основательно изучил родной язык, создал первые образцы литературной обработки кашубской речи и собрал памятники народного творчества; он был руководителем А. Ф. Гильфердинга во время его путешествия по кашубским и словинским селениям.

А. Ф. Гильфердинг (1831—1872) исходил пешком почти всю кашубскую область летом 1856 г. Собранные им лингвистические и этнографические материалы долгое время оставались единственным и важнейшим источником для суждения о кашубском языке. В сжатом изложении эти материалы появились в статье „О наречии померанских словинцев и кашубов“ („Изв. II Отд. АН“, 1859, т. VIII, стр. 41—56). Гильфердинг описал места поселения кашубов, привел данные об их численности, дал характеристику языка в области фонетики и морфологии, привел образцы живой речи (пословицы, песни, легенды) и перечень наиболее характерных слов. Его вывод об отношении языка прибалтийских славян к польскому следующий: „Польский язык и язык прибалтийских славян составляли одну общую ветвь славянской речи, которую можно назвать ляшской и ветвь эта разделилась на два наречия, польское и прибалтийское“¹ (стр. 47). Позднее Гильфердинг переработал кашубский и словинский этнографический и лингвистический материал и опубликовал большой труд „Остатки славян по южному берегу Балтийского моря“ (в „Этнограф. сб. Географ. общ.“, т. V, 1862, а также в отдельном издании).

После выхода в свет этой работы на протяжении 15 лет по кашубскому языку не появлялось новых трудов. Лишь в 1873—1874 гг. в „Филологических записках“ была опубликована „Фонетика кашубского языка“ А. Стремлера, основывающаяся на материалах Гильфердинга и Цейновы и не отличающаяся новизной изложения.

Интерес к кашубскому языку оживился в конце XIX в., когда в славяноведческой науке горячо обсуждался вопрос о кашубско-польских языковых отношениях. Польские языковеды (А. Калина, Я. Карлович и др.) полагали, что говоры кашубов, кабатков и словинцев являются диалектами польского языка. Кашубы Ст. Рамулт и Ф. Лоренц выступили с утверждением, что язык кашубов следует рассматривать как самостоятельный западнославянский язык наряду с чешским, словацким, польским и серболужицким. А. Ф. Гильфердинг в свое время отметил близкие взаимоотношения, в которых в различные периоды находился кашубский язык к польскому. Этот взгляд Гильфердинга целиком принял Бодуэн де Куртенэ в своих статьях по кашубскому вопросу („Кашубский язык“, кашубский народ и „кашубский вопрос“. Спб., 1897; отиск из ЖМНП, 1897, апрель-май). Здесь на основе разбора ряда фонетических и морфологических особенностей (*dj* > *z*, сочетания типа *warna*, замены редуцированных и др.) Бодуэн указывает на специфику кашубского языка, отмечая при этом, что главные признаки польского языка повторяются в кашубском. Эти

¹ А. Ф. Гильфердинг. О наречии померанских словинцев и кашубов, стр. 47.

языки, по его мнению, ближе друг к другу, чем, например, чешский и словацкий. Он присоединяется к положению Гильфердинга о том, что ближайшее рассмотрение языка померанских словинцев и кашубов докажет нам впоследствии его принадлежность к одному наречию.

Первые русские слависты начали и изучение лужицких языков. Результатом занятий Срезневского культурой лужицких сербов явился довольно обширный „Исторический очерк серболужицкой литературы“ (ЖМНП, 1844, стр. 26—66), составленный весьма умело, с введением о древнейших судьбах лужичан и начале письменности у них. Автор обнаруживает близкое знакомство с памятниками старой письменности и произведениями современных ему писателей. Срезневский составил также небольшой словарь лужицкого языка, оставшийся в рукописи.

Лужицкие языки стали предметом магистерской диссертации Е. П. Новикова (1825—1879) „О важнейших особенностях лужицких наречий“ (М., 1849). Будучи учеником Бодянского, Новиков использовал обширный материал и представил первое по времени исчерпывающее описание фонетики и грамматического строя нижнего и верхнего лужицких языков.

В „Положениях“ диссертации автор отмечает, что лужицкие наречия при совершенном отсутствии литературного развития и при враждебном немецком влиянии, успели сохранить вполне свою самостоятельность, продолжая жить в устах народа в прежней своей чистоте, но в постепенно уменьшающемся объеме. Новиков считал, что лужицкие языки занимают промежуточное положение между западнославянскими и восточнославянскими языками; верхнелужицкий (по его взглядам) по характеру палатализации согласных и особенностям вокализма близок к русскому языку, а нижнелужицкий — к белорусскому. Эти предположения, не обоснованные данными сравнительно-исторического языкознания, были впоследствии отвергнуты. Однако важнейшие фонетические и грамматические особенности лужицких языков, опирающиеся на исследование сборников лужицкого фольклора, составленных Гауптом и Смолером, были подмечены Новиковым правильно. Новиков показал наличие живой категории двойственного числа в склонении и спряжении, провел анализ падежных форм в сравнении с другими славянскими языками, описал образование и употребление имперфекта и аориста в лужицких языках. В синтаксисе и лексике Новиков отметил элементы немецкого влияния: творительный падеж орудия с предлогом, частое употребление различных заменителей артикля, многочисленные лексические заимствования.

Большой фактический материал, привлеченный Новиковым, и умелое для того времени использование данных сравнительного языкознания позволили ему сделать правильный вывод о том, что особенная упругость лужицких наречий заключается в том, что, при насильственном искажении их лексической части немецким напылом, они умели ограждать цельность язычного состава и грамматических форм, вообще органической части языка.

В 1874 г. вышла на польском языке работа русского фонетиста Ал. Петрова, посвященная фонетике нижнелужского языка: *Głosownia Dólnolużyckiego języka. Sprawozdania Wydz. filol. Akademii umiętń., Kraków, t. III.*

Взгляды Бодуэна де Куртенэ и его старших, казанских, учеников получили развитие в Петербургском университете, прежде всего в трудах акад. Л. В. Щербы (1880—1944). Следуя наставлениям Бодуэна наблюдать язык без привнесения каких-либо чуждых изучаемому языку категорий, Щерба избрал в качестве объекта подобного наблюдения мужаковский говор — самый восточный из лужицких говоров, располо-

женный в пограничной полосе между нижним и верхним лужицкими языками. Результатом этого изучения явилась докторская диссертация Щербы „Восточно-лужицкое наречие“, т. I (Пгр., 1915).

Значение труда Щербы определяется особенностями и приемами исследования: автор посетил местности, где говорят на описанном им мужаковском диалекте лужицкого языка, в 1907, 1908 и 1913 гг., основательно изучил этот диалект на месте и применил к анализу его звуковой стороны экспериментальные методы. Запасшись большим и надежным материалом, Щерба расположил его так, чтобы дать все-стороннее, по возможности исчерпывающее описание исследуемого говора. Начиная анализ с описания фонем, он переходит к изложению их сочетаний, образующих слог, слово и фразу; вслед за этим разбираются модификации фонем и описываются их варианты — количественные и качественные. Затем излагается вопрос об образовании новых слов и заимствованиях, и идет очерк современной морфологии. Отдельная глава посвящена сочетанию слов. Изложение завершается сравнительно-историческим объяснением вокализма и консонантизма исследуемого говора, описанием взаимоотношений лужицких говоров и анализом влияния немецкого языка на исследуемый говор. Работа Л. В. Щербы имеет большое теоретическое значение, особенно для фонологии, словообразования и проблемы разграничения лексики и грамматики. А. А. Шахматов в своей рецензии на „Восточнолужицкое наречие“ (ИОРЯС, т. XXI, кн. 2, 1916), отмечая достоинства этого прекрасного труда, обогатившего славянское языкознание ценнейшим языковым материалом и новой постановкой вопросов, указал однако, что автор упростил путь исторического развития лужицких языков и, „допуская... методологическую ошибку, вывел мужаковские звуки непосредственно из праславянских“, т. е. миновал эпоху общелужицкого единства. Таким образом, Шахматов, защищавший сравнительно-историческое изучение языка, подверг критике стремление Щербы дать чисто статическую характеристику фонетики и грамматической системы лужицкого говора, принципиально уклоняясь от рассмотрения его в исторической или сравнительно-исторической перспективе, и изложить свой отрицательный взгляд на выводы, получаемые путем сравнительно-исторического изучения родственных языков.

Русские слависты интересовались и полабским языком. Известно, что чешский филолог Фр. Челаковский, составивший словарь и краткую грамматику полабского языка, представил эти первые филологические работы по полабскому языку в Российскую Академию (1827 г.). Более детальным изучением этого языка занялся А. Ф. Гильфердинг, написавший исследование „Памятники наречия залабских древлян и гаинян“ („Изв. ОРЯС“, т. V, 1856, стр. 433—480). В этой работе, основываясь на собственных наблюдениях, Гильфердинг приводит обзор всех сохранившихся памятников полабского языка (1691—1786 гг.), дает критическое издание наиболее интересных текстов, сопровождая их своими комментариями. Гильфердинг подробно характеризует особенности правописания памятников и делает свои выводы по исторической фонетике. Он использовал для этой цели прежде всего немецко-славянский словарь Хр. Геннинга (1701 г.) и славянские слова и выражения, записанные в 1725 г. И. Парум-Шульце. Задуманное Гильфердингом исчерпывающее издание полабских памятников, к сожалению, не было осуществлено. Заслуга составления первой грамматики полабского языка, изданной в 1871 г. в Петербурге („Laut- und Formenlehre der polabischen Sprache“), принадлежит А. Шлейхеру.

Позднее полабским языком начал заниматься В. К. Поржезинский (1870—1929), который совершил две поездки в Германию (в 1900 и

1901 г.) с целью изучения на месте всех доступных источников полабского языка. Результатом его поездки явились две статьи: „Несколько слов о дошедших до нас памятниках языка полабских славян“ (ИОРЯС, т. V, кн. 3, 1900) и „Заметки по языку полабских славян“ (ИОРЯС, т. VII, кн. 2, 1902). В этих работах дана общая характеристика источников для изучения полабского языка, с которыми ознакомился автор и попытка пересмотра некоторых вопросов истории полабского языка. Как известно, целиком исполнить свои замыслы Поржезинскому не удалось. Любопытно отметить, что в Московском университете семестровые лекции по полабскому языку читал В. Н. Щепкин (1863—1920).

* * *

К концу XIX в. в связи с расширением преподавания славянских языков в русских университетах появилась потребность в создании учебников и учебных пособий по славянским языкам. Лекции В. И. Григоровича „Славянские наречия“ (Варшава, 1884), содержащие характеристику отдельных славянских языков, были недостаточны, так как устарели в методологическом отношении и были бедны фактическим материалом. „Материалы для славянской диалектологии“ казанского профессора М. Н. Петровского (1833—1912), опубликованные в „Ученых записках Казанского университета“ (1864, стр. 289—368 и 1866, стр. 388—480) и содержавшие основные сведения о территории, численности говорящих, основных особенностях диалектов славянских языков, стали библиографической редкостью, хотя и были составлены с привлечением первоисточников.

Необходимое пособие по славянскому языкознанию создал профессор Киевского университета Т. Д. Флоринский (1854—1919). Это были „Лекции по славянскому языкознанию“, первая часть которых была посвящена южнославянским, а вторая (Киев, 1897) — целиком западнославянским языкам. „Лекции“ представляли собой не сравнительную грамматику языков, а были очерками отдельных славянских языков. Целью книги было оказать помощь студентам-филологам при изучении славянских языков и, вместе с тем, подвести итоги современному изучению этих языков. Во второй части были описаны чешский, словацкий, польский, кашубский и вымерший полабский языки, причем изложение содержало историю изучения языков с богатой библиографией, описание занимаемой территории, важнейшие исторические сведения, фонетику и морфологию в историческом разрезе и сведения о диалектах. Эта полезная книга заполнила пробел в учебной литературе и долго являлась пособием по славянскому языкознанию.

Профессор Московского университета Р. Ф. Брандт (1853—1919) создал очерки фонетики и морфологии польского (М., 1894) и чешского (М., 1900) языков, которые, однако, не пользовались успехом из-за их краткости и отрывочности изложения.

В XIX в. было издано несколько грамматик для практического ознакомления с западнославянскими языками. По польскому языку: М. Семичиновский — „Грамматика польского языка“ (Киев, 1831), Грубецкий — „Сравнительная грамматика польского языка с русским“, 6 изд. (Варшава, 1891), Г. Линский — „Учебник польского языка“ (СПб., 1892); по чешскому языку: К. С. [трашкевич] — „Чешская грамматика с упражнениями, краткой хрестоматией и словарем“ (Прага, 1852), И. Шрамак — „Чешская грамматика“ (СПб., 1870).

Среди изданных словарей следует отметить „Полный русско-польский словарь“ П. Дубровского (Варшава, 1878). В целях установления культурных связей со словаками Петербургское славянское общество

издало „Дифференциальный словенско-[словацко] русский словарь“ (Турчанский Мартин, 1900) и „Карманный русско-словенский словарь“ (там же, 1892), составленный Л. Мичатеком. Была издана „Славянская хрестоматия“ Г. Воскресенского, третий выпуск которой (1884) содержал образцы литературных западнославянских языков.

В конце XIX и начале XX в. Петербургская Академия наук стала организационным центром славяноведения. А. А. Шахматов возобновил периодические ученые издания Отделения русского языка и словесности. „Известия ОРЯС“ быстро завоевали научный авторитет, сплотили научные силы и стали наряду с „Archiv für slavische Philologie“, издаваемым Ягичем в Берлине, органом не только русских, но и западнославянских языковедов. В „Известиях“ печатали свои статьи и исследования Ф. Лоренц, Я. Лось, Ю. Поливка, Г. Улашин, О. Ашбот, Фр. Пастернак, в них постоянно рецензировались новые труды по славянскому языкознанию.

Академия наук, оживляя научные связи, оказала поддержку многим славянским ученым, обращавшимся к ней за помощью. Академия напечатала грамматику и словарь кашубского языка Ф. Лоренца („Slovinzische Grammatik“. Спб., 1903; „Slovinzische Texte“. Спб., 1905; „Slovinzisches Wörterbuch“, I, II. Спб., 1908, 1912), она добилась специальных средств на издание „Словаря нижнелужицкого языка“ Э. Муки (вып. 1, А — Narski. Пгр., 1921; позднее первый том был переиздан и издание доведено до конца Чешской АН, 1926—1928). Через много лет чешский академик Фр. Травничек, издавая свою „Граматику чешского литературного языка“, писал в посвящении: „Эту книгу я посвящаю светлой памяти А. А. Шахматова, профессора Ленинградского университета и члена Академии наук СССР, который во время наших незабываемых встреч в 1918 г. познакомил меня со своей работой по подготовке большого труда о русском синтаксисе и просил меня не оставлять намерения написать всеобъемлющую грамматику современного чешского литературного языка. Свое обещание я исполняю тридцать лет спустя после его смерти и хочу надеяться, что моя работа хотя бы в некоторой степени приближается к посмертно вышедшему труду моего учителя“.

Таким образом, в это время русское славяноведение достигло крупных успехов в изучении западнославянских языков. Труды русских славистов, отличающиеся широким и умелым привлечением диалектного материала, высоким уровнем филологической критики текста, передовыми общезыковедческими идеями, стремлением изучать явления языка в связи с судьбами говорящего на нем народа, оказывали определяющее влияние на развитие польского и чешского языкознания. У русских языковедов прошли подготовку многие западнославянские ученые: Я. Лось, Ю. Поливка, М. Мурко, Фр. Травничек, Г. Улашин и др.

* * *

После победы Великой Октябрьской социалистической революции продолжалась деятельность многих славистов, начавших ее в дореволюционное время. В Московском университете с 1921 г. читал лекции по отдельным славянским языкам воспитанник Казанского университета А. М. Селищев (1886—1942). В Ленинграде работали Л. В. Щерба, Д. В. Бубрих, М. Г. Долобо. В Харькове, а затем в Киеве развернул работу по славистике Л. А. Булаховский. В период длительного господства „нового учения о языке“ Н. Я. Марра работа по изучению славянских языков была затруднена. В особенности большой вред нанес марризм делу подготовки молодых научных кадров.

Труды проф. Селищева посвящены преимущественно истории болгарского языка и болгарской диалектологии. В последние годы своей жизни он много внимания уделял созданию университетских курсов по славянскому языкознанию. Западнославянским языкам целиком посвящен первый том его капитального труда „Славянское языкознание“ (М., 1941). Задуманный им трехтомный труд, осуществленный лишь частично, представляет собой с некоторыми дополнениями те курсы по истории и диалектологии славянских языков, которые автор читал на протяжении многих лет в Казанском и Московском университетах. Первый том, помимо вводной статьи, где дается общая характеристика различных периодов общественно-экономического развития и в связи с этим картина языковой дифференциации славянских племен, включает четыре раздела, посвященных языкам чешскому и словацкому, лужицким, польскому с кашубским и языку полабских славян. Каждый из этих разделов содержит очерки политической и культурной истории данного народа и истории языка, перечень памятников письменности, орфографию, грамматику современного литературного языка, образцы литературных и диалектных текстов со словариком к ним. Каждая глава сопровождается подробными библиографическими указаниями.

Анализ книги показывает, что проф. Селищев сумел в сжатой форме сообщить важнейшие сведения о западнославянских народах, памятниках их письменности, о формировании литературных языков, современном состоянии славянских языковых групп, представить историю языковых явлений и важнейшие черты диалектов. Труд Селищева является той же сравнительной грамматикой, но с расположением материала применительно к отдельным славянским языкам. Работа Селищева до настоящего времени является важным пособием при подготовке славистов.

Огромное значение имела преподавательская деятельность Селищева: обширные познания, строго научный метод трактовки и изложения материала, широта сравнительно-исторического освещения данных языка придавали лекциям А. М. Селищева особую ценность. Большая заслуга Селищева перед советским славяноведением заключается в том, что он, решительно отвергая антинаучные домыслы Марра и его последователей, попытался осмыслить процессы формирования славянских языков, исходя из марксистского учения о развитии наций.

Профессор Д. В. Бубрих (1890—1949), занявшийся исследованием кашубского языка, опубликовал в 1924 г. работу „Севернокашубская система ударения“ (ИОРЯС, т. XXVII), в которой пытался использовать акцентологическую систему этого языка для построения системы праславянского ударения.

Профессор Л. А. Булаховский занимался преимущественно исследованием вопросов акцентологии, причем материалу западнославянских языков отведено важное место в его трудах. Следует назвать его работы о чешском количестве „Чеська часокількість“ („Наукові зап. Харків, науково-дослідчої катедри мовознавства“, 1927; „Die böhmische Quantität“, там же). Исследованию вопроса о поддержке бывших долгот в чешском и словацком языках тенденциями морфологической аналогии и процессах обобщения долгот или краткостей в различных грамматических категориях посвящена работа Булаховского „Грамматическая аналогия и родственные ей явления в истории чешского количества“ („Изв. по р. яз. и слов. АН СССР“, 1929 т. II, стр. 122—158). Вопросам чешского словообразования в связи с количественными различиями в именных и глагольных образованиях посвящено его исследование „Отношение глагольных и именных образований в чешском языке“ („Наукові зап. КГУ“, т. X, вып. III, 1951,

стр. 47—68). Наиболее важные сведения по славянской акцентологии проф. Булаховский изложил в „Историческом комментарии к русскому литературному языку“. Краткие итоги сравнительно-исторического изучения польской акцентологии, почти всегда с оценкой достигнутых результатов по отдельным вопросам, содержит „Акцентологический комментарий к польскому языку“ (Киев, 1950). Чешскому количеству в сравнительно-историческом освещении на материале фонетики посвящен первый выпуск „Акцентологического комментария к чешскому языку“ (Киев, 1953). Вопросы истории отдельных славянских литературных языков получили освещение в особенности в статье „К истории взаимоотношения славянских литературных языков“ („Изв. АН СССР, Отд. лит-ры и яз.“, т. X, вып. 1, 1951, стр. 37—49). Проф. Л. А. Булаховский сделал значительный вклад в изучение славянской акцентологии (вышедшие работы составляют часть большого подготавливаемого им труда „Введение в славянскую акцентологию“) и истории славянских литературных языков.

Установленные акад. А. И. Соболевским западнославянские (особенно чешско-моравские) элементы в словаре старославянского языка (см. его „Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии“. Спб., 1910, а также „Церковно-славянские тексты моравского происхождения“, РВФ, 1900) получили дальнейшее обоснование в работе акад. Н. К. Никольского „Повесть временных лет как источник для истории начального периода русской письменности и культуры“ (Л., 1930), в которой он указывает на непосредственную связь начальных этапов русской письменности и литературного языка с западнославянской языковой культурой (в связи с этим см. заметку С. Б. Бернштейна „Об одном чехо-моравизме в старославянских памятниках“ — „Уч. зап. Ин-та славяноведения АН СССР“, IV, 1952).

Проф. Г. А. Ильинский (1876—1936) в этот период продолжает публиковать свои этимологические заметки по славянским языкам; ряд его этимологий посвящен западнославянским языкам: польск. *kobieta*, *bez piękn*, чеш. *výheň*, лужицк. *strowy* и др.

Вопросы польской фонетики в связи с белорусским языком (дзеканье, цеканье, отвердение *p*, смещение *ш*, *ж* и *с*) были затронуты в статье П. А. Расторгуева „К вопросу о ляшских чертах в белорусской фонетике“ („Тр. постоянной комиссии по диалектологии рус. яз.“, вып. 9, Л., 1927, стр. 35—48). Польские факты в связи с иноязычным влиянием объясняются в статье А. М. Селищева „Соканье и шоканье в славянских языках“ („Slavia“ X, 1931, стр. 718—714). Проф. С. Б. Бернштейн опубликовал статью „К вопросу о диалектной основе польского литературного языка“ („Изв. АН СССР, Отд. лит-ры и яз.“, 1941, № 1, стр. 99—105), в которой ставятся некоторые вопросы социальной диалектологии. Проф. Л. В. Матвеева-Исаева посвятила статью реформе польской графики — „Польская орфография и требования, предъявляемые к правописанию наукой и практикой“ („Язык и мышление“, т. III—IV, 1935, стр. 185—201).

Акад. В. В. Виноградов поднял вопрос об изучении общего лингвистического фонда славянских языков (см. его статью „Об изучении общего лексического фонда в структуре славянских языков“ — „Научный бюл. ЛГУ“, 1946, № 11—12, стр. 26—29).

В советское время издан „Чешско-русский словарь“ Н. Н. Дурново (1933) и польско-русские и русско-польские словари. Было защищено несколько диссертаций по западнославянским языкам: (кандидатские диссертации) С. Самойленко „Категория персональности и неперсональности в славянских языках“ (см. „Научные зап. Ворошиловоградского пед. ин-та“, т. I, 1940); С. С. Советова „Язык ирои-комической

поэмы как фактор развития польского литературного языка во второй половине XVIII в.“ (1943 г.; см. его же „К вопросу о языке польских сатирических поэм в XVIII веке“ — „Уч. зап. Ин-та славяноведения АН СССР“. I, 1949, стр. 293—324); А. Г. Широковой „Восточнославянские говоры Земплинско-Унгского комитата“ (1944 г.); А. Л. Каплан „Чешско-польские культурные взаимоотношения и их отражение в польской письменности раннего Средневековья“ (1946 г.). Докторская диссертация В. П. Петрусь „Славянская фонематическая структура типа **tolt, tolt*“ (1945 г.) посвящена исследованию вопроса, которым занимались до этого Лавровский, Потехня, Кочубинский. Одна из глав этой диссертации, освещающая причины отклонения от фонетической нормы польских *pólk* и *towa*, напечатана в 1947 г. („К вопросу о происхождении фонетической формы лексем *pólk* и *towa* в польском языке“ — „Изв. АН СССР, Отд. лит-ры и яз.“, т. VI, вып. 1, 1947, стр. 51—76).

Дружественные отношения, установившиеся между Советским Союзом и славянскими странами в ходе Великой Отечественной войны и после ее окончания вызвали подъем славяноведческой науки в нашей стране. Прежде всего, в нескольких университетах (Московском, Ленинградском, Киевском, Львовском) была организована подготовка славистов-филологов. В 1943 г. открылось славянское отделение на филологическом факультете Московского университета, выпускающее специалистов по болгарскому, сербскому, чешскому, словацкому и польскому языкам. Выпускники этого отделения составили молодые кадры славистов Института славяноведения АН СССР, кафедр славянских языков и литературы в университетах, в центральных издательствах и других научных учреждениях.

В связи с широкой подготовкой специалистов по славянским языкам оживилась научная работа, увеличилось число диссертаций, посвященных разработке грамматического строя и словарного состава славянских языков.

Польскому языку посвящены следующие кандидатские диссертации: М. О. Онышкевич „Звуки польского языка XII—XVI вв.“ (Львов, 1949); С. К. Шаумян „Система фонем современного польского литературного языка“ (М., 1950 г.; см. его же „Система гласных фонем современного польского литературного языка“, „Уч. зап. Ин-та славяноведения АН СССР“, III, 1951, стр. 394—406); Н. Х. Иванова „Творительный предикативный падеж в польском языке“ (М., 1954 г.); А. С. Посвянская „К вопросу о порядке слов в польском языке (место одиночного определения, выраженного именем прилагательным)“ (М., 1954 г.); Я. М. Мацюсович „Сложно-подчиненное предложение в польском литературном языке XIV—XVI веков“ (Л., 1953; см. ее же „Основные особенности сложно-подчиненного предложения современного польского литературного языка сравнительно с русским языком“, „Уч. зап. ЛГУ“, вып. 15, I, стр. 194—218); Н. В. Павлюк „Категория местоимения в старопольском языке“ (Одесса, 1952; см. его же „Категорія займенника в старопольській мові“, „Зб. філол. фак-ту Одеського Ун-ту“, т. III, 1953, стр. 59—64); О. Ткаченко „Очерк истории изъяснительных союзов в польском литературном языке (на материале произведений второй половины XVI в.)“ (Киев, 1954). Польский материал содержит также диссертация О. Рипецкой „Славянская топонимика между Одером и Вислой в немецком языке (XII—XVIII вв.)“ (Львов, 1954).

Чешскому и словацкому языку посвящены диссертации: Н. А. Кондрашов „Категория личности и неличности в словацком языке“ (М., 1949 г.; см. его же „Очерк истории словацкой диалектологии“ — „Славянская филология“, I, МГУ, 1951, стр. 98—107; „Категория лич-

ности имен существительных в словацком языке“, там же, II, 1954); В. Т. Коломиец „Порядок слов в чешской прозе первой половины XIX ст.“ (Киев, 1950; см. автореферат диссертации в „Кр. сообщ. Ин-та славяноведения АН СССР“, № 7, 1952, стр. 67—74); Е. В. Немченко „Из истории кратких причастий действительного залога в чешском языке“, (М., 1951 г.); А. М. Булыгина „Язык „Сети веры“ Петра Хельчицкого (из истории чешского языка XV в.)“ (М., 1952 г.).

В последнее время в связи с постановкой преподавания живых западнославянских языков было подготовлено несколько учебных пособий. В 1947 г. был издан учебник для вузов И. Х. Дворецкого — „Польский язык“. Однако этот первый опыт руководства по польскому языку оказался не вполне удачным, так как учебник содержал много ошибок научного и особенно методического характера. В 1952 г. издан „Очерк грамматики чешского языка“ А. Г. Широковой, возникший в процессе преподавательской работы автора и вполне удовлетворяющий нужды университетского преподавания (см. ее же статью „К вопросу о различии между чешским литературным языком и народно-разговорной речью“, „Славянская филология“, МГУ, II, 1954). В настоящее время готовятся курсы по польскому и словацкому языкам и истории чешского языка. Наряду с созданием отечественных пособий был предпринят перевод лучших работ чешских и польских языковедов; переведены, например, „Грамматика чешского литературного языка“, т. I, Фр. Травничка (М., 1950, под ред. Н. А. Кондрашова), „Введение в историю чешского языка“ О. Гуйера (М., 1953, перевод А. Г. Широковой), „Польский язык“ Т. Лер-Сплавинского (М., 1954, с предисловием В. В. Виноградова). В 1947 г. изданы чешско-русский и русско-чешский словари. В настоящее время готовятся новый чешско-русский и словацко-русский словари. С 1946 г. вышли несколькими изданиями польско-русский и русско-польский словари.

Таким образом, русские ученые внесли большой вклад в изучение западнославянских языков.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	стр.
В. В. Иванов. О значении хеттского языка для сравнительно-исторического исследования славянских языков	3
О. Н. Трубачев. Славянские этимологии	29
Н. И. Толстой. Значение кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке	43
С. Б. Бернштейн. Из истории изучения южных славянских языков в России и в СССР	123
Н. А. Кондрашов. Изучение западнославянских языков в России и в СССР	153

Вопросы славянского языкознания, вып. 2

*Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Академии наук СССР*

*

Редактор издательства *Н. М. Шанский*
Технический редактор *Т. В. Полякова*

•

РИСО АН СССР № 22—96В. Сдано в набор 9/VIII-1956 г.
Подп. в печать 22/I-1957. Формат бум. 70×108¹/₈
Печ. л. 11=15,07. Уч.-изд. лист. 16,2
Тираж 3500. Изд. № 1627. Тип. зак. 793. Т-00029

Цена 9 р. 70 к.

Издательство Академии наук СССР
Москва, Подсосенский пер., д. 21

1-я типография Издательства АН СССР.
Ленинград, В-34, 9 л., дом 12

7

4

Цена 9 р. 70 к.

Ц Е Н А
с 1 января 1961 г.
~~— руб. 9 70 коп.~~

УЦЕНЕНО
НОВАЯ ЦЕНА — 40

НОВАЯ ЦЕНА
— р. 20 к.